



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

3(5)' 2012

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Редколлегия:

Евгения КРАСНОЯРОВА	зав. отделом поэзии
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ	зав. отделом прозы и драматургии
Алексей ТОРХОВ	зав. отделом критики
Алёна ЯВОРСКАЯ	зав. отделом литературоведения и краеведения

Людмила ШАРГА	отдел поэзии
Александр ЛЕОНТЬЕВ	отдел прозы и драматургии

Общественный совет:

Валерий Басыров (Симферополь), Евгения Бильченко (Киев),
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск), Кирилл Ковальджи (Москва),
Александр Корж (Киев), Татьяна Липтуга (Одесса),
Виктор Петров (Ростов-на-Дону), Александр Петрушкин (Кыштым),
Юрий Работин (Одесса), Илья Рейдерман (Одесса),
Анна Стреминская (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

Издание журнала осуществляется при поддержке Одесского городского совета
в рамках программы «Сохранение и развитие русского языка в Одессе»

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: auroa_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2012

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Валерий Сухарев. Если ты увязнешь в милях. <i>Стихи</i>	4
Одесса: Екатерина Чудненко. По городу ходят гуру. <i>Стихи</i>	9
Одесса: Олег Сирин. В Гелиополь. <i>Стихи</i>	14
Одесса: Екатерина Янишевская. «В это время мы на кресте...» <i>Стихи</i>	18
Одесса: Людмила Шарга. Усмешка маленького грифона. <i>Стихи</i>	22

ПРОЗА

Гомель – Одесса: Мария Малиновская. Мишка СШишкой. <i>Фэнтези-быль</i>	28
Москва: Алексей Геденов. Немного нечисти. <i>Рассказы</i>	37

ПОЭЗИЯ

Кёльн: Ольга Олгерт. С рожденья под током. <i>Стихи</i>	41
Новосибирск: Лада Пузыревская. Путь, намоленный до оскомин. <i>Стихи</i>	47

ПРОЗА

Одесса: Инна Ищук. Одесские рассказы	53
Одесса: Олег Дрямин. Кирпич из Одессы. <i>Рассказ</i>	58
Одесса: Виктория Колтунова. Звёздный час. <i>Рассказ</i>	62

«МЕГАФОН»

«Автограф на книжке» (<i>интервью Евгения Чигрина с Евгением Поповым</i>).....	66
---	----

ПОЭЗИЯ

Николаев: Владимир Пучков. Заповедная зона. <i>Стихи</i>	69
Подольск: Ганна Шевченко. Качая крыльями каное. <i>Стихи</i>	73
Москва: Александр Самарцев. Две зари на качелях. <i>Стихи</i>	76
Минск: Илона Миронова. Забежать на секунду. <i>Стихи</i>	81

ПЕРЕВОДЫ

Из английской поэзии (<i>переводы Александра Леонтьева</i>)	84
--	----

ПРОЗА

Одесса: Геннадий Дмитриев. Девочка и кошка. <i>Рассказ</i>	88
Одесса – Филадельфия: Вера Зубарева. Пески Нахума. <i>Рассказ</i>	92
Одесса: Сергей Шаманов. Предсказание для вас. <i>Рассказ</i>	95
Одесса: Анастасия Зиневич. Последние люди. <i>Рассказ</i>	102
Одесса: Галина Соколова. Адамово яблоко. <i>Повесть. Часть I</i>	104

ПОЭЗИЯ

Одесса – Оффенбах-на-Майне: Елена Рышкова. Рожденью подоплёка. <i>Стихи</i>	120
Одесса: Наталия Тараненко. Во сне. <i>Стихи</i>	123
Одесса: Ольга Ильницкая. Последний вернисаж. <i>Стихи</i>	127
Одесса: Семён Росовский. Беглец в тени собора. <i>Стихи</i>	131

ДРАМАТУРГИЯ

Одесса: Александр Мардань. **Арьер. Пьеса** 135

ПРОЗА

Одесса: Илья Рейдерман. **Павел Григорьевич.**

Воспоминания о П.Г. Антокольском163

Одесса – Коттбус: Ефим Ярошевский. **Туман и сумерки. Из одесских записок**167

«ФОНОГРАФ»

Одесса: Игорь Павлов. **«Мне было мало города...» Стихи**171

Киев: Юрий Каплан. **Овертайм. Стихи**176

Одесса: Марина Хлебникова. **Девочка на шаре. Стихи**183

«ЛИТМУЗЕЙ»

Иван Бунин. **Волошин (из очерка)**187

Александр Биск. **Одесская литературка (из эссе)**189

Максимиллиан Волошин. **Дело Н.А. Маркса (из дневника)**.....190

Иваново: Наталья Дзугцева. **М.А. Волошин-критик**

о феномене французского театра192

«ШКАФ»

Иваново: Вячеслав Океанский, Жанна Океанская.

Зыбь существования в поэтическом мире Бальмонта.....197

Одесса – Москва: Станислав Айдинян.

Анастасия Цветаева, её воспоминания и судьба Марины Цветаевой.....200

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

ЕСЛИ ТЫ УВЯЗНЕШЬ В МИЛЯХ

СИНОПСИС

Затрещав замыканьем, погаснет фонарь на углу,
из раскрытых окон донесёт разные звуки:
шлепок кастрюли, кошачью фразу, пенье; темень и глубь
двора – в движениях; чьи-то худые и быстрые руки

снимают с верёвок бельё – треугольники, ромбы, квадраты,
общественный пёсик несёт пакетик в куда-то ему
только ведомый край, невращения теней и бликов, караты
чёрного «лексуса», «битлз» откуда-то сверху; и всё это тьму

переполняет, переговаривает, перепевает – тем часом,
как увалень ливня, облокотившись о крыши, вошёл
в улицу, что твой барин, приехавший первым классом
и дорогой спавший, евший и пивший медленно и хорошо.

Когда начинается вся эта мелкая дребедень дрожаний
в листве, когда тарабанит и ахает по верхам коньков
и бубнит по зонтам и капотам – становится неподражаемо
легко на душе и покойно... Примерно таков

в детстве миг перед пробуждением где-то на даче,
где челядь ещё в простынях сновидений, а ты уже
приоткрыл левый глаз, лежишь и про себя судачишь –
какой будет погода; и за занавеской, в саду, неглиже

вишни стоят, и шмель буравит сумрачные закоулки
крыжовника и малины, ленивой на вкус и цвет;
и по-новому пахнет трава, и в небе гулкий,
как в бочку удар, грохот, и солнца в помине нет.

И вдруг, после третьей-пятой вспышки (заметишь
едва ли) – опускаются решётки ливня, округу деля
по законам своих аннексий, и только собаки и дети
на свой лад это видят и слышат; но издаля

всё нарастает звук, двоится, троится, ходит
большими дурными шагами, что твой Эйнштейн по кабинету;
в такие минуты тревожно, как перед смертью, в природе,
но о смерти мы знаем столько же, словно её и нету.

Есть злоглазые и раскосые молнии, и зияние звука –
адаптированный для живущих Тартар с татарским лицом...
От корней до кончиков ливня – расстоянье разлуки
меня с тобой, и всякой твари с её творцом и концом.



Немного солнца и медуз в воде
не помешают нам поговорить
о Вечности, которая везде
таится и томится... Рвётся нить

причин и следствий, холодна вода,
висит медуза, словно мозг сплошной, —
колеблется, отвратна, как беда,
что шепчет в спину, стоя за спиной.

О Вечности поговорить... А что
мы выясним, поскольку ни начал
и ни концов... Вода — как полных сто
процентов Вечности — жуёт причал.

И съест его, и тех, кто там сейчас
в кретинских позах удит, водку пьёт;
и наблюдающих за этим — нас,
сперва подьест, а после, в свой черёд,

проглотит. Это, собственно, и есть
весь разговор о Вечности. В воде,
как мозг, медуза дышит; и окрест
людские вопли — всё в своей среде.

Е.Ж.

я вынырнул из волны на губах осталась
солёная горечь жалость усталость малость
случайной жизни с водорослью на подбородке
словно вторая выросла борода и короткий

вдох-выдох и соль на радужке мне говорили
вон она сидит на камешках очками сверкая
очень уютная у ней за спиной дымятся грили
загрантов из улан-удэ а она потекает

этому безобразию что-то жуёт втихомолку
коленки вместе в пальцах дымит пахитоса
люди на фоне её похожи все на карболку
и вокруг наяривает ухажёр как гюйс без матроса

я могу глядеть на неё часами даже
когда комарихи грызут мои поры а поры мои велики
их разобрали как соты для кровяной распродажи
и бомбардировщики отваливают а она с руки

их лупит уютное и господнее создание посреди
любого пейзажа или праздной стихии
и не хочет думать и знать что у ней впереди
музыка и стихи или другое где бывают глухие

дни и ночи и меня нет рядом а вот она
прекрасна как доставленная со дна
коварная раковина на бабочку похожа
а есть ли жемчужина там досужий прохожий

побережья я не скажу тебе и другим тоже
это моя жемчужина на все века пока
не угомонится кровь в висках хотя и моложе
я не стану а она останется радовать наверняка



INSOMNIA

Сердце колотится узником, требуя света,
в каменном цирке ночном с беломраморным дном...
Это – твой спившийся Рим, сбившийся ритм, и это –
агатовый, адовый и кольцевой, многоярусный дом.

На! – неразменные звёзды, что режут под веками.
На! – воздух в кавернах, которым дышать нельзя.
Но забери, ради Бога, от меня того человека,
чьи глаза, как быстрые липкие руки, по мне скользят,

чьи речи исполнены мне не нужных упрёков
и чьё любомудрие пахнет свальной дырой.
Я столько уже не усвоил верных, но праздных уроков,
что и от этого лучше поглуше меня прикрой

чем умеешь: молчаньем за чашкой чаю,
анекдотом за рюмкой, шквальным ветром в порту
или тенью в портике старом; нету тех, без кого я скучаю
по эту, но чую, что заскучаю по ним по ту.

Душа понимает быстрее, чем этот, змеинный
по гибкости и неожиданности язык,
то, о чём говорит; и если в лицо надвигаются спины,
значит, ты резво идёшь и к такому темпу привык.

И, как ангину, усталость с собою перемещая
повсюду, – замечаешь её, только осев в темноте
дома, угла, тени под липой, не трепеща и
не сетуя; некому сетовать; и давно не те

слова, что готовил, ты скажешь, смущаясь
собственной речью, и заметишь, что нет
слушателя, а есть нефтяного чаю с
волнистым бликом луны стакан и горсть липких конфет.

Есть бутылка – прозрачней кривого намёка,
ядерный арсенал черешни, что-то ещё,
неразделимое, как: катулл-люкреций-данте-пушкин-набоков,
сплошное, как убористый ресторанный счёт.

И впереди ещё жизнь – никто не скажет, какая,
но какая бы ни была, – из принципа дотяну,
чтобы посмотреть, чем всё кончится, сморкаясь, икая
и рыдая во всю длину души и во всю её ширину.

давно я утратил нить не ариадны но диалога
сизжу и путаюсь в словах то элегия то эклога

то бог знает о чём в звонких латах с мечом
вроде мы грохочем а нам нипочём и горячо

дымится кружится сумрак неффа где слово сказать
бывает боязно то слеза то глаза и опять глаза

куда же сдвинешься уже а они глядят
морозильная камера от головы и до пят

что-то воскликнет в груди теребя
и мучая сердце и если не вижу Тебя



то это моя слепота и глухота я сам
пытался расслышать Тебя но голоса

извне пылесосы судьбы я почти
слышу помоги мне меня спасти

это не требование это тихий скулёж
и потом скажут мне что это ложь

ржа словесная что сидит в душе
и никак не отвалится и я уже

не знаю что написать тебе
рассказать ли о неудачной судьбе

что случилась давно и уже со мной
и тихо ходики тикают за спиной

Лежал и слушал, что там обо мне
шептали в неопрятной от шуришанья
носов и юбок, гулкой тишине...
Не треснуло по швам ни мирозданье,

ни чепчик той вдовы, которой я
пока не знаю; капал дождь, цветы зудели
в чужих руках, и лист календаря
сиял на Богом данном дне недели.

Спят или зареют, помянут,
дня три попьют, минут на сорок плача;
и кто сочтёт, потратив N минут, —
насколько я наврал и насобачил,

на сколько надерзил и налюбил...
Я думаю — никто: какое дело
кому, что мир-дебил, среди светил,
[...] ещё одно живое тело.

я помогу если ты увязнешь в милях
зыбучих песках болотах сомнениях идиотах
и придурочных дамах
никакого не будет праздника будут ели
еле стоять на косогоре и грязные азиаты
жуя плацинду думать что они дома

понятие дома точнее предчувствие дома
случайные джинсы на старом стуле книги
кашляющее грачами дерево за окном
вечерами из крышных труб привидения дыма
гуляет ничья собачка познавшая много
и лукавая лужа серебрится окунем

я вытащу из семи поднебесий из ста подвалов
где таится томительный бомж и сверкает
молнией помрачённая жизнью кошка
легче жить на ветру на холодной воле
действия чем в коконе так тебя уворуют
снесут к реке и будешь плыть как бумажка



лист календаря ничего не говорит о грядущем
в церквях звонят в колокола и по мобильному
господь не принимает ни звонков ни смс
за городом в тонких лосинах дождь идёт
прошлогодней листве от этого больно
и за седым буераком гниёт компост

ни на что не рассчитывай помолись понемногу
скаредными неумелыми фразами наполняя душу
человек засыпает и просыпается бес
он заполнит листы нотами и силлабами не жалея бумаги
это всё будет на genialность похоже
а как помотришь просто опавший куст

сирени или бересклета у соседей поёт вертинский
или высокоцкий или фрэнк заппа или синатра
просто шум но не громче шума в крови
в морях горит и кренился новая лузитания
пахнет истерикой коньяком и селитрой
сигарет и никто не кричит о любви это вид

утешительного помрачения мол где-то не с нами
всё и произошло или случится или повесится брат сестры
а мы не перекрестимся не всплакнём мы лучше
выпьём горькой настойки на травах где вкусовые гномы
побегут по пупырышкам языка зажигая костры
погашаемые слюной вязкого безразличия

я выгяну тебя и себя на вольный воздух покоя
которого не нарисовать не придумать не удержать
в горсти обстоятельств места и времени я
не успокоюсь видимо размахивая руками
что ветряк на юру и у ангелов вечное дежавю
перейдёт в посмертную правду прозрения

ЕКАТЕРИНА ЧУДНЕНКО

ПО ГОРОДУ ХОДЯТ ГУРУ

Новое солнце
Играет на старых обоях.
На кухонном столе
Разложены
Фрукты и овощи.
Я сижу и скрещиваю
Тебя с собою.
Иногда получают ангелы,
Иногда – чудовища.

Небо отрезком пялится
На сковородки.
Запертый воздух бьётся
В оконные щели.
Мне бы сейчас
Да немного водки.
Страшно тебе писать
До отвращения.

Я вынимаю, выглаживаю
Свои вещи,
Модные в этом сезоне,
Модные в прошлом.
Нужно писать выразительней,
Ярче, легче,
Но описание чувств
Кажется пошлым.

Что-то банальное
Очень
Есть в этом деле.
Ты как никто
Умешь
Видеть глубины.
Я не справляюсь
С внутренней
Бухгалтерией,
Делаю громче шоу
С мистером Бином.

Стирка – как поиск себя.
Глажка – как наказание
За недостаточность красоты
Письменных выражений.
Если бы можно было тебя



Как их всех – слезами
Или каким-нибудь
Соблазнительным
Телодвижением. . . .

Ты, как никто,
Умеешь стрелять и целится.
Я не всегда готова
Становиться мишенью.
Я что-то чувствую
(Если вообще это ценится),
Но это чувство
Вроде как
Не совершенно.

Лучше цедить компот
Со спелыми вишнями.
Мир может быть лишь сейчас
Весь пронизан тобою.
Если не получается – это лишнее.
Старое солнце играет
На новых обоях.

НА СМЕРТЬ АННЫ ЯБЛОНСКОЙ

Когда её убили,
У меня было важное дело:
Мысль о своей зарплате
И статье о насилии,
На мою массу тела
Было надето платье,
Это платье хотело
Чтобы его носили.

Здание аэропорта
Небо к себе прижало,
Взбитое чем-то красным,
Гнуло привычность линий,
Где-то внутри аорты
Время вонзало жало,
Время желало страстно,
Чтобы его ценили.

Когда её убили
Вот так – легко и сразу,
Думала о морали
И как покрасить двери,
Где-то чуть выше шеи
Было моих два глаза,
Эти глаза желали,
Чтобы ими смотрели.

Аэропорт плевался,
Сблёвывал свои чувства.
Я говорила: «Мне-то
Она совсем чужая».
Голос мой не сорвался,
Не было даже грустно.
Пеплом от сигареты
Пепельницу снабжая,
Руки стремились выше,
Там где торчали уши,
Уши хотели слышать,
Но не хотели слушать.



Больше её не будет
 Смерть – это вычитание.
 Смерть – доступна каждому.
 Её убили люди.
 Эти люди мечтали
 Сделать что-нибудь важное.

Она хуже меня, между нами не нить, но сажа.
 Я работаю там, где должна и готовлю ужин.
 Я всё делаю правильной, знаю, что важно.
 Я не чувствую ничего, кроме нужного.

Она носит мои веснушки, родинки, волосы.
 Ей апрель опускает на губы зелёную мякоть.
 Мы зовём почему-то родителей общим голосом.
 Я люблю быть довольной. Я не умею плакать.

Она ходит по городу, трётся спиной об улицы
 Ей бросает весна в сердцевину цветущую кашину.
 Она очень тщеславна, глупа и всё время сутулится
 Я, конечно же, лучше её. И счастливее. Кажется.

По городу ходят гуру,
 У них всё хорошо и правильно:
 На них напало большое и жирное
 ПРОСВЕТЛЕНИЕ,
 Им теперь не бояться –
 Ни старости,
 Ни умирания,
 Не пить валерьянку,
 Не мерить давление.

По городу ходят гуру
 С чистыми светлыми чакрами,
 Их аура выглядит стильней
 Даже Джоли и Пита,
 Сердца – как место для чата –
 Небесная говорильня,
 Души – как место ангельского
 Общепита.

А я проедаю им голову,
 Вгрызаюсь зубами до плечи
 И лезу, пролажу в уши
 С простым дурацким вопросом:
 Скажите, у вас что-то чешется?
 Под мышками или под носом?
 Живой человек обязан
 Чесаться, чихать и кушать!

По городу ходят гуру,
 И всем им паранормально,
 Они исцеляют лучами
 Всё, что ногами двигает,
 А я вот не знаю значения
 Слова
Трансцендентальный,
 И даже гораздо печальнее –
 Я не могу его выговорить.

По городу ходят гуру,
 Живут в моём городе гуру
 И спят в моём городе гуру
 В своих гусятских кроватях.
 А я? Я – простая дура,
 Не Шива, и не Парвати,
 Глотаю свою микстуру
 И думаю: с меня хватит.

Сколько в тебе невидимых корешат
 Чувства переворачивают, потрошат,
 Славненько обживаются в твоём мире,
 Думаются, как твои, отзываются на твоё,
 Строят внутри огромный жилой район,
 Где каждому жителю по квартире?

Сколько в тебе подонков, убийц, [...],
 Тонущих в крови, как правило, – не в воде,
 Рвутся наружу, требуют мультивизы?
 Если себя по паспорту узнаёшь,
 Как отличишь, где истина, а где ложь,
 Если внутри сумятица и галдёж,
 Сердце, как барахлящий старенький телевизор?

Как ты поймёшь, где пол, а где потолок,
 Если от тебя отщипнул кусок
 Каждый, кто смог (а много кто очень смог)?
 Каждый тебя хотел, ты всем давала.
 Вот и не спрашивай теперь, почему
 Сердце похоже на каменную тюрьму,
 Голос собственный слышишь, как из подвала.

Но ты же не видишь, ты прячешь опять зрачки
 Под светозатемняющие очки,
 Внутренний скрежет глушишь шипением лимонада.
 Ты сейчас улыбаешься и говоришь:
 «Всё хорошо, всё ок, кругом гладь да тишь»,
 Сама себе улыбаешься и говоришь:
 «Всё хорошо, всё идёт как надо».

Здравствуйте Гарри Поттер, Бэтмен и кто-нибудь там ещё!
 Мир за окном прекрасен, свеж и розовощёк,
 Только внутри у меня, слышите: щёлк да щёлк –
 Что-то звучит понятное только супергероям.

Мне бы лечить это водкой, работой с восьми до пяти,
 Не унывать, не сдаваться, пытаться пролезть и пройти
 В тёпленький мир, где сходятся все пути
 Важных людей из серии нормальных и правильных –

Тех, что идут из офиса в магазин,
 Знают почём сейчас доллар, почём бензин
 И покупают бензин, чтобы тело свое возить
 На свежескупленных автомобилях.

Мне бы делать, что можно, не делать того, что нельзя,
 Быть при работе, муже и нужных друзьях,
 Знать где, когда и почём сейчас лучше взять
 Самое свежее, самое лучшее счастье.



Только хочу всё чего-то сверх сил, сверх души.
Что? Не могу ни понять, ни решить,
И эти мысли в моей голове, как вши,
Лечатся только чем-то ужасно вонючим.

Поттер мой милый и Бэтмен ты мой дорогой!
Может, я тоже какой-нибудь супергерой,
Глупый, унылый, хромым и кривой,
Но только знающий толк во всех суперзлодеях?

Или... не будем гадать на крупе и воде,
Мир обойдется и без моих суперидей.

Гладит реальность сон по его бороде.
Снится мне пропасть, в которую падают дети.

По небу бредёт звездочёт,
Заблудился, наверное.
Ищет кого-то,
Или же выпал из времени?
Доит коров небесных,
Сплетает истово
Смыслы небесных стихий
С земными смыслами.
Как он туда попал
Их простых кабинетов,
Где папками свален хлам
И лампы дневного света,
В царство снов и комет,
Медведиц красивых, блестящих
В этот парад планет,
Реальных и ненастоящих?
Как бы мне освободиться
От звонков и отчётов,
Выйти на свет и влюбиться
В того звездочёта?

ОЛЕГ СИРИН

В ГЕЛИОПОЛЬ

Ты видишь, как ёжится Солнце в углу
И катятся головы с трона,
Где наших полков, где архангелов труб
Звенящие медь

и глаголы.

Бумажных царей

предпоследняя рать

Колышется в такт с ковылями.
Ты рыбой об лёд не хотел умирать,
И жить в синеве

окаянной

Кромешных минут и прожорливых ног
Сверкающих храмов империй.
И скалится запад, и проклят восток,
И мера деления –

север.

КОФЕ С СНЕГОМ

В лапах огромной медведицы
Кровь одичалой кормилицы.
Ляг ко мне в снег – перемелются
Буквы в созвездья кириллицы.

Грудь перекрёстков стреножили
Вкус января, запах праздника.
Ляг на крыло – станем воздухом,
Пьяными гроздьями азбуки.

Кофе со снегом... Зеркальными
Будут глаголы беззвучные.
Ляг ко мне в слог переплавленной
Наглостью рук необузданных.

Мне нужны жабры, чтобы дышать –
это шанс опуститься до звёзд...

Мне нужны жабры, чтобы молчать
на синих мазках акварели...



Нам нужно время, чтобы убить –
эти пару часов с циферблатом...

Нам нужен воздух, чтобы зажечь
электрическую лампу с джинном...

Вам нужен чай из пластилина,
чай из ветвей мухомора,
загипсованных инквизиторов
и символа жреческой касты...

И тогда, мы все дружно забудем то,
что мы все дружно забыли...

№Б

Не спрячется, не скроется Всевидящее Око,
Не нужно конспирации и кодовых замков.
Привычка к разделению – концепция эпохи,
В руке стандартизации – расхлябанность умов.

За чёрными кулисами – зашторенные взгляды,
Под шляпой ростовщичества – осиное гнездо,
Под небом революции разыгрывать спектакли –
Работа информации, системы ремесло.

Машины, криптография, пароль и кабинеты,
Условная символика, химический раствор.
В глаза глобализации, огромная планета,
Смотри – на отражение, на страшный приговор.

За блеском многословия – лишь нити кукловода,
В пробирку со свободой подсыпан купорос.
Под маской сострадания, под знаменем штрих-кода
Не спрячется, не скроется Всезнающий Вопрос.

АНДРОМЕДА

В букет собираю кометы
Для тебя, обречённо всевышней.
В ночь к твоей принесу я постели
Астрономии синий колпак.
Усни, моя боль – Андромеда, –
Обнажая свою незащищённость.
Вновь из родинок на твоём теле
Я пытаюсь сложить зодиак...

Тебе подарил бы планеты
За мерцанием Альфы Центавра,
И рождение, вспышкой сверхновых,
Тех галактик, которых не счесть.
Усни, моя боль – Андромеда, –
На кровати из звёзд и пульсаров,
На плече полусонного Бога,
Оставайся такой, как ты есть...

СМОРОДИНА РЕКА

Что в этом мире Яви
тебе открыто свыше?
Иван родства не знает,
но знает, что дурак.

И щит возьмут славяне,
а дальше – видит Вышень,
всей черни изваянья
окружат Китеж-град...

*

Что знает эта девочка,
в руках держа глаголицу,
на требище языческом
умершая вчера?
Не убежать от вечности;
каким богам мы молимся?
– бумажным, электрическим,
кумирам механическим...
Смородина Река!

Заклинай своих змей,
изумрудный тритон,
внимая из глаз
отрешённый карбункул.
Лабиринт без путей,
без углов посолонь,
для смешных русских нас –
ворожба по чешуйкам.

Как трещит скорлупа
размалёванных снов:
твой левит – чародей,
посмотрю равнодушно
на пластмассовый шар,
стрелки жидких часов.
Заклинай своих змей,
если это так нужно.

Египтянка, твои локти
пахнут мускусом и мылом,
Белым сфинксом охраняю
эти сонные глаза.
Египтянка, в Гелиополь
мы поедem в выходные
Похищать его дыханье,
слышать мёртвых голоса...

Египтянка, ты прекрасна
словно грань обожествленья,
Первобытных ритуалов
в танце пьяного костра.
Египтянка, нам подвластно
изгибать дугою время...
Их небесное кресало
низводить на города...

Египтянка, к телу Нила
принеси мои ресницы,
Иероглифом песчаным
нарисуй нас на воде...



Египтянка, эти крылья –
жертва воздуха для птицы,
Рассекая мирозданье
вечно тянутся к тебе...

Не дождёшься вовеки исхода,
Каждый выход – начало пути.
Астроном – это способ звезды
Наблюдать за своею природой...

Отрешись от себя, видишь, крылья
Тянут к небу, а ноги к земле...
Что им глас, вопиющий в пустыне?
Что им звёзды в твоей голове?

Сюрреализм в твоих руках –
Врата Иштар – плавник дельфина...
Река, сгибаемая Андрогина,
Велеречиво вводит страх...

Чешуйки молятся на волны...
Кто в снах упругий исполин,
Кто истукан,
 тотем,
 тфилин
Горящих глаз в луче исполнен...

Там мёда нет, но есть акриды –
Застывших мыслей эмбрион.
Глотая пыль, Лаокоон
Змеиной жаждет панихиды...
Твоих вопросов и зрачков...
Там нефилимы сеют в круге,
Кресты апостолов в испуге
Развоплощая в мотыльков...

ЕКАТЕРИНА ЯНИШЕВСКАЯ

«В ЭТО ВРЕМЯ МЫ НА КРЕСТЕ...»

... и который год ты видишь один и тот же сон,
он похож на день, но как ночь, блестит.
сон глядит на тебя с девяти сторон:
у тебя в нём сын и холецистит.
а ещё в америке был сказал
мол такие дела и речной вокзал.
ты кого-то искал там, не лги, искал.
никого не нашёл, кто теплей песка.
у слепой негрityяночки из соска
лилось горькое молоко.
и ты понял, что слишком уж далеко
все зашли. и не видно родной земли.
и холодное небо смердит треской.
где горчичники, чай, покой?

... и который год ты видишь одну и ту же явь.
либо мчишься вплавь, либо по снегам,
и места где ступала твоя нога,
наливаются кровью усталых глаз.
ты встречаешь в пути четырёх зверей,
и в когтях у них ключ от семи дверей,
за одной из них – лето, хаджи-гирей,
вечный яблочный спас

... и который год у тебя в груди одна и та же навь, пережат нейрон.
господи, прости, если это – явь, то какой же сон? то какой же сон?

я узнала секрет, мой друг.
расскажу его всем подряд.
больше всего о любви говорят нелюбимые
больше всего говорят
больше всего церковью там, где в людях нет святости
раздают презервативы на улице тем, у кого нет секса
а как громко смеются те, кому чёрствы простые радости,
кто не может найти себе места
а вот и я, человек с двумя высшими незаконченными
тремя невыученными иностранными языками,
обезврежена, раскурочена, обесточена,



но размахиваю руками, чтобы ты
меня видел, мой друг с вертолётов и вездеходов
несмотря на засилье ветров и вьюг, на neprуху и непогоду
и ни слова любви тебе, друг. ни в одном и е-мэйле. мнимых –
никаких изречений сердечных и точек в ряд.
ведь я знаю, что больше всего о любви говорят нелюбимые

больше всего говорят

ну какой я синоптик?
плохой. только всё-таки ты зовёшь меня, наливаешь мне кофе и
просишь как будто бы в цирке и на поклон
доставать из кармана и вьюгу, и гром, и оттепель.
плюс указкой чертить иллюстрированный циклон.
я всегда не справляюсь. оканчивать театральный почему-то не стала.
мне люди совсем не верят.
как же так объяснить, что им холодно, потому что солнце сейчас устало.
моет щели свои атмосферные,
топит сели. не хочу проливать дождь и снег над цветочком аленьким.
дорогого мне стоит один ненарочный шаг
это всё оттого, что меня никогда, как маленькую,
серый ветер не кутал в шарф.
я боюсь им сказать, что весны не предвидится, – мало совести.
правда, скоро грядёт общепринятая зима.
замечал ли когда-то, от этой нехитрой новости
даже крепкие нервы способны сойти с ума?
вот такой я синоптик. и всё же когда смеркается,
непреренно зовёшь и потрогать, и посмотреть
как руками вожу по двум картам. но в них рождается
лишь земная твердь.

нинель солдатка, гимнастерку носит,
и через груди продевает пули, как бусы
будто полковники ей дарят папиросы
кубинских марок, фотокарточки эльбруса,
гербарии из дней и незабудок.
нинель солдатка, девка че гевара,
свистит, как бес, и в сердце маршем бьётся.
и носит сапоги с высокой голенью
и спит в окопах прямо под луной.
нинель солдатка, мирный ей не пара,
от их капризов – боли, столько боли,
что с ними ей не выбраться живой.
нинель солдатка. [...], свиноматкой
её зовут в военном гарнизоне.
нинель спокойна. так клокочут жёны,
с жён офицеров взятки, слышишь, гладки.
а у полковников, которые к ней ходят,
которые к ней лезут на рожон,
жена мертва или совсем нет жён.

но через месяц гарнизонный город снимется.
уедут, на прощание обнимутся,
и не напишут, хоть и обещают.
нинель их горьким взглядом провожает,
пока весь их военный гарнизон
не скроется совсем за горизонт



её спасёт мальчишка-рядовой, к плечам её тяжелым прикоснётся —
снимай шинель, нинель. пошли домой.
и улыбнётся.

шелли, я обмер на двух столбах, я пил небо и гладил песцовый мех
у кого-то украдкой, тайком, впотьмах. и совсем как святой — был один на всех
а на море охотском то шторм, то штиль. в каше соли и йода нельзя дышать.
мне же тесно здесь, шелли: в клубок из миль упирается пущенная душа

без тебя не пойму, что есть сон, что миф, что — игривое солнце на щёчках блях
каждый вечер приходит в мой дом юдифь, сушит рыжие волосы на углях
прячет опиум в складках смешных пижам. осторожны и мелки её шажки
это значит, точиться её ножам. это значит фиаско моей башки

я кормлю юдифь зрелищами, но грош
ей цена. я не шлю за ней сам, поверь
просто в доме всё время открыта дверь
чем рогатый не шутит, а вдруг придёшь

казанова, ты опоздал на полдня, на пол-истины, на полворота.
все одинокие женщины ещё утром уехали прочь из нашего города
чемоданов с собой не взяли, неожиданно дав искромётного стрекача
казанова, ты думаешь, стоит дарить медали
тем, кто знает, как вовремя надо рубить сплеча?
мол пускай с этих пор у них будет прекрасный стимул
рвать тоскливые когти, отмычкой вскрывать оковы
и метать по полянам подол в слоевище примул?
значит, думаешь, стоит? а я не уверена, казанова!
одинокие женщины верят звёздам, таро, пророчествам,
картам солнечных пятен, безлунных июльских неб
и повсюду несут за собой это чертово одиночество,
отравляя им пресную воду, столовый хлеб
одиночество тянет к закату свои осьминожки щупальца,
прорываясь наружу из родинок на груди
оттого и в округе давно никому не чувствуется,
что всё хорошее кроется впереди.
казанова, ты щёголь. короной цветов увенчанный.
галифе, казанова, отлично тебя стройнят.
мне немножечко жаль, что ты шёл не за мной, а за теми женщинами,
не похожими ну ни капельки на меня.

я буду петь тебе.
неистово. с острасткой.
не разобрав припевов, вскриков, нот.
я буду петь тебе.
и прoderётся лаской
сквозь рёбра голос — лечь на твой живот
я буду петь тебе
я разорвусь снарядам.
одним аккордом взяв и бас, и альт.
я буду петь тебе.
я допоюсь до ада.
и трещинами вскроется асфальт.
я буду петь тебе.



ты снимешь бутоньерку,
раздавишь пальцем, примостишь в карман.
я буду петь тебе,
как будто браконьерка,
попавшая в капкан.

я буду петь тебе.
выманивая душу,
чтоб капала на стол печатным сургучом,
я буду петь тебе.

пожалуйста, послушай,
о чём.

о чём. о чём.

здравствуй, Иуда
да нет, разумеется, не обиделся. всё в порядке,
ведь кто старое помянёт — тому глаз вон
я нормально. и, вроде, неплохо ребятки
иногда подают идеи, помнят древнюю Иудею,
ездят кушать в кафе «Хеврон»
если хочешь кого-то из нас увидеть —
прежних твоих приятелей и приятельниц
в новой их свят-апостольской красоте
заходи в любой день,
кроме пятницы, страстной пятницы
в это время мы на кресте

ЛЮДМИЛА ШАРГА

УСМЕШКА МАЛЕНЬКОГО ГРИФОНА

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

(у зеркала...)

одиннадцать минут...
чётки Бейли
рассыпались по
лунному лимбу
через десятки лет
рвусь к тебе я
в январь
где мы
так много смогли бы
не долететь к тебе – не доехать
на «перекладных снах» добираюсь
смеёшься ты
а здесь – не до смеха
электорат вождя выбирает
шуты да смерды зело радуют
в предвыборной зайдясь паранойе
в какой стране?
ты волнуешься – где я?
ты называешь это страную?
я как и прежде
в доме старом
на улице
что рядом с Каретным
я от «сегодня» давно устала
я во «вчера» хочу –
по секрету...
ты полагаешь –
это знамение?
ты говоришь –
предсказано в книжках?
трудно дышать...
затянулось затмение
одиннадцать минут –
это слишком...
так значит не зря
рвусь к тебе я
в январь
где мы
так много смогли бы...
одиннадцать минут
чётки Бейли
рассыпались по лунному лимбу...



МОТЫЛЬКОВОЕ

Мне бы коснуться Вашей руки
 и замереть в смущении.
 Знаю, Вам нравятся мотыльки
 (полное превращение)...
 Сладостный яд разольётся в крови
 под небосводом розовым.
 Кто там – в терновнике – гнёзда вил?
 Вились над кем стрекозы?
 Спутались мысли.
 Мне бы бежать...
 Лжёт во спасение разум.
 Кровь иссушил смертоносный жар
 перед четвёртой фазой.
 Утренний холод на крылья лёг,
 кукольных нет оков.
 Кто я?
 Серебряный мотылёк,
 в Ваш влетевший альков.
 Как опрометчивы мотыльки,
 и лучезарна смерть...
 Мне бы коснуться Вашей руки
 крылышком.
 и сгореть.

ЭПИСТОЛЯРНОЕ

– ... *Извини, я же не Татьяна, хоть и пишу стихи... или письма...*
 – *Да и я, признаться, не Онегин.*

из телефонного разговора

среди стихов о неслучившемся снеге
 написанных сдуру
 а чаще всего – спьяну
 затерялось письмо
 за подписью: неонегин
 на конверте размашистым почерком: нетатьяне
 внутри несколько
 ничего не значащих
 рифмованных слов
 о прибрежном песке
 сонном и ещё тёплом
 и о том что ступеньки лестницы
 снова листвою занесло
 и о том что дожди стучатся в сердца
 как в оконные стёкла
 а над городом
 нависло тяжёлое серое небо
 край которого
 острой долькой луны разорван
 и из этой прорехи
 сыплет мелкий снежок
 больше похожий на тальк
 присыпая царапины на скамейке
 ссадины памяти
 дрожащие пальцы каталып
 и следы на песке
 то ли чаячи
 то ль человечьи...
 и ни слова о том
 что скучаешь и
 мечтаешь о встрече...

post factum

глупо
 срывать в ночь по первому зову
 даже если пишешь
 о неслучившемся снеге
 даже если шестьсот ночей
 легко отдашь за одну
 в которой жил звонок телефона;
 снежный тальк присыпает усмешку
 маленького грифона
 растекается лужицей слово
 не-о-не-гин

НА СТРАНИЦАХ КНИГИ ТВОЕЙ

На страницах книги твоей
 я открыла город,
 узнавая улицы,
 лица узнавая,
 и колодца старого
 ржавый ворот
 проскрипел,
 что есть здесь вода живая.

По страницам книги твоей
 я брела несмело,
 всё ждала, что кто-нибудь
 да вот-вот окликнет,
 но, похоже, нет никому
 до меня здесь дела:
 тосковали,
 плакали...
 а потом привыкли.

На страницах книги твоей –
 с прошлым по соседству –
 расправляет будущее
 паруса ли?
 Крылья ль?
 Всё, о чём мечталось тогда –
 в босоногом детстве,
 стало болью,
 буднями,
 стало пылью.

По страницам книги твоей,
 к пристани далёкой,
 где давно уж на воду
 спущен кем-то ялик,
 я дошла
 хоть выпал мне путь нелёгкий...
 и самой не верится –
 я ли это...
 я ли?

По страницам книги твоей я пришла к себе.
 Отчего же снега белей лист последний бел...



ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ САЛАМАНДР

Знаешь, мне всё ещё снится зима —
 тонет в безбрежии белом хижина...
 и прирученный огонь так мал,
 что его отсвет только и вижу я.
 Может, ты помнишь, в каком из миров
 выковал меч свой под песнь снежную?
 Я открывала гептамерон¹,
 плавился воск, со слезами смешанный,
 белой подковой лежал меандр²
 над чернотой подземелий каменных...
 Помнишь двух маленьких Саламандр,
 что танцевали в подростковом пламени?
 Помнишь, как было легко молчать —
 просто идти одной дорогой,
 руки твои на моих плечах
 мне и без слов говорили многое.
 Ты и сегодня куёшь мечи,
 я — плавлю воск, на слезах замешанный,
 мы и сегодня ещё **МОЛЧИМ**,
 только... всё реже **МОЛЧИМ** по-прежнему.
 Но оживёт на клинке меандр
 из сновидений,
 и вновь увижу я
 танец двух маленьких Саламандр
 над занесённой снегом хижинкой.

¹ Гептамерон (гримуар) — книга заклинаний.

² Здесь — плавный изгиб речного русла.

Видать, и мне
 отпущено сполна
 испить из чаши бдений у окна —
 из темноты пугающе-манящей,
 и приручая эту темноту,
 уверовать, что мудрость обрету,
 узнав, что только ищущий обрящет.
 Видать, и мне отпущено стареть,
 Париж увидеть и... не умереть
 от разочарованья и досады,
 и видаться среди живых живой,
 и запастись лунною травой,
 спускаясь в полнолуние с мансарды,
 чтоб пережить и боль, и смерть друзей,
 и поголовье выскочек-ферзей
 с повадками подобострастных пешек...
 Молить о снисхожденьи небеса
 и получать,
 а стало быть — писать,
 не опасаясь гаденьких усмешек.
 Всё просто —
 мне отпущены сполна
 и неба синь, и моря глубина,
 и первоснежья миг,
 и — первоцветья,
 чтоб в каждом дне минувшем видеть свет,
 и на любой вопрос найти ответ,
 а на последний так и не ответить.

СИНДРОМ УНДИНЫ¹

спишь...
 время от времени
 прикладываю ладонь к твоей груди
 дышишь ли
 тихо в палате
 на улице жуткая холодина
 врач
 не поверил мне
 когда вчера заходил
 на вопрос
 кто вы ему —
 я улыбнулась — ундина
 спишь...
 и на имя Гульдбрандт
 откликаешься только во сне
 где озёрная дева в увядшем венке
 бродит по сонному замку
 ты задыхаясь шепчешь ей вслед
 что не доживёшь до утра
 но она не слышит
 что бы ей ни сказал ты
 просыпаешься...
 я
 брожу по городу допоздна
 чтоб вернуться к тебе
 и всю ночь
 хранить
 ускользящее дыханье
 бедный рыцарь
 когда бы ты знал
 что причина всех твоих бед
 таится в тебе самом
 и зовётся... грехами
 спи
 за окном
 капли дождя разбиваются о карниз...
 лист назначений с диагнозом
 синдром ундины
 исписан стихами
 отпускаю тебя
 дыши
 вдыхай в себя новую жизнь
 лишь озёрных дев сторонись
 и ещё... —
 не клянись дыханием

¹ «Проклятие Ундины» — неофициальное название синдрома остановки дыхания во сне.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Поймёшь однажды,
 что он — другой,
 твой мир,
 и чуждый и незнакомый...
 По тёмным улицам, как изгой,
 пойдёшь, пугаясь пустот оконных.
 Всё в этом городе, как всегда:
 и каждый встречный и камень каждый,
 но ты проснулся,
 а явь — вода,
 не уголяет ни боль, ни жажду.



Воспоминаний полна река,
но ты – по-прежнему – пленник тела,
плывёшь и помнишь, что ни глотка
из вод бывшего не можешь сделать.
Что ж остаётся?
Стихи писать,
тепла остатки бросать на ветер,
и стать последним из бодхисаттв
не усомнившись, что мир твой – светел.
Но только...
вынесешь ли, скажи,
весь путь без отпусков и вакаций?
Ведь, чтобы не было больно жить,
порою лучше не просыпаться.

Даже, если всё расставит
время по местам,
даже, если ближе станет
тот, кто дальше стал,
годы вытянутся в мили
и сведут «на нет»
череду имён, фамилий,
званий и побед.
Неразменной монетой
притаится вздох,
да печали перманентный,
«сахарный» ледок.
Близко будешь –
далеко ли –
жажду «аз воздам»
уголит и упокоит
тёмная вода...
И до срока лёгший камень
на душу твою
в эту темень тихо канет,
точно в полыню.
Даже если станет легче
и светлей вода,
помни, время память лечит –
горечь – никогда.
Полно думать о печали –
пусть себе горчит,
только б, к берегу причалив,
память излечить,
только б кто в церквушке старой
помолясь, скорбя,
Богородице поставил
свечку за тебя.

МАРИЯ МАЛИНОВСКАЯ

МИШКА С'ШИШКОЙ
фэнтези-быль

Предыстория

Следовало бы, конечно, поразмышлять немного, что-то припомнить, что-то додумать, а уже потом браться за повествование. Но я, как, в общем, и всегда, уступаю вдохновению, пока оно на вдохе, и старательно зажимаю ему нос, дабы подольше не выдыхало. Отсюда понятно, что сейчас, в 31 минуту четвёртого, или без 29 минут четыре, или в одну минуту второй половины четвёртого 15-ого (жаль, что не 14-ого) февраля 2010 года я начинаю свой в высшей степени необдуманный, крайне бессвязный и совсем незапланированный рассказ.

Но сперва позволю себе маленькую предысторию, которая существенно облегчит понимание сюжета.

Недавним-недавно, лет этак 20 назад, проживал в одном захолустном мегаполисе (то есть многомиллионном селе) где-то на юге Англии знаменитый олигарх Мишка с'Шишкой. Он владел одноименной фабрикой по производству конфет (или фабрикой по производству одноименных конфет, что одно и то же, ибо и конфеты, и фабрика, и её владелец именовались одинаково). Предприятие процветало, и блаженный аромат распространялся даже в околотки Мегаполиса.

Стоит сказать, Мишка того заслужил. Явившись в незнакомую страну со своего родного Острова Приностей, кой, наверняка, и воспитал в нём кондитерский талант, амбициозный абориген сразу принялся замешивать повидло, пока горячо. Всевозможным спекуляциям он обучился там же, у африканских берегов, на пляжах и базарах, так что был подкован до зубов, точнее до дёсен, потому что зубов к тому времени давно уже лишился. Тоже заслуженно. Я, если хотите, и взялась пересказывать вам сию эпопею только потому, что в ней содержится мораль – экстракт, редчайший в наши дни.

Итак, ближайшей копеечкой закреплял Мишка свой дальний рубль. А поскольку и глаза, и уши у него росли намного выше лба, успеха он добился скоро. Но... где деньги, там и женщины. Вот и у рассудительного Мишки не получилось избежать – не любви, нет – брака. Хотя на тот момент он был полностью уверен, что влюблён. И даже думал потерять голову.

Предметом его обожания на тот момент являлась Апельсинчик, некоторая комнатная собачонка, весьма, на удивление, достойная. Ох, следовало заранее обмолвиться, что описываемые мной события происходят в мире животном, а не людском! Ну да не суть важно. Отсюда понятно, что Мишка тоже был псом. Беспородным, правда, но зато восточного типа, что всё искупало. И, к тому же, с харизмой. Длинный, на коротких лапах, чёрный от кончика единственного уха до кончика несуществующего хвоста, с большим бесформенным белым пятном на груди. Но вопреки ожиданиям без намёка на шишку. Известное дело, подобным красавцам нравятся мягкие светлые девушки. Так что пегая Апельсинчик, пусть и далеко уже не девушка, пусть и слегка дряблая, о чём свидетельствует её имя, пришла Мишке как раз по вкусу.

Маленькая собачка до старости щенок, да и на всякого мудреца простоты довольно. Убедил себя Мишка (он сам впоследствии понял, что убедил себя, но так никогда и не догадался, что на самом деле убедила его Апельсинчик), что устал он от многолетнего труда, и от самих плодов его, и от этого чужого города (а ведь Мегаполис только-только стал казаться ему родным), и ещё пуще – от самого себя. Рванулось из груди заspanное сердце! Захотелось Мишке жизни новой, жизни новой, неизведанной.

И принял он роковое решение. Пустил слух о собственной скоропостижной смерти вследствие недоедания конфет, руководство фирмой втайне препоручил товарищу гаву¹ Лягуху, женился на Апельсинчике и укатил с ней в Полинезию.

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Не успел новоявленный муж отдохнуть, наладить быт, обустроить под палящим солнцем иллу, как... развелся. Вернее, его развели – на иллу, яхту и банковский счёт.



Обратная дорога длилась год. Вплавь, по-собачьи, преодолевал Мишка неслыханные расстояния, питаясь преимущественно акулами и касатками, брёл через джунгли, города, сражался с папуасами, таможенниками, полномочными послами, снова плыл – и никто нигде не верил, что этот странный тип – гав Мишка с'Шишкой. Не столько потому, что шерсть не така, сколько потому, что ещё год назад повсюду обвесли о его кончине.

А в Мегалополе блудного отца поджидало потрясение, едва ли не более тяжкое. Опьянённый властью, Лягух развернул грандиозную коррупцию и вскоре попал под наблюдение правоохранительных органов (коиными в ультимативном порядке был завербован).

Место же путём весьма туманным, характерным для данного климата, перешло главнейшему конкуренту Среждорлопу.

В довершение всего, Мишка узнал, что был похоронен согласно канонам какой-то восточной религии, вследствие чего и дом его, и большая часть имущества, и акции, и даже нефтяные холдинги были торжественно сожжены. Фабрика же уцелела только потому, что стала достоянием общественности.

От сумы да от тюрьмы не отрекайся. Но знал неунывающий Мишка: нет худа без добра. И пошёл он по белу свету счастья искать.

Глава I В ТИХОМ ОМУТЕ

Долгое время лучшим уголком Земли бесспорно считался Тихий Омут. Не только из-за своих неопишуемых красот, но и... чужих тоже. Там росла Сеньорита Штакетник, йоркширская кокетка с неизменным альбомом бантиком между нежных, почти прозрачных, рыженьких ушей. Папа её был породы бухунд, не норвежский, правда, но это сути не меняло. Родословная мамы восходила к ротвейлерам, чем и объяснялся её крутой нрав. И до сих пор остаётся загадкой, каким образом при скрещивании двух служебных собак получилась декоративная.

Жили Штакетники и другим давали жить, горе верёвочкой завивали. Хата их с краю стояла, не углами красна, а пирогами. Криком рублилась, в дождь крылась, в ведро капала. Горницы с богом не спорились. Беды мучили, да уму учили, давал бог день, давал и пищу: лебеду на стол, хрен да редьку. Нередко и каша заваривалась. Кормили семейство отцовские ноги, потому как за дурной головой и ногам горе. А в целом на судьбу не жаловались.

С детства Сеньорита была влюблена во всемирно известного магната Мишку с'Шишкой. Вместо ковров, обоев, ёлочных игрушек и постельного белья у Штакетников использовались фантики. Сбирала их по улицам вся семья. На конфеты денег не хватало.

Юная леди сама написала Мишкин портрет и гордо водрузила его на пол, так как стены портить не хотелось, а покупка мебели откладывалась практичной мамашей вот уже 15 лет.

Сеньорита Штакетник боготворила возлюбленного. Для неё не составляло сомнений, что Мишка – девственник, не иначе как девственник, ведь он предчувствует неизбежную, скорую, очень скорую встречу со своей судьбой! С нею... Сеньоритой Штакетник... местного повета здешней волости. И верен одному предчувствию.

Слух о гибели Мишки, дошедший до Тихого Омута через год, вовсе не поверг влюблённую в отчаяние. Наоборот, Сеньорита Штакетник вылиняла от счастья, вообразив, что теперь гав с'Шишкой будет неотступно с ней.

Рано пташечка запела... По законам физики, уходя в вечное плавание, любая выдающаяся личность поднимает волны. А интерес к подробностям кончины олигарха и, как следствие, ко всей его биографии, буквально захлестнул планету. Отдельные брызги долетели даже до места дислокации Штакетников. Но ведь и Москва от копеечной свечки стореда – что уж говорить о сердечке юной Сеньориты, случайно узнавшей о порочных связях Мишки с'Шишкой... А самое чудовищное – о законном браке.

От горя у Сеньориты Штакетник упали... ушки. Правду гласит народная мудрость: горе одного только рака красит.

Если прежде она потеряла голову, то теперь, найдя её, – утратила главнейшее своё богатство – не жажду – неуёмный аппетит жить. И неизвестно ещё, что хуже.

Исключительно в отместку Мишке Сеньорита Штакетник дала согласие первому же претенденту на её мякиш – до того ни разу не встречавшемуся в Тихом Омуте бандиту.

Глава II ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ

Долго ли, коротко ли, близко ли, далёко ли – брёл Мишка и, сам того не подозревая, попал на земли русские. По пути пробавлялся, чем Бог давал. А не давал – так он и не упрашивал – силой отбирал. Грех воровать, да нельзя миновать.

И принял путь выведывать, куда это завела его дорожка торная. Ему отвечали, что на самую окраину, за которой шли владения прусаков. К тараканам гав с'Шишкой не тянуло, и он предпочёл

засесть в каком-нибудь уютном омуте. Выбор пал на Тихий – самый элитный в округе. Там жили только бизнесмены, воеводы, сборщики налогов и... семейство Штакетник – обнищавшие первопроходцы.

Уголок был и впрямь бесподобный. На мёртвой чёрной глади вместо лилий цвёл порок, а по краям, где вода откусывала от почвы, а почва отпивала от воды, и дальше, в глубь леса, разлагалась мораль.

Деревья не тыкались больше влажными верхушками в небо, – их отгесняли соломенные (зато золотые) крыши вилл. Отовсюду слышались протяжный сочный свист и балалаечные трели, составлявшие невыносимую какофонию: меломаны услаждали слух. Пространство наполняла вонь духов и псины, смешанная с дымом сигарет. Над какофонией, однако, властвовал иной, ещё более сильный звук, а над вонью – не в пример острейший запах. То были хруст и аромат конфет «Мишка с'Шишкой».

Не всё горе приплакать, не всё притужить. И отважился несчастный путник на самое тяжкое, как он считал, преступление. Ведь направлено оно было, скорее, не против других, а против него самого, наносило урон его делу и чести. Истосковавшийся по многолетнему труду, и по самим плодам его, и по тому чужому городу, который только-только стал казаться ему родным, и ещё пуще – по самому себе, Мишка украл конфетку собственного производства.

В дрожавшей лапе держал он маленький размякший комочек и каждой подушечкой ощущал обёртку, а под ней – родное месиво... Слёзы текли по его колтунам и впитывались в клочки ещё не свалявшейся шерсти. Единственное ухо, бессильное противостоять Scirocco², хлопало то по носу, то, кверху нежно-розовой изнанкой, по загривку. Мишка стоял прямо на месте преступления, давя треклятую конфетку, и был не в силах справиться с тоской.

Вдруг позади себя он услышал ангельское твяканье:

– Простите, гав...

Он обернулся и сквозь первые в жизни настоящие, чистые слёзы увидел первую в жизни настоящую, чистую красоту. Перед ним стояла совсем ещё юная собачонка с алым бантиком между нежных, почти прозрачных, рыженьких ушей.

– Простите... Но не стоит этого есть. Бросьте, умоляю Вас, бросьте!

– Почему же? – изумился Мишка.

– Эти конфеты приносят несчастье.

– Несчастье? Да что Вы! Не может быть!

– Сама испытала.

– В такие годы? И уже несчастье? От моих... от... от этих конфет?

– О да... Хотя ни разу их не пробовала. Не обязательно пробовать. Порча, лежащая на изготовителе, настолько велика, что, верите ли, достаточно принохаться или наступить на фантик...

– Порча? – всполошился Мишка.

– Именно! Ведь пресловутый гав с'Шишкой был в высшей мере испорченным псом!

Мишка вконец растерялся. Мало того, что эта собачонка не обратила внимания на сам факт кражи, свидетелем коей, несомненно, являлась, она ещё и открыла, нет, откупила ему такое... Такое, чего конфетный вице-король и помыслить о себе не мог.

Без лишних отлагательств Мишка сделал предложение. Она поспешно согласилась.

Глава III

СКОРАЯ ЖЕНИТЬБА

В Юрьев день под свист рака брачующиеся должны были промаршировать от избы Штакетников до другого конца улицы, ненадолго задерживаясь перед каждым, кто, по их мнению, больше остальных завидовал. Последняя добровольно чтимая традиция.

Мишка проснулся к полудню, продрогший и ужасно злой. Дождь, который, как оказалось, лил уже часа четыре, насквозь промочил его псовину. Экс-ресурсный мужчина (или ресурсный экс-мужчина) встал, отряхнулся, получив по носу собственным ухом, ощерился, весь ошетинился, натопорщился и возопил: «Ну что это за... утро!!!». И тут, прямо-таки в ответ на его пусть и подвергнутое немилосердной корректуре, пусть и риторическое, пусть и восклицание, по дороге, у обочины которой он изволил почивать, пролетел огромный золочёный свадебный кортеж. «Коли на улице распута, быть свадьбе беспутной!», мелькнуло в голове у Мишки. А где-то в недрах разума (ибо разум вследствие энной заслуженной травмы ещё в детстве отслоился у него от головы) мигнуло: «Ой! Так это же моя свадьба...»

Бедному собраться – только подпоясаться. Лапоты на ногах, ошмётки на задах – и Мишка был готов. Перед ним, однако, встал во весь свой рост и ещё поднялся на задние лапы один далеко немаловажный вопрос: куда идти-то? «Куда глаза глядят, авось и приду», – рассудил жених и поплёлся к омуту, который сегодня особенно, а в общем, как и всегда, наперекор своему названию, тишиной не отличался. Хотя это обстоятельство ничуть не мешало чертям водиться там в изобилии, порождать и приминивать новых. Наш незванный гость тому яркий пример.

Под лапами ещё не начинала разлагаться мораль, а Мишкин единственный, зато верный локатор уже уловил виртуозные балалаечные трели и небывалый полнозвучный свист, которые встречаются только в Тихом Омуте, и то лишь на свадьбах и похоронах. Кроме того, к ним примешивались ещё и



прихлопы с притопами, что вообще считалось чрезвычайной редкостью и могло происходить исключительно на свадьбе Штакетников.

Подойдя ближе, Мишка совершенно остолбенел. У избы, которой он прежде и не замечал на фоне вилл, стояла невеста. Она блистала типом. Её шипец выдавался вперед из-под прозрачной белоснежной фаты. Над ним сияли огромные искренние карие глаза. Гладкая бурматная вилая псовина спадала ей на плечи, плавно переходившие в нежные, ещё щенячьи, оголённые лапки. Но, несмотря на юность, её вздымающиеся, чуть ли не прорывающие свадебное платье грудки были уже столь упруги, а округлые гачи настолько пышны, что повывавший виды гав с Шишкой как стоял, так и сел. И это была ЕГО невеста! Его, аборигена Мишки!

Внезапный всплеск (ибо Мишка сел, по счастливой закономерности, в лужу) привлёк внимание Сеньориты Штакетник, и только сейчас она заметила своего жениха. А заметив, сама присела в ямочку. Странное чувство нахлынуло вдруг на неё. Сеньорите на миг показалось, что суженый чем-то похож на её недавнего кумира, конд– (итерского) идола гава Мишку с Шишкой. Сердчишко её затрепетало. Конд-идол между тем продолжал сидеть в луже, почёсывая загривок.

От второй внезапной мысли Сеньорита приопустилась ещё ниже. Ведь она даже не знает имени жениха!

– Как Вас зовут? – крикнула она ему.

– Не важно! – отозвался Мишка.

И правда, о таких мелочах можно было поговорить и позднее. Сейчас перед ним, расставив прелестные лапки, сидела она, его судьба, его любовь... его невеста... собачонка местного повата здешней волости...

– Ну, что расселись? Пора! – возгласила своим громовым рыком мамуленция Штакетник. Свистопляски, визг и хохот мигом притихли, а брачующиеся (или, как точь-в-точь минуту спустя постановили в далёкой Столице, – брачащиеся) медленно, дрожа и робея, поднялись.

Некоторое время все стояли в загробном молчании. И вот, сметая преграды судьбы, изгороди, случайных прохожих, раздался ни с чем не сравнимый, могучий, звонкий, бывающий лишь в Юрьев день свист рака.

Мишка протянул свою иссохшую, заскорузлую лапу, Сеньорита Штакетник подала свой прелестный мякиш, и они начали маршировать.

Но, маршируя, влюблённые забыли обо всём. Они видели только друг друга и вовсе не старались высмотреть каких-то там завистников, они слышали только друг друга и вовсе не стремились попадать в какой-то там ритм, они чувствовали только друг друга и вовсе не пытались придерживаться каких-то там примет. *Они даже не знали, что знали, что это было правильно.*

Любовь! За что ты нам дана? За какие такие достоинства? За какие такие проступки ты свалилась на наши головы? Или, если быть совершенно точной, на наши разумы, ведь у некоторых мозг отстоит от черепа. Ну а если быть предельно скрупулёзной, то в особых случаях – и на сердца... Ты ведь единственная незаслуженная вещь на свете! Непоследовательная, иррациональная, нелогичная... Не имеющая никакой морали – экстракт, редчайший в наши дни. Но я, если хотите, и взялась пересказывать вам сию эпопею только потому, что в ней содержится малая доля большого необъяснимого чуда.

Итак, брача... чующиеся были заняты исключительно друг другом, семейство Штакетник и прочие – исключительно собой, и никто не замечал, что с неба за чрезвычайно опасным тихоокеанским бандитом следил вертолёт ФСБ.

Вызвала ФСБ не кто иная, как не приглашённая на свадьбу местная сплетница и интриганка, а также душевная поверенная папаша Штакетника пластинчатозубая крыса Барракуда. Не стоит, однако, отчаиваться. Ей воздалось по делам её: массивный вертолёт приземлился прямо на соломенную крышу её особняка. Со всеми обрушивающимися отсюда последствиями. Спешу вас уверить, никто не пострадал. Барракуда, конечно же, отправилась на свадьбу и в этот момент усердно завидовала в толпе.

Мишка и Сеньорита Штакетник почти уже дошли до противоположного конца улицы, как дорогу им с гиканьем преградил наряд омовцев. И к растерянному жениху, хлопая, шёлкая, скрежеща, протянулось несметное множество лап, цевок, шупалец, клешней и даже погремешек. Свист рака резко прекратился, и от неожиданности и те, и другие некоторое время стояли в оцепенении.

Первым опомнился Мишка. Он оттолкнулся своими пружинистыми задними ножками от земли и нанёс ими же сокрушительный удар по прилоби одного омовца. Тому на выручку подоспел другой, но Мишкин глаз вовремя исполнил функцию боксёрской перчатки, вылетев из орбиты и снова в неё влетев. Падая, неудачливый помощник повалил весь наряд, к стати, весьма не нарядный. Завязалось грандиозное побоище, без которого не обходится ни одна истинно русская свадьба. Только вот основное отличие русской свадьбы от европейской: если на европейской всё заканчивается массовой оргией, то на русской – избирательной тюрьмой. Притом избирают отнюдь не тех, кто был зачинщиком. Вот и здесь: хоть зачинщиками были омовцы, в тюрьму пошёл Мишка.

От сумы да от тюрьмы не отрекайся. Но знал неунывающий Мишка: нет худа без добра. И отправился он за решётку правды искать.

Глава IV ВИДИМЫЙ РОК

По случаю отмены свадьбы семейство Штакетник, все долго и коротко жданные гости, а также неожиданные вообще, устроили... пышный банкет, где главным образом привечали заправилу операцией по захвату Мишки, полковника ФСБ Хризостола Бельведерского.

Нужно сказать, при выполнении задания его сиятельство... чуть не померкло. Как раз в тот момент, когда Бельведерский, стоя вполоборота, уже поднимал над жевательным гребнем преступника всю свою репутацию, Мишка, тоже вывернувшись боком, готовился нанести аналогичный удар ему. А поскольку репутацию, вследствие невыдающихся физических способностей, конфетному вице-королю было уже не поднять, он решил воспользоваться лаптем, заранее стащив его с ноги.

Синица в руках, случается, получше, чем журавль в небе. Как подскочит по старой памяти туземец, да как издаст пронзительный залив, да как отмочалит, потом настрочит, потом отваяет, а под конец и отомнёт упругим лаптем бока Бельведерскому! Соблюдая притом чёткую последовательность. И русские традиции. Хризостол уронил репутацию и кинулся бежать. А гав с'Шишкой, ощутив на вытянувшихся, трепещущих сосочках языка вкус победы, настолько им упился, что застыл, подставил морду солнышку и в блаженном забытьи, всегда находящем на него некстати, осклабился. Тут-то его и схватили.

Бельведерский же, и без того получавший стипендию за врождённый моральный ущерб, заработал доплату за приобретённый физический. Мишка отбил ему... охоту работать. Да и зачем оно, с двумя стипендиями...

А сумрачный дождливый день продолжался. И когда на банкете Сеньорита Штакетник с ненавистью смотрела на жующих (ибо единственным продуктом – что считалось настоящим шиком – были конфеты «Мишка с'Шишкой»), под громоздким столом её русачьей лапки коснулся чей-то костлявый мосёл. Сеньорита подняла невинные глазки и увидела над собой обрюзгшую щетинистую физиономию Бельведерского. Взор его горел тусклым, напряжённым, пожирающим огнём. Зловонное дыхание, с хрипом вырываясь из-под обвисших слюнявых брылей, то вздувало их, то медленно возвращало в прежнее положение. Седоватая шерсть, несмотря на общий неухоженный вид, отличалась блёсткостью. Всё в этом дремучем, однако дородном облике показывало, что прежде обладатель его был в борзых ладах.

На протяжении банкета собачонка и пёс обменивались томными взглядами, пока этого не подметила звероватая подруга жизни Бельведерского, следовавшая за ним повсюду. Под предлогом срочного отбытия в Столицу она выволокла мужа из-за стола, втолкнула в машину и увезла вертихвоста, который в самый последний момент успел судорожно подмигнуть Сеньорите Штакетник.

Глава V НЕ БОЙСЯ ЗАКОНА

Страсть йоркширской кокетки к полковнику ФСБ длилась на протяжении суток. Бельведерский же воспылал к Сеньорите такой водостойкой любовью, что потушить её не представлялось возможным. Не помогали даже слёзы жены, в свою очередь, огнеупорные. Под конец бездельная супруга даже перестала ревновать, а серьёзно задумалась о психическом здоровье Хризостола.

Между тем, карамельно-повидловый магнат, конд-идол XX века, изготовитель вкуснейшей конфеты тысячелетия гав Мишка с'Шишкой был брошен в острог и приговорён к повешению. Вне всяких сомнений, заслуженно.

Самым страшным, однако, по убеждению *criminel de droit commun*³, являлось то, что его совершенно не кормили. Ведь и пёс из еды живёт. Каков ни есть, а хочет есть. Кольми паче, сокамерника его, матёрого кота Ваську, потчевали отменно: к завтраку – сайки, что свайки, к обеду – калачи, что рогачи, к ужину – пирог арзамасский с рыбой астраханской. В мыслях о дискриминации и, как следствие, о побеге запамätывал Мишка: сытую скотину на мясо бьют.

Немудрено забыть, когда за сутки получил одно шершавое яйцо... Да и то зелёного цвета. Заглотив его, Мишка услышал в чащобах желудка подозрительный треск, сопровождавшийся не менее подозрительным писком. До такой степени аппетит разыграться не мог... И вывод был весьма неутешительный.

Что поделать... Никогда бы гав с'Шишкой не обрёл на голодную смерть едва проклонувшееся, не узнавшее вкуса его конфет живое существо. А если это существо засело в нём самом... Пищевой инстинкт уступил место материнскому. И преданный родитель только укрепился в мысли совершить побег.

Склонить соседа не составило труда. Он-то по поводу своих разносолов не обольщался.

Цельный день Мишка с Васькой грызли решётку, объясняя надзирателям, что зубы режутся. И за это время чрезвычайно сблизились.

– Ты кто? – спросил Васька.

– Не важно, – пробурчал Мишка, – А ты?

– Какая разница, – ответил Васька.



Точно к смене караула прутья были сточены. Вместе с Васькиными зубами и Мишкиными дёснами. Ядовитый лунный свет капал через крохотное окошко и диффундировал с ночной темнотой. В каждой щели разрастались петрарии, стереокаулоны, кубковые кладонии, а также линдбергии короткокрылые. На каждой петрарии, стереокаулоне, кубковой кладонии, а также линдбергии короткокрылой огромный паук (несомненно, вида *Heteropoda davidbowie*⁴) приканчивал очередную жертву. Облака испарений вяло и грузно окутывали эту идиллическую конфигурацию... И только раскатыстый храп заключённых нарушал тишину.

Выбравшись из камеры, наши беглецы, к несчастью, а возможно и к счастью, заблудились в узких тёмных коридорах. Мишка смирился с тем, что в его животе кто-то поселился и по-хозяйски разгуливает, Васька – с тем, что не видать ему больше такого приволья, и с минуты на минуту в брюхе тоже кто-то на дрожках заездит. И вот, когда несчастные потеряли всякую надежду на спасение, они увидели полоску света, выбивавшуюся из-под двери.

С надеждой устремившись к долгожданному выходу, друзья ворвались в... кабинет комиссара полиции. Остолбеневший Мишка признал в нём подлеца Лягуха. Тот, однако, ничуть не обрадовался появлению босса. Вернее, вовсе не задумался о том, что некий бритый выборзок может оказаться его, Лягуха, бывшим головой.

«Что законы, коли судьи знакомы!» – только понял это Мишка, как Лягух, задыхаясь, вскочил. Только Лягух, задыхаясь, вскочил, как Мишка завизжал: «Приятель!» Только Мишка завизжал «Приятель!», как Лягух раззявил пасть, чтобы позвать охрану. Только Лягух раззявил пасть, чтобы позвать охрану, как у Мишки непроизвольно открылся рот и оттуда прямо в морду Лягуху выскочил цыплёнок! И не простой, а породы Араукан, без хвоста, но с пышными гусарскими усами.

Лягух потерял сознание, а цыплёнок, заскользив по его проплешине, вылетел в окно. «Дитя моё!» – воскликнул Мишка и прыгнул вслед за ним. То же сделал Васька. Оба угодили в мусорный бак, один из многочисленных баков, которые, выстроившись под окном комиссара, ласкали его изысканный нюх. Цыплёнок и след простыл, а наши беглецы, сами для себя неожиданно очутились на воле!..

Глава VI БОЙСЯ ЗАКОННИКА

А что, если... Да. Думаю, откладывать не нужно. Перенесёмся в Мегаполис, где раздувается от осознания собственной значимости гадостный котиче Среждорлоп. Он решил нажиться на бессмертном имени Мишки, прибрав ко всем четырём лапам и, для верности, хвосту осиротевшую фабрику.

Среждорлоп развернул ещё большую коррупцию, чем прежде Лягух, но благодаря своему авторитету и клубку, даже кому связей, мог быть совершенно спокоен. Его могущество росло с каждым днём, богатство множилась. А поскольку лучшим уголком Земли бесспорно считался Тихий Омут, новый верховод счёл должным приобрести там несколько гектаров кочек.

Среждорлоп распорядился подготовить свой личный Boeing-787 Dreamliner для трансперелёта в чудеснейшее место мира, опасаясь доверять посредникам выбор делянки.

Тем временем полковнику ФСБ Хризостолу Бельведерскому поступило срочное сообщение, что из тюрьмы бежали двое заключённых – карманник Васька и безымянный компрачикос под номером const.

В одних кальсонах, не моясь и не бреясь, и не расталкивая жену, Бельведерский вылетел на улицу, глотнул прохладного ночного воздуха, поперхнулся и сообразил: он ведь отправляется в блаженный Тихий Омут, к Сеньорите Штакетник! «Любимая!» – взрвёл мастиф, и от этого ужасного зарёва, единственного, к слову, средства, пробудилась мадам Бельведерская. Но, выскочив из дома, успела заметить лишь оттянутый зад благоверного, мелькнувший на сидении чужой, как ей показалось, машины. Решив, что Хризостол помешался окончательно, дражайшая половина вызвала ему вдогонку передвижной ветлазарет...

Она была права на 1,5. Воистину, вместо своего тюннингированного Godzilla Gorilla Бельведерский уселся в скромный Shilla Milla соседа-труженика-на-благо-родины. А на таком land rover(-e) съехать можно только с глузду.

Когда полковник продвигался по трассе Столица – Тихий Омут, одинокие фонари гасли, подлю подмигивая. Похоже, флиртовали с фарами randy lover(-a)⁵, которые проделывали то же, пока не потухли навек. Туман был такой устрашающей плотности, что в толщах его за машиной долгое время держалась прореха. Дорога же лежала через горы, невесть откуда взвисяшися на древней антеклизе, так что наш враг систематически съезжал... для начала только в кювет.

Круты горы, да не миновать. И продвигался Бельведерский как по яйца. Нужный путь бог правил: где дорога – там и путь. Но всё же зарьял Хризостолушка и с истинного чуть не сбился... Хоть ещё учеником запомнил, что Тихий Омут у всех святых на Кулижках находится, в Тверской ямской слободе, не доходя Таганки, на Ваганке, в Малых Лужниках на Трёх горах. И адрес ненаглядной затвердил: против неба на земле, в непокрытой улице.

Даже в туман, подобный тому, не стояла большая дорога. Вот и Мишка с Васькой улелётывали во все экстенсоры и флексоры. Да так, что резвы лапы подлюмились.

Из неволи удрали, но за неволю хода, когда ноги болят. Засипел Василий, захрипел и произрёл: «По способу пешего хождения не доберёмся». Следующие полчаса, корчась в коммуникативных му-

ках, излагал он товарищу план. Следующие за этими полчаса осознавал гав с'Шишкой: в игре да попуте собак узнают. А умный кореш – половина побега. Васька предложил совершить нападение на первого же водителя с целью отнятия транспорта. Дорожному, как говорится, бог простит. На то, чтобы вне философского контекста рассмотреть проект, у Мишки ушло ещё полчаса. Наконец они решились.

И повезло безоговорочно. Машина не заставила себя ждать. Издав душераздирающий вопль, Мишка бросился приостанавливать колёса, но сам угодил под одно. Васька с не менее ужасным криком кинулся бить стёкла и получил по морде струёй моющего средства, а по заправку – дворником. Увидев прямо напротив себя чудовищное сопло Васьки с двумя выступающими вперёд нижними клыками, сидевший за рулём лишился чувств.

С большим трудом Васька перетащил его из машины в багажник, постоял минут пять, отдохнул, наслаждался стрёкотом кузнечиков, потом с невероятными усилиями высвободил друга, которому злосчастное колесо впечаталось... в память. И уже минуту спустя сообщники мчали по направлению к Тихому Омуту: карманник – за рулём, компрачикос, по старой памяти, активизировавшейся после травмы, на заднем сидении. Только вместо личного шофёра на сей раз оказался драный кот, а вместо любимого чёрного Rolls-Royce модели 50-х годов – Shilla модели Milla.

Когда Хризостол очнулся, то понял, что находится в багажнике, а во рту у него торчит кляп. Отплевавшись, он обнаружил, что это целый байт незамутнённой памяти, составлявший, к слову, ровно половину имевшейся у Мишки. Но за жёсткий диск последнего беспокоиться не стоит. В отличие от ПК с Мишкиного винчестера ничего не исчезало, а в отличие от живых организмов нервные клетки его регенерировались.

Бельведерский чрезвычайно разозлился. Он зарычал утробным, нутряным башуром, изверг из пальца крочковатый коготь и, разрезав пути, начал драть обшивку.

Полусонный Мишка вдруг почувствовал в районе подхвостья какое-то непонятное прикосновение. Хризостол подцепил его за кончик несуществующего хвоста. Несчастный выделил нотку визга, такую горькую и невесомую, что, взвизвись, она достигла Васькиного уха и села на него. Когда тот обернулся, то увидел только зияющую чёрную дыру в сиденье.

А Бельведерский заткнул Мишке пасть несменным байтом, связал его, убедился, что накрепко, и укусил.

Обернувшись вторично, Васенька-котик успел заметить слащавую физиономию Хризостола и в тот же миг оказался лежащим в багажнике рядом с Мишкой.

Глава VII ГДЕ РАДОСТЬ, ТУТ И ГОРЕ

Гордый собой, рулит Бельведерский, раскис, по бокам развис. Двух незапланированных преступников поймал, двух ещё предстоит. Аж ость от удовольствия топорщится.

Вдруг в зеркало заднего вида наш герой заметил, что его, паратога из паратых, брудастого из брудастых, обгоняют! Который раз прибегнув к силе своей весьма гипотетичной репутации, Хризостол нажал на педаль. И поступил, как всегда, опрометчиво. Шибко ехать – не скоро доехать.

Задев машину, по шоссе на шасси пронёсся самолёт. Огромный белокрылый Боинг! Но чудом техники джигит уже не наслаждался. Остатки Shilla Milla (по большей части, это был он сам) покатались по дороге и ударились о бордюр (по большей части, головой Хризостола).

Мишка с Васькой, случайно поддетые хвостом Боинга, поехали дальше.

Травмированный Бельведерский впал в буйное помешательство. Но даже тогда последовал долгу.

Прилизанный лунным светом, близ обочины пасся конь. Оседлав его, полковник пустился вслед воздушному лайнеру. Хоть охлябь, да верхом.

Больные же извилины почали завиваться в мудрости народные, и не лишь бы какие, а касательно теперешнего положения владельца, с креном в иппологию:

– «Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей полымя валит!»

– «Без коня полковник кругом сирота».

– «Лошадь упряма, а везёт прямо», и т.д. и т.п.

Слушал-слушал это конь, да с тоски поседел. Зато стал белым!

Насколько убьешь, настолько и уедешь, да лошадь с ходои (другая Бельведерскому попасться не могла) в пути не товарищ. Каков, однако, всадник, такова и лошадь.

А Среждорлоп (самолёт, который был вынужден сесть на шоссе ввиду несварения двигателей, наотрез отказавшихся сжигать конфеты «Мишка с'Шишкой», принадлежал, безусловно, ему) почти подъехал к Тихому Омуту. Но врождённая безмерность опять разыграла в самозванце. Дабы показать местному бомонду шик, Среждорлоп задумал катапультироваться.

В это время гав Штакетник по делам неотлучным, первоочерёдным, утренним вылез на подворье. И сразу же рухнул в компостную яму. С неба на него сверзилась неподъёмная туша, обросшая рыжими волосами. Открыв глаза, потерпевший увидел над собой ужаснейшую физию с огромным раздутым синим носом, в коем красовалось медное кольцо.

Стало душно-душно, и Штакетник отстегнулся, успев подумать, что это конец.



Среждорлоп оправился мгновенно и решил нанести визит вежливости будущим соседям. Но едва поставил первую конечность на крыльцо, как плюхнулся в чан, где по утрам отец семейства освежал пересыхающие за ночь мозги.

Незванец возбудил цунами, выше морского, шире океанического, и на гребне волны влетел в одрину, где зубами к стенке спала мадам Штакетник. Мамаша дёрнулась, приподняла за кончики ресниц эпические вежды, опустила, вновь приподняла и, взыв, лишилась чувств. От крика пробудилась наша прелесть. Но ничуть не оробела: вскочив со своего подмоченного стога, схватила последний предмет интерьера, быта и защиты, по счастью, бывший у неё, – портрет усопшего магната, ворвалась в родительскую спальню и со всех ньютонов ударила по толстому загривку Среждорлопа. Тот закачался, зашатался, завалился, и новое цунами вынесло его из дома.

Вернёмся же, однако, к Бельведерскому. Не стоит оставлять его надолго. А то чего доброго... Как, уже?..

На худой лошадке в сторону... Заплутал бедняга, насильно сброшенный своим лихим конём. Да и не стремился никуда. Ему бы только рассуждать о конях дарёных, бережёных, старых, сытых да лихих. Запомывал о погоне, о преступниках, бежавших из узилища... Ижно позабыл о Сеньорите! И несказанно обрадовался, когда ему пригородил дорожку знаменательный жёлтый фургон.

Оттуда с гиканьем (Ничего ли это не напомнило Хризостолу? Трудно сказать...) выпрыгнул наряд ожесточённых санитаров. И к несчастному, хлопая, шёлкая, скрежеща, протянулось несметное множество лап, цевок, шупалец, клешней и даже погремушек. Да, я ведь, если помните, и взялась перескакивать вам сию эпопею только потому, что в ней содержится мораль.

Но с Бельведерским особый случай. Он ведь по долгу службы сорвал Мишкину свадьбу. И сейчас попал в лечебницу не в наказание, а на усиленный курс терапии.

К тому же, особое усердие, всегда отличавшее полковника, было повреждено при побойше. Охота работать отпала, осталась привычка. Теперь, с тремя стипендиями: за врождённый моральный ущерб, приобретённый физический и в скором будущем излеченный ментальный – можно было не задумываясь уходить в отставку. Что Бельведерский и сделал. Пусть место достаётся молодому, свежемундо недопёску. Опыт – никого не минующий вирус. Нет от него панацеи. Любой приобретёт. Лишь бы не печальный.

А он, Бельведерский, после выписки подается в иную сферу, куда более трудную, нежели госбезопасность. Имя ей – филология. Ведь за время, проведённое в передвижном, а потом и в стационарном ветлазарете, Хризостол обогатил фразеологию тысячами неведомых пословиц и поговорок. Жаль, что лишь о лошадях. Без него эти бесценные искорки ни за что бы снова не зажглись, так как исчезли задолго до возникновения письменности.

Стоит упомянуть, что крупнейший филолог наших дней, автор страдальников и трудиллий для учащих всех возрастов, полов и соцменьшинств Хризостол Бельведерский, для меня же просто дядя Хрезя, (Крезя и Хрениа тоже допускается) редактировал повесть, которую Вы, мой дорогой читатель, держите сейчас в руках. И, просто необходимо упомянуть, с энтузиазмом!

Глава VIII ГДЕ ГОРЕ, ТАМ И РАДОСТЬ

Когда Штакетники чуть-чуть пришли в себя, и папаша побежал обсуждать происшедшее, а мамаша засела анализировать, Сеньорита вспомнила: цунами вместе с гостем выплеснуло и портрет конд-идола! И впервые по-настоящему поняла, как он ей дорог. Не портрет, а сам конд-идол, Мишка!

Никогда ещё не стучало, не мологило, не барабанило, не шлёпало так сердце, не проступали румяна, не сбивалось дыхание. И где обида? Где холод? Исчезли... Она ожила! Не тратя ни секунды, Сеньорита бросилась на поиски парсуны.

По её глубокому убеждению, вся вода стекала в реку, все реки впадали в моря, а моря, в свою очередь, в океаны. Ведь как же иначе? В противном случае, не было бы ни рек, ни морей, ни океанов... И собачонка спустилась на берег.

Дрожа и краснея, бежала вдоль кромки воды Сеньорита, а там, где река делала поворот и водная гладь стлалась до самого горизонта, словно её отражение, дрожа и краснея, бежало солнышко.

А может, она была отражением? Всего лишь маленьким рыженьким лучиком, скользящим по планете? Должен же хоть один лучик, хоть самый маленький, оставаться на Земле и ночью, тихонько светить, охранять её сон? Если так, то чьё-то стёклышко, и мы даже знаем, чьё, поймало этот лучик, направило на бумагу, и она загорелась. Этими строками.

И вот прямо напротив себя, Сеньорита заметила портрет. Но странное дело, он был совершенно не такой! Не такой, как у неё и такой, как наяву. Вдобавок, на переднем плане немножко заслоняя Мишку, белела большая, красивая морда коня. Сеньорита попробовала взять портрет, лежащий на воде у самого берега, но не получилось. Лапка ушла под воду. И тогда Сеньорита Штакетник обернулась.

Прямо перед ней на белом (никто ведь не узнает, что седом) коне восседал карамельно-повидловый магнат, конд-идол XX века, изготовитель вкуснейшей конфеты тысячелетия гав Мишка с'Шшишкой!

Он соскочил на землю. Она попятилась и... присела. В тёплую водичку. Странное чувство нахлынуло вдруг на неё. Сеньорите на миг показалось, что кумир чем-то похож на её недавнего суженого, местного бандита без роду и племени. Мишка тоже сел. Первый раз не в лужу, а в золотой песок.

– Это я! – тявкнул гав с'Шишкой. И правда, подобный никому не ясный факт нужно было толковать немедленно! Ведь перед ним, расставив прелестные лапки, сидела она, его судьба, его любовь... его невеста... с неизменным алым бантиком между нежных, почти прозрачных, рыженьких ушей.

– Это ты? – раздался из тины чудовищный хрип. Оба вскочили и посмотрели туда, откуда доносился голос. На их глазах со дна поднялось облепленное водорослями, улитками и жуками огромное существо. Отряхнулось, фыркнуло, и наши герои узнали Среждорлопа.

– Но как же? Ка-а-ак? – возопил самозванец. Не факт оживления Мишки поразил его, но внезапная мысль о том, что, похоже, придётся распрощаться с фабрикой конфет. На вопль начали сбегаться тихоомутцы.

Что же они увидели? На берегу речушки местного повета здешней волости стояли две эпохальные личности: Среждорлоп и Мишка с'Шишкой! Притом последний сжимал в своих объятиях Сеньориту Шгакетник, их Сеньориту, дочь бухунда и ротвейлерши, декоративное чадо служебных собак.

Мишку признали все. А Среждорлоп, как лицо, ранее знакомое с воскресшим, документально засвидетельствовал свои показания. И Мишка был по новой утверждён во всех правах. Дом его и нефтяные холдинги торжественно отстроили, и над одним поставили главенствовать Ваську. Фабрику модернизировали, что являлось чрезвычайной необходимостью ввиду троекратного увеличения производства. Дело в том, что теперь наряду с привычной «Мишка с'Шишкой» выходят ещё две конфеты: «Леди с'Шишкой» и «Леди с Мишкой».

Не было бы счастья, да несчастье помогло!

P.S. С недавних пор в Тихом Омуте стали замечать бродячего цыплёнка. И не простого, а породы Араукан. Об этом, однако, в следующей повести.

ПослеСтория

Следовало бы, конечно, поразмышлять немного, что-то припомнить, что-то додумать, а уже потом кончать повествование, но, я, как, в общем, и всегда, уступаю отдохновению, пока оно на выдохе, и старательно зажимаю ему нос, дабы подольше не вдыхало. Отсюда понятно, что сейчас, в 34 минуты восьмого, или без 26 минут восемь, или в четыре минуты второй половины восьмого 14-ого (жаль, что не 15-ого) марта 2010 года я завершаю свой в высшей степени необдуманый, крайне бессвязный и совсем незапланированный рассказ.

Но позволю себе последнюю сентенцию, которую нечаянно высказал конд-идол и сам настолько полюбил, что и меня убедил в её непогрешимости. В чём не уверишься, если по несколько раз на дню, случается, слышишь одно и то же! Поддалась, ничего не попишешь. И заявляю: «Я и держусь-то в этой жизни только потому, что люблю над собой посмеяться».

Сеньорита Шгакетник

¹ Гав – повсеместное обращение к самцу.

² Scirocco – Юго-восточный тёплый и влажный ветер, дует со Средиземного моря.

³ Criminel de droit commun (*фр.*) – уголовный преступник

⁴ Heteropoda davidbowie – немецкий ученый Петер Ягер открыл новый редкий вид пауков и решил назвать его в честь знаменитого британского музыканта Дэвида Боуи.

⁵ Игра слов. «Randy lover», полученное из «land rover», в переводе означает «похотливый любовник».

АЛЕКСЕЙ ГЕДЕОНОВ

ЛУКОВОЕ ГОРЕ

рассказ

После перехода на монодиету Черешина стали мучить кошмары.

Особенно цепким оказался один. В нём он никак не мог открыть дверь. Железную, облупленную дверь с полустёртой надписью: «...това...». И ручку дёргал, и плечом толкал, и ногой бил – никак, и всё тут. А за дверью кто-то кричал, отчаянно так и хрипло, голос знакомый, а вспомнить чей – не получалось. Ну, сон – он на то и сон, ничего определённого, одни сомнения. Так и сегодня – под конец проклятая дверь словно ожила: больно ударила Черешина в плечо и мстительно саданула по ноге. Черешин вскрикнул и проснулся. Рядом металась, как всегда рыдая во сне, жена Диана.

– Ты что это, – пробормотал ей Черешин, – как змея просто; то бодаешься, то орёшь, то ногами дрыгаешь? Дай заснуть, слушай!

– Всё-всё. Спим, – сонно прошептала Диана, но потом не выдержала. – Господи, прямо не пошевелись ему! Зачем разбудил? Тоже мне, нервный. Пиво на ночь пить не надо.

– Извини, – сказал Черешин. – Давай, спокойной ночи.

– Я теперь не усну! – прошипела Диана. – Измучилась вся. От этого лука твоего, диетного, и во сне плачу. Меня на работе Чиполиной дразнят.

– Ты, главное, лежи тихо.

Он повернулся на спину. На потолке была полоска света от недозащитенного окна. Раньше, до диеты, когда не спалось, он шёл на кухню, к холодильнику. А сейчас есть не хотелось, и пить не хотелось, и секса не хотелось, вообще ничего не хотелось. Всё разладилось как-то.

– Нет мотиваций, – подумал Черешин и почти испугался.

Он скосил глаза влево. Диана лежала на спине, глядя в потолок. Заметил, что она покосилась на него. Захотел её погладить, хотя бы поверх одеяла. Сразу же и расхотел. Громко вздохнул.

– Я должна тебе сказать одну вещь. Наверное, важную, – начала она.

– Давай, – ответил он.

– Я тебе изменила. Два раза.

– Молодец, – сказал он. – Ну, чего молчишь?

Она оперлась на локоть и принялась рассказывать. Долго, мстительно и с подробностями. Бывший сотрудник. Даже назвала имя и фамилию: Черешин его знал. Встретились случайно, в супермаркете, вино выбирали – и всё. *Она просто не смогла сказать «нет»*. Она всегда именно об этом мечтала. Чтобы не было слов. Чтобы был мужчина, который неразговорчивый. Не болтает о себе. Всегда. В жизни, в постели, везде.

От этих рассказов у Черешина даже появилось что-то вроде желания, но он внутренне хмыкнул: изврат, стопудово. Закинул руки за голову.

– Понятно, – он перевёл дыхание. – Значит так? Ну, ладно. Хорошо. Тогда откровенность за откровенность. Я тоже.

– Кто она? – быстро спросила Диана и всхлипнула.

Черешин ответил: бывшая их близкого друга. Ходила к ним в дом с этим другом, пока не развелась. Что он в ней нашёл? Если совсем честно, то смешно сказать – фигуру. Баба как баба, не лучше других. Но во всём теле, понимаешь ты, такие особые *линии*. Про *линии* он читал, забыл где. Или рассказывали. Но неважно. Главное, точно было про: особые *линии*. Такие, что *в груди холодеет*.

– Докажи, – сказала Диана.

– Да нефиг делать, – зевнул Черешин, беря с тумбочки мобильник. – Позвони ей, прямо сейчас, она ложится поздно, очень.

– Всё-таки ты сволочь, – всхлипнула Диана, – сволочь редкостная, – и она заплакала.

– Ахаха! – Черешин всплеснул руками. – Я рыдаю. А ты кто?

– Я же всё выдумала!

Черешин помолчал, а потом сказал:

– Ну и я всё выдумал. Сочинил. Придумал. Только что.

Диана долго молчала, а потом тихо и отдельно сказала:

– Я тебе не верю.



– А я тебе! – выкрикнул Черешин, встал и голый пошёл на кухню. Руки дрожали от злости.

Выпил коньяку. Включил чайник. Достал из холодильника сыр, ветчину, сделал бутерброд. Совсем нарушил расписание диеты.

Потом на кухню пришла Диана, голая, заплаканная и растрёпанная. И нарушила расписание двумя бутербродами с колбасой.

Они попили остывшего чаю и пошли спать.

Черешины жили на пятом этаже. Балкон их выходил на площадь, а такие балконы стеклить было запрещено, и захламлять тоже. Черешин твёрдо решил – когда-нибудь поставить на балконе плетёную мебель, чтобы можно было выйти покурить и попить кофе с комфортом. Особенно по выходным, с апреля по октябрь. Как потеплеет.

До сих пор плетёная мебель как-то не попалась. Поэтому Черешин курил на балконе просто так. И кофе пили стоя. Пока что.

Снизу к балкону тянулись деревья: тополя и какие-то другие, на которые у Дианы аллергии не было. Они доставали до пятого этажа, так что квартира от них была темноватая. Зато на балконе было как в саду, и это центр города. Черешину нравилось.

Рядом, слева, за хлипкой перегородкой – рукой дотянуться можно – был другой балкон. Совсем ободранный и пустой, даже без плитки на полу.

Однажды на нём появилась девушка. Был апрель, последние числа, тепло – она была в курточке и брюках. Она выгашила сигареты. Черешин протянул ей зажигалку. Они молча покурили, и каждый скрылся в своей балконной двери.

Черешину стало интересно, кто она такая. Он никогда не встречал её в лифте и во дворе тоже – этот балкон был от квартиры из другого подезда. Тем более, что она была не такая уж, прямо скажем, яркая. Похожа, правда, на какую-то актрису иностранную.

Она появилась через три дня. Черешин как раз нарушил диету,пил кофе с сахаром, потому что было субботнее утро.

– Чашечку кофе? – сказал он.

– Не откажусь, – сказала она.

– Тогда подождите, – и он пошел на кухню.

В начале июня вечером они начали целоваться, перегнувшись через перила. У Черешина подрагивали коленки и слегка щекотало внутри, видимо, перила давили на диафрагму.

Они так целовались месяца два, наверное. Примерно раз в неделю.

Наконец она шепнула:

– Лезь ко мне.

Черешин промолчал.

– Тогда я к тебе, – сказала она и стала закидывать ногу на решётку.

– Упадёшь, разобьёшься! – замахал руками Черешин. – Иди ко мне, у меня квартира сто пять. Или я к тебе, у тебя какая?

Она отпрянула и вернулась к себе. Черешин побежал стелить постель. Зажёт свечки. Включил музыку. Но она не пришла. А через два дня снова вышла на балкон.

Ещё через месяц она спросила:

– Ты *действительно* боишься?

– А если упадёшь, – сказал Черешин. – Зачем тебе всё это?

– Ну и пусть, – сказала она. – Я буду с тобой или умру. Без тебя нет смысла жить.

– Я такой любви не заслужил, что ты! – отмахнулся Черешин.

Но она уже лезла через хлипкую перегородку. Одна нога на её балконе – вторая на его, руку протянула прямо к черешинскому лицу, волосы развеивает ветер, вылигая актриса французская.

– Не надо! – крикнул Черешин и оттолкнул её руку.

Она упала в тополя и исчезла среди ветвей, как дождь.

Черешин не понял, куда она делась. Но ясно было, что не разбилась. Ни визга, ни толпы, ни «Скорой». Он почти успокоился, выпил пустырника, покурил, выпил коньяка. Руки дрожали и сердце колотилось.

Прошло два дня. Потом ещё неделя. Наступил октябрь. Потом Черешин спустился вниз, вошёл в соседний подъезд, поднялся на пятый этаж, чтобы найти её квартиру.

Всё было не так, как у них в подъезде. Черешин обнаружил на пятом этаже длинный коридор. В конце его красовалась облупленная железная дверь с табличкой: «Шитовая».

Черешин заплакал с досады и ударил по двери кулаком. Та вздрогнула, загудела, сыпанула ржавой пылью и открылась со скрипом. За дверью оказался балкон – пустой, и скучный. Голые тополя шуршали ветками.

Тогда Черешин решил вернуться к себе домой по балкону, иначе говоря, перелезть – закинул ногу, вцепился одной рукой в перила, другой в перегородку – перекинул вторую ногу...

По плечу его постучали, лёгонько так, как дождь. Он не обернулся.

– Не заслужил, – подумал.



Скрипнула дверь. На балкон черешинской квартиры вышла растрёпанная Диана с кофе и сигаретой. Завидя висящего над тополями Черешина, икнула и выронила: сначала чашку, потом сигарету. Чашка не разбилась. Кофе растёкся по светлым плиткам бурым дымящимся пятном.

– Идиот, – сказала Диана тихо и раздельно, – Тарзан хренов. Давай руку, бездельник. Из агентства звонили. Там актриса какая-то приехала... не наша, ищет встречи. Обыскались тебя, в общем.

НЕМНОГО НЕЧИСТИ

рассказ

– Шерри-бренди, ангел мой.

Высоцкая всегда говорила «ангел». Зимину это доводило до безумия.

Особенно после «Ты можешь и лучше».

Высоцкая всегда хлопала Зимину по плечу, так свысока, и цедила: «Ты можешь и лучше. Шерри-бренди, ангел мой. Это типичная лажа».

«Сама ты лажа типичная, змея, корова тупая!» – выкрикивала в ярости Зимина, мысленно. Вслух она решалась сказать лишь:

– Верк, ну ты б хоть слова меняла, что ли.

– Ты, Мари, – назидательно произносила Высоцкая, – много о словах не знаешь, а всё оттого, что не интересуешься литературой и не умеешь даже фразу построить.

– Ну и, – отвечала Зимина, – толку-то от фраз? Заговор прочитала по тетрадке. Дымом знак начертила, куколку иглой испортила, дождю выпать не дала – делов-то. Литература, ё-маё.

– Ну, ты и курица, – говорила Высоцкая.

Осень случилась долгожданная. Летом они переборзили с присухами, слишком часто крали дождя, в результате на область сошли: засуха, пожары и палочка кишечная.

В начале октября Высоцкая неохотно признала, что погорячилась, «погналась за металлом».

– Ну, вот видишь, Верк, – привычно затянула Зимина, – говорено было – полегче... А ты? Три присухи в день. Порчи чёрной немеряно. Вот леса и погорели. Травы все перепалило.

– А ты почитай над травами, – назидательно изрекала Высоцкая. – Глядишь, и дождик образуется. Колокольчик не забудь.

Зимина послушно читала и звенела: бузина пёрла во всю и зацвела в сентябре, польнь от заклинаний пропала совершенно. Дождь не случился.

– Могла бы и лучше, – высказалась Высоцкая. Зимина мысленно послала её на север.

– Вчера читала Розенкройца, – продолжила Высоцкая, – кое-что обдумала.

– А я зелье закрыла, – пискнула Зимина, – семь банок.

Высоцкая глянула на Зимину косо и произнесла противным голосом:

– Надо нам, Мари, расстаться. Ты закисло тут, не растёшь как ведьма, не развиваешься. Переросла я тебя. В Розенкройце написано: скоро явятся две сильных, по всему – я услышана, триады дождалась. Ты на руководстве – двоих вырастишь, а там – как знаешь. А мне, наконец-то, позволение рвануть отсюда, освоить горизонты. Так что, расстаёмся. Шерри-бренди, ангел мой.

Зимина с Высоцкой были неразлучны с третьего класса. С тех пор, как напустили на классуху такой морок, что бедная тётка из дому боялась выйти – мерещились летучие мыши, жабы и просто гадость всякая.

В шестом классе Высоцкая приподнялась, наложила на школьные двери проклятие: первого сентября оба входа наглухо заросли аспарагусом – так что ни серпом его, ни дихлофосом. До самых холодов.

А уж как в техникумах отучились: Зимина в кулинарном, Высоцкая на библиотекаря, так настоящими ведьмами и сделались. Клиенты повалили, пошёл «презренный металл».

Тут-то Высоцкая и заскучала, книжки начала читать ветхие, перекрасилась в блондинку, стала носить браслеты – по двадцать штук сразу. И взяла привычку своё «шерри-бренди» вставлять по делу и без. Всю работу грязную свалила на Зимину, а сама занялась менеджментом. «Ходить на встречи и осваивать горизонты».

Так и повелось – Высоцкая командовала Зиминной, Зимина крутила зелья.

Колдовалось исправно. Клиенты держались уважительно – входя, снимали обувь, под скатёрку всегда купюры совали, бывало, евры даже. Живи и радуйся, казалось бы, так нет: «расстаёмся», и вот это обидное: «переросла».

Октябрь тем временем шёл к концу.

Высоцкая методично уничтожала все следы своего пребывания в городе, готовилась «освоить горизонты», сверялась с Розенкройцем – ждала «двух сильных».

В тот день Высоцкая явилась к трём, вся в белом.

– Время пришло, будем прощаться. Идём на Гробник.

И крепко взяла Зимину за руку.

С детских лет Зимина ненавидела вот эти её перемещения.

– Верк, – хныкала Зимина, – не по-человечески это, тошнит всю.

– Называй меня Вероникой, – строго отвечала Высоцкая, – ты ведьма или где? Учись трансгрессии, развивайся, блин.



– По мне, так лучше порчу сделать, – бурчала Зими́на, – уж как-то и не тошнит.

– Простота, – ругалась Высоцкая, – курица мокрая.

Так и тут. Пока на место принеслись, Зими́на просто вывернулась наизнанку. Едва откашлялась.

Гробник распологался на холме безлесом и некогда был кладбищем. Сейчас всё запустело, травой поросло, один памятник и уцелел. Ангел. Давний. Весь чёрный.

– Здесь неподалёку меня сожгли, – тихонько сказала Высоцкая и погладила Ангелово крыло. – Тогда он был зелёный.

– А меня утопили, – мрачно ответила Зими́на, – внизу, в речке, и его тут не было ещё. Я их оттуда из воды и прокляла – чуму сюда призвала. С той поры и Гробник. Не уходи, Верка... Как я тут одна?

– Называй меня Вероникой, – едко сказала Высоцкая, – не сцы, ты ж ведьма.

– Говорят, если поцелуешь его, умрёшь от любви через семь лет, – всхлинула Зими́на, – и спиной к нему лучше не стоять.

Высоцкая не ответила – ходила вокруг Ангела, бормотала, из синей бутылочки брызгала. Улучив момент, Зими́на нарисовала на ангеловой стопе знак.

– Интереснее будет, если он тебя поцелует, – сообщила Высоцкая, воротясь из транса, – мгновенная смерть, но в счастье, или переход куда надо, высшая трансгрессия. Как для меня – вырваться возможность.

С этими словами она начертила на другой ангеловой стопе символ.

– Прощай, Машка, – проговорила Высоцкая. – Шерри-бренди, ангел мой.

Тут она совершила промах и повернулась к Ангелу спиной. Ожившая статуя крыльями обхватила оторопевшую Высоцкую и прижала её к себе.

– Никуда ты не уйдёшь, – рявкнула Зими́на, – тут останешься! Со мной.

С тем всё и кончилось. Кусты, статуя, девушка в слезах и никого больше.

По возвращении Зими́на принялась за огород. Уж очень тоска заела.

Прополке мешал соседский участок, манил Зими́ну к себе, прямо таки звал волшеббно. Жила там Диана, дура безынтересная, и две её дочки, близняшки-сопливицы. Спустя время Зими́на проломилась сквозь смородину и ворвалась на чужую веранду.

– Курите?! – победно выкрикнула она внутрь дома домашнюю заготовку и взвизгнула. Со стола на неё, гадко ухмыляясь, пялился демон.

– Здравсьте, тётъ Маша. А у нас тут праздник, – высмотрелась на Зими́ну не разберёшь какая дианкина.

– Это какой же? – заинтересовалась Зими́на. – Прогул школь?

– Хеллуин!

– За метлой-то следи, – строго сказала Зими́на, – не пойму, о чём лопочешь, какой ещё Холуин?

– Языческая встреча тьмы, и духи приходят, – сообщила девочка.

– Так бы и говорила, – смилостивилась Зими́на. – Деды это. Старый праздник, сейчас только в сёлах глухих и помнут. А тыкву-то зачем припёрли?

Близняшка затараторила что-то, да только Зими́ной стало не до неё. Нечто, за чем она явилась, что звало её – было совсем рядом.

– Отдохни, девонька, – приказала Зими́на и тронула малую легко, особым касанием. Та послушно закатила глаза и опустилась на ковёр. Зими́на отправилась дальше, по пути ей встретились листья, орехи, тазики с плавающими в них яблоками, свечки всякие и множество тыквенных семечек, аж под ногами хрустело...

– И тогда она придёт... – раздалось из-за третьей двери. – Зовите!

Зими́на споткнулась, упала вперёд и распахнула дверь. Посередине тёмной комнаты группа девочек, сбившись в кружок, выводила:

– Пиковая дама! Приди...

– Нет, стойте, поганки! – заорала Зими́на и поняла...

– Шерри-бренди, ангел мой, – промурлыкала Высоцкая, вырастая непостижимо большой из зеркальца с нарисованной на нём лесенкой. – Мне водить, пойдём со мной...

За спиной её вились клочья то ли дыма, то ли мрака. Браслеты звенели. Дурманящий аромат заполнил комнату. Девочек расшвыряло по сторонам, они зависли над полом, повизгивая.

Поднялся ветер. Высоцкая, чёрная лицом и одеждой – словно обугленная, ухватила Зими́ну за руку и скрылась с нею вместе в позеленевшем зеркальце. Раздался плеск, что-то зашипело. Из зеркальца пошёл пар. Девочки свалились на пол. Одна быстро перевернула зеркало лицом вниз.

– Я же говорила, – сказала она сварливо, – вызывайте Винни-Пуха!

ОЛЬГА ОЛГЕРТ

С РОЖДЕНЬЯ ПОД ТОКОМ

Можешь кричать, можешь в небе искать покой, —
Всех нас запишет зима в ледяные святцы.
Знай, если я не иду за хмельной толпой —
Это не значит, что я не люблю общаться.

Хочешь — за небо, а лучше — за сны держись,
Те, чья реальность роднее тебе и ближе.
Верь, если я не пою про иную жизнь,
Это не значит, что я её ненавижу.

Слушай, как змейкой под сердцем скребётся грусть,
Мир до рассвета бесстрашен и одинаков.
Помни, когда я над сущностью зла смеюсь,
Это не значит, что я не умею плакать.

Жизнь невесома.
Взбирается по плочу
Сердце эпохи за маетной круговертью.
Если я в каждом прохожем себя ищу,
Это не значит, что я не найду бессмертье.

Всё так же беснуется лето под шляпой Кёльна,
Дождями украсив свои золотые кудри,
Довольно дождей и сырых площадей довольно! —
Бормочет понурый прохожий и нервно курит.
Шагают рассветы, читая газеты,
Почту
Развозят румяные фрау
С глазами фурий,
А вот — джентльмен, повседневно сосредоточен,
Несёт по аллее пивную свою фигуру,
Летают синицы и горлицы,
Над собором
Июль зажигает свечу, но под маской солнца
Вальжные тучи в костюмах тореадоров
Поют на испанском, пугая быков бессонниц
Пурпурными брызгами винных миров заката.
Шумит Дионис и бросает на землю взгляды,
На сумрачный Рейн, где в бетонных безликих латах
Поют берега, и командует дождь парадом,



Идут корабли и столетия, где-то судят
Судьбу обыватели,
Жизнь утекает в будни,
А ветер, вчера целовавший меня на людях,
Ругает меня по-немецки, —
Наверно, любит.

От Евхариды – Телемаху

Спряталось солнце в бревенчатых теремах,
Выцвели звёзды, и сбилась луна с пути.
Милый мой странник, мой ветреный Телемах,
Может, подскажешь, как душу от зим спасти?

Может, узнаю, как выжить в толпе зевак,
Ищущих небо в осколках могильных плит.
Я присягаю величию всех Итак,
Видишь, мой остров открыт для тебя, открыт!

Дремлет Калипсо, и ей не сумеь украсть
Волю твою,
Ты лукавым речам не верь,
День разгорается — знаешь, как всходит страсть
На небосводе ушедших во тьму потерь?

Волны Эгейского моря качают ночь,
Ветер ласкает её ледяную грудь,
Северный странник, поющий о счастье Нот,
Что же ты плачешь? — забудь о тоске, забудь.

Вспомни, как жизнь раздавала весенний корм
Птицам, что стали людьми на исходе дня.
Видишь, мой светлый, как старость уносит шторм?
Не догоняй её, слышишь? — останься, —
Люби меня.

В царстве воды сны моллюсков возводят храм,
Дремлет ракушечный бог на песчаном дне,
Я понимаю, что где-то — в далёком там —
Вечер остался, в котором нас больше нет.

Мир полнолуния помнит твои шаги, —
Звонкие волны согреют твоё плечо...
Если увидишь меня на земле — беги,
В сердце моём океанская кровь течёт.
Может, отважишься — сделаешь первый шаг
В царство подводное в пенной моей глуши.
Видишь, как дышит в кораллах моя душа?

Что же ты плачешь?

Дыши под водой.

Дыши.



Где листают созвездья, и морок дневной забыт,
Где печали – слепы, а сомненья с утра – наивны,
Я впускаю в окно, вместе с ветром своей судьбы,
Симферопольский дождь – самый тёплый из летних ливней.

Опускается полночь, и гаснут сердца в домах,
Переполненных строками, вросшими в чью-то повесть,
И пока они спят, заблудившись в ночных умах,
Я встречаю один, твой единственный в мире поезд.

Засыпает мой город, и гаснет земная речь,
Что звучала над миром любви колокольным звоном,
И вокзал – словно храм – зажигает полсотни свеч,
И поют прихожане молитвы пустых вагонов.

Распускаются души черешен в ночном окне,
И, не веря прохожим, что путь из разлуки – длинный,
Ты везёшь мне ракушки, не помня, что нужен мне
Симферопольский снег – нарастаящий, тополиный...

Всходит лунный шарманщик,
Но как мне теперь уснуть,
Если знаю, что где-то, сомненья дробя на части,
Ты везёшь мне в ладонях, боясь расплескать весну,
Волны Чёрного моря – солёные волны счастья...

Где слышалась речь Теофиля Готье
И дверь открывал поднебесный портье,
Там дышат сердца нераскрытых портьер,
В плену законного звона.

Там шёпот спускается с вечных холмов,
Где солнце меняли на хлеб и любовь
И строили город из глиняных слов,
И шили весну из шифона.

Там родинки пели на смуглом плече
И гасли глаза тополиных свечей,
Где мы, не рискуя остаться ни с чем,
Себя раздавали по строкам.

Где слёзы эпохи катились с лица
И дни подражали во сне мудрецам,
И мы покупали – на вырост сердцам –
Судьбу, что с рожденья – под током.

Видишь, ночь собирает рассветный мёд,
На руках у черёмух притихли звёзды,
И в листве завирушка для нас поёт
Не о том ли, что жить никогда не поздно,
Не о том ли... Смотри, как идут с небес
По-шекспировски мудрые слово-гучи,
Где за Гамлетом ходит по круту лес,
Словно мантру берёз на английском учит,



Вот и ты повторяй вслед за ним,
А сам
Не впадай до утра в ледяную дрёму.
И открой свои окна в полночный сад –
Чтоб губами ловить голоса черёмух.

Апрель. Разгар весны
И кажется, что небо
Лежит у ног моих, течёт к моим ногам.
И ночь дрожит во тьме в объятиях Эреба,
И мы с тобой во сне заходим в Нотр-Дам,

Сплетая в тишине мечтания и руки,
Под сводом бытия, забыв холодный март,
Ты даришь мне кольцо – на память о разлуке
И голосе моём, летящем на Монмартр,

Где ищут времена для слов немое ложе
И тает звездопад на лицах тёмных крыш,
И ночь о нас поёт, и кажется прохожим,
Что это мы с тобой построили Париж.

А завтра день сойдёт с небесных гобеленов,
Натурщица Моне уронит зонтик в дождь,
Развеется туман, и жизнь взойдёт над Сеной,
И ты меня с листа безвременья прочтёшь.

Здесь всё необычно: беседы лесных божков,
Забывших о прошлом,
И споры теней ночами,
Где лес засыпает под шёпот моих шагов,
И я прорастаю травую в его молчанье.

Но это не ветер – сознание моё поёт,
И кровь застывает в небесной упругой вене,
И я обретаю способность смотреть вперёд,
Весну обгоняя на десять земных мгновений.

В раскрытые окна вливается сон-река,
И полночь вращает луну над моим балконом,
И мир начинает искриться в моих руках,
Когда я живу по весенним его законам,

Творя безрассудство – читая посланья дней
Далёкой эпохе, античной немой беглянке,
И жизнь постигаю –
Как небо в твоём окне,
Как белые ночи в журчащих речах Фонтанки,

Чей смех на рассвете с дыханьем планеты слит,
Где спят, сочиняя столетия, демиурги,
И кажется, всадник сейчас над Невой взлетит –
С письмом от тебя,
Но подписанным – Петербургом.



Ты веришь – я правда не знаю, какие
Во мне перемешаны звёздные гены,
Я смехом целую пространства морские.
Наверно, я пена...

Но думаю, счастье во тьме приближая:
Мне б только на шабаш вселенский успеть бы.
Я ночью в зрачке у луны отражаюсь,
Наверно, я ведьма...

Не важно, что в будущей жизни случится,
Я осень в саду поливаю из шланга
И глажу рубашки деревьям и птицам,
Наверно, я ангел...

Лови мой взгляд, как будущность, лови,
Я ничего не знаю о любви,
Где новый день – из лучших половин
Извечного сомнения составлен.

А там, где жизнь до чувств обнажена,
Идёт пелопонесская война,
И я смотрю на небо из окна,
Сквозь сердца заколоченные ставни –

На спины возвышающихся гор,
Где звёзды из речушек пьют кагор,
И пишет мне стихи Анаксагор,
О тайном возрождении земного,

И ты мне шлешь посланья из Афин,
Где мы с тобой – из разных половин
Составим лето ...только ты плыви
За мной, туда, где дремлет в небе Ноус¹...

Зови меня в огонь подземных вод,
Я о любви не знаю ничего,
Мой разум – вечно голоден, как волк,
Высматривает в небе лунный обруч.

И я в цветном безвременье тону,
И сердце воет ночью на луну,
И мысль находит новую страну,
Где бродит по земле твой светлый образ.

¹ Ноус (*тречи*) – мировой «ум», высший разум.

И лист в потемневшем от времени соннике,
И мир, осенённый рассветными струями,
И клёны, поющие на подоконнике
О том, что рождение слов – неминуемо –

Для нас, что скитались в кварталах безмолвия,
В обнимку с проросшими в душу потерями,
Где с неба слетевшую нежную молнию
И время цветов, что снегами измерено –



Я в сердце храню,
По секрету от разума –
Спешащего, дерзкого и суматошного,
Где юность нас помнит – счастливыми, разными,
И мы вырастаем, как будни, из прошлого.

А там, где рождаются звёзды и женщины,
И плавают тучи – небесные устрицы,
Скажи мне о том, что весна – не развенчана,
И клёны Сибири над Кёльном распусаются.

Когда растает первый смог
Над городом, где спят зарницы,
Зажжёт грозу уставший Бог,
Чтоб осветить сердца и лица,
И небо пустится в галоп,
Но станут дни темней и глуше,
И Бог посмотрит в микроскоп,
Чтоб увеличить наши души.

Не думай, что небо способно разбиться,
И сниться устанет земля,
Жизнь – вечный полёт бесприютной синицы
В страну журавля.

Где ставит судьба снеговые заслоны
Вернувшимся солнечным дням,
Жизнь – вечная тяга раскидистой кроны
К уснувшим корням.

Как прежде, доверившись мыслям мятежным,
Ты в небо разведешь брод,
Жизнь – сорное поле, где гордо и нежно
Фиалка цветёт.

А там, где весна наступает мгновенно
И ветер над вечностью стих,
Жизнь – кровосмешенье моих вдохновений
И песен твоих.

ЛАДА ПУЗЫРЕВСКАЯ

ПУТЬ, НАМОЛЕННЫЙ ДО ОСКОМИН

ВЕЛЛОКАМЕННОЕ¹

Раскалён добела третий лишний по цельсию рим,
кто горит у парадного, кто – возле чёрного входа,
до ожоговых снов не впустивших нас благодарим,
и при чём тут погода?..

Перекатная боль неприкаянных улиц и лиц
в безутешной надежде звенит до утра медяками.
Если ты отразишься хотя бы в витринах, Улисс –
первым брось в меня камень.

Не добросишь – не плачь, не такие промазали, но
непугёвые хроники павших до бури в пустыне
не прочтут погорельцы, чьё стрельбище разорено –
пусть сначала остынет.

Тут попробуй не пить на разлив, несмотря на жару,
и не жить на развес – до зимы бесконвойные судьбы
соберут нас в тома, безучастно содрав кожуру
перегревшейся сути.

Безьяннные искры прицельно витают в ночи –
от щедрот их горстями сметают с небесных столешниц,
слишком много пожарных, да только кричи, не кричи –
ни воды нет, ни лестниц.

¹ bell (*англ.*) – звонок

НЕ ВОЛЕЙ НЕБЕС

*Я был послан через плечо
граду, миру, кому ещё?
Денис Новиков*

Пусть шаткие крыши уносятся влёт,
и снег на лету превращается в лёд,
крепчает слезящийся панцирь –
умри на задворках свинцовых кулис,
но вылучи роль, а не вышло – молись,
дыши на застывшие пальцы.

Подмётная повесть солёной слюды
стирает незваных прохожих следы,
и прячется смерть в занавески,
и город дрейфует, циклоном несом,
и повод проснуться весне в унисон
совсем невесомый. Не веский.

Не волей небес, отходящих ко сну,
 вольётся в казнённого ветра казну
 туман, умножающий скорби –
 гляди, сколько песен чужих намело,
 любое крещендо сойдёт на минор,
 всплывая под «urbi et orbi».

И сердце не камень, и что ни долдонь,
 но лишь разожмёшь Бога ради ладонь,
 и – атеп, до слёз изувечь, но
 ни голос на бис не взлетит, кистепёр,
 подснежного свиста неверный тапёр,
 ни эхо. И эхо – не вечно.

А лёд полыхнёт – да хоть как нареки,
 но вплавь здесь всегда середина реки,
 и с берегом берег не вместе,
 барокко по-барски заносчивых льдов,
 тот город, который не помнит следов –
 не стоит. Ни мессы, ни мести.

ПРИСНИЛСЯ МНЕ ГОРОД

Здесь всё не случайно и всё – уже,
 здесь музыка сбилась на вираже,
 чем крепче и слаще яды, тем сны нежней –
 для каждого спящего свой Коринф,
 истоптанный берег невольных рифм,
 поверишь к утру – не тлеем ещё, горим.

Но тень, как ни гни, попадает в кадр,
 подстрочник молитвы дождю не в такт,
 и снится привыкшим падать лицом в закат
 блистательный город чужих костров,
 где всякий нальёт нам за пару строк,
 да будь он хотя бы пьян и не слишком строг.

Все птицы вернулись, куда ж ясней,
 не каждый аккорд приведёт к весне,
 и ты ни в одно из окон не выйдешь с ней –
 чем сны беспробудней, тем слаще яд,
 смотри, не сотри между делом взгляд,
 который не снится пятую жизнь подряд.

Враз гончие псы сорвались с цепей,
 не хочешь проснуться – тогда не пей
 полынную смесь ветров из чужих степей,
 шаги не считай по чужим псалмам,
 в потёмках чужих за углом – тюрьма,
 здесь под руки много смелых свели с ума.

Где замок посажен – взойдёт острог,
 хоть как поливай, но всему свой срок,
 знать, нужен садовник саду, а не пророк –
 пусть кто-то пасует звезду, как мяч,
 но ветер под вечер, и плачь, не плачь –
 здесь слово на вырост, каждому свой палач.

Все птицы вернулись – чего хотеть,
 глазами, пристрастными к темноте,
 сличаешь по форме крыльев, не те, не те,
 но ловишь на взлёте звенящий звук –
 бликуй, не рискуй выпускать из рук –
 который не снится пятую жизнь, а вдруг.



ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Подрастает луна, полумесяц к полуночи канет —
 нам отказано в птичьих правах,
 вышибающим клин —
 и подмётные сны, как монеты, под утро чеканит
 веший стрелочник-март, до того тут его допекли.
 Жить взаймы у весны я до талого поберегусь, и
 сочинять судьбоносный сочельник —
 пора-то пора,
 но с фарфоровых гор улетают последние гуси
 в никуда без любви, косяком избежав топора.
 В посеревшую тьму очарованно выкатив zenки,
 отпевает зима свой последний дорожный навет,
 Бог не в помощь,
 но сказочник наш
 из волшебной подземки
 не выходит на свет, никогда не выходит на свет.
 Это родина, браза — чем только её не кропила —
 обмирает земля, растрянжирив трофейный елей,
 не смотри на меня, на исходе не только крапива,
 на исходе без веры, мой мальчик, всего тяжелей.
 Хуже нет отступать без надежды, забитых бросая,
 прижимая к промёрзшему небу последний жетон —
 как тут не подогрей, но судьба к турникету босая
 доведёт с ветерком, по пути схоронив решето.
 Чудеса в решете застревают на вечном вопросе,
 рассыпаются бисером — тысячей мелких «to be»,
 и летят гуси-лебеди вдоль керамзитовых просек,
 и никто не заметит, когда ты взаправду убит.

СОН ПО ЦЕЛЬСИЮ

В монферрановом царстве ночь замутила свита —
 льстиво льются в межу между белыми берегами
 безымянные шёпоты с привкусом dolce vita,
 но качнётся в сетях рострального алфавита
 парусиновый сон мой, кораблик мой, оригами,

и в кисейную тьму плывёт бутафорский город,
 где каналы ветра, перья чижикам обрезая,
 суетятся запальчиво — как бы осипшим горлом
 взять последнюю ноту?..

Голод, мой мальчик, голод.
 Беззастенчиво путая образы с образами,

пусть блажит пересмешник — спи, я тебя не выдам
 утекающим сумеркам, бьющим в сердцах картечью
 по пустым мостовым:
 вдох — и время пошло на выдох.
 Молча — помнишь, учили?.. — в полночь иду на вы, да
 мне ни пеший, ни конный никто не спешит навстречу.

Пусть подводит порой без повода подлый цельсий
 под чужие мосты и подмостки — на то и Питер,
 и труба — жить в подзорной трубе, и куда ни целься,
 попадёшь в молоко — да нужен ли повод, если
 всех забот до рассвета — дождю подобрать эпитет,

затянувшись краплёным утром, до слёз неброским —
 невсевидающим оком заплачет придворный ниндзя,
 прикипая к столпу — только толку с толпой бороться
 за нездешнее слово?.. — всюду фантомный Бродский,
 и стрелки крутят стрелки... И мы себе только снимся.

ПРО ГОРОШИНУ

Лишь остынет в сердцах новый год,
зацелован фанами,
и накроет елейным шлейфом хмельных речей,
задохнувшимся эхом в сумраке целлофановом,
перебором горячечным –
если бы горячей.
Всё, принцесса, пора, собирать реквизит,
горошину –
что ни сказочник, то бездомный космополит –
наше время уходит
молча,
не по-хорошему,
только камень за пазухой
ёкнет как,
заболит.

Заболит забытым и богом, и чёртом городом
предпоследний герой,
не мал впотьмах,
не велик,
величает перинным калашный ряд – верно,
скоро там
не останется ни паломников, ни вериг,
а своих от чужих всё трудней отличать
по репликам,
по разбитым туфлям, обтрёпанным обшлагам,
очертаньям теней,
прикипевшим навек к поребрикам
у забитых дворцов, похожих на балаган.

Скоро скажется сказка –
тебе бы терпенья, странница,
без запаса бодяги блажь разводить сезам.
Подкидная судьба-горошина,
что с ней станется,
если с дури поверит стража твоим слезам?..

МЫ – ТОЖЕ

Сергею Чернышеву

время бредить с разбегу да сеять чудес пелену
в оцифрованном небе считая галактики фиксы
или сны ворошить, в проливном затихая плену
где залётным бореем болеют понурые сфинксы

теплокровные буквы озябли, сбиваясь в стада
затянули в зияющий омут центона весь космос
и дежурный пророк непокорно горит со стыда
замывая следы на затоптанном небе вискозном

за калёное слово казнённых впотьмах октябрят
но с лихвою в палатах уныло вещающих дождей
это всё сквозняки между делом листву теребят
там, где лютые сумерки до искупающей дрожи

там, где первое слово саднит – высоко-высоко
на секунду роняющий свыше покажется ближе
днесь великим могучим едва шевельнёт языком
безутешная речь и, как не было, зарево слижет



и в обугленных прописях – осень усталым ужом
проползая по веку чужому, мы то же – мы тоже
ни словарных запасов запальчиво не сбережём
ни палёных знамений не редко абзацы итожим

да гори оно ясно спускаться в промозглый забой
за падучей рудой, обведённой по памяти мелом
но послушай – звенит безутешно зовёт за собой
что есть мочи по ком бубенец на миру онемелом

МЕТАСТАЗЫ

Диалог

1.

Безучастный пейзаж – ноябрь,
окна с видом на урожай
междометий – прости, но я бы
не дала за них ни гроша.
И раз нечем, не угрожай –
время в коме, небесный комик,
на задворках чумных гоморр –
путь, намоленный до оскомин.

Полубуйся же, как исполнен
твой завистливый приговор.

2.

Крест, притянутый пуповиной
к багровеющим полюсам –
кто добредит сюда с повинной
по долам к тебе, по лесам?..

Нет, ни стражи, ни мавзолея
иже с ними не наваял –
пусть по щиколотку в золе я,
это, ангел мой, снова я.

Снова детских надежд редуты
сдали, каясь: не уследил.
Угадать бы – в каком ряду ты
среди этих чужих светил?..

Рикошетят во тьме крошечной
искромётные муляжи –
что не мы их зажгли, конечно,
не скажу никому. Лежи.

3.

Взмок в смятении журавлином
медноглазый седой ландшафт –
кто б ты ни был там – ну, соври нам,
что закончилось время жать,
и не страшно почти, не больно,
путь в спасительный каземат
пусть осилит почти любой, но
если будет легка зима
от щедрот, да дотянет карму
всуе списанных в дождь вояк.
Будь ты проклят, успевший каркнуть.
Не твоя она, не твоя.



4.

Нет надежды, так отпусти ты
не во благо, так хоть во зло –
на ладошке застынут титры
вместо линий за слоем слой.

Свет заточен – на поражение,
слепнет эхо в колоколах,
ворох скомканных отражений
в обесточенных зеркалах.

И накрывшийся медным тазом
город выморочных вождей
грязнет в истовых метастазах
безысходных своих дождей.

Сколько плазму не береди, но
по морозу ли, по жаре
жгут рассветы здесь всё едино
цвета свежего божоле.
Хоть теперь её – пожалей?..

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ**МОЯ МОЛДАВАНКА**

Поселившись в самом ядре Молдаванки, бандитском райончике, где в своё время Бабель снимал комнату, мне только оставалось записывать увиденное. Не спорю, времена изменились, как и сам район. Лет пятьдесят назад во дворике было три наливайки. Тётя Лора держала даже кафе «Минутка», куда шли со всех окрестных домов пропустить шкалик. Сейчас же клиенты грохочут по вибрирующей железной лестнице за более крепким зельем. Его везут пароходами из Латинской Америки в Одессу, скрывая в тайниках: например, в печах, пушенных на металлолом, или в брикетах, запрятанных в кафеле. Раскрытой контрабанды наркотиков тонны. Но ещё больше того, что не нашли. Через агентуру белый порошок распространяется по Одессе, мелкими партиями поступая на Молдаванку.

– Боже, как тяжело без дозы, – вздыхает женщина с подбитым глазом у порога магазина. – Тебе-то хорошо, – обращается она ко мне, – не надо ничего искать. А я вот день за прилавком отстояла. И половину выручки отдай. – Она затягивается дешёвой сигаретой.

Чуть поодаль под деревом сидит маленький грязный сторбленный человечек. Утром, когда я проходила мимо него, он ещё стоял. Одет был в трусы и майку. К полудню устал и уже сидит, облокотившись о ствол. Кто-то принёс ему штаны, рубашку, в которых ещё сильнее видна его худоба. Рядом сумка с хлебом и консервами. Добрый одесский народ. Сердобольная женщина хлопочет возле него. Пытается расспросить, что с ним.

– Тут болит, – говорит человек, показывая на грудь.

– Я звонила в милицию, – говорит женщина, – там сказали, что ничего сделать не могут. А ведь ему плохо. Его, наверное, ударили по голове и обокрали.

Начинаем расспрашивать. По слову выживаем историю. Жил в городе Изюм, были жена, дочка. Возвращался с работы, предложили подвезти на машине. Очнулся – разут, раздет, без денег. Пытался идти домой. Но больше не может. Нет сил.

Как человек, неопытный в таких делах, вызываю скорую. Вежливо объясняю ситуацию. Машина приезжает через пятнадцать минут, как положено.

– Спасибо вам, девочки, – укоризненно говорят санитары, выходя из машины и оглядывая «больного». – Мы этого клиента уже два года знаем. Привезём в больницу, он всё равно сбежит. Из приюта сбегал. Таких ничего не берёт. А нам только работа.

Но мы всё равно следим, как «дедушку» усаживают в машину вместе с дарами одесситов.

Больше этот бомж на нашей улице не появляется. Может, в самом деле отправили в Изюм. Ведь приют для таких, как он, закрыли. Содержать их негде.

По дороге на Привоз замечаю ещё нескольких. Благо тепло. Растянувшись, спят на асфальте. Другой занял скамейку на остановке. Никто теперь сесть не может, пока не проспится уличный постоялец. Женщина с ребёнком на руках, бабушка с костылём – ждут трамвая. Но вагоновожатая при всём желании проехать к остановке не может. На рельсах припарковалась «Тайота Камри». Сигналы никакого действия не оказывают.

– Мужики есть? – взывает водитель.

Всё мужское население без лишних слов и возражений выходит из трамвая и переносит автомобиль с рельсов. Ехать-то всем надо. В набитый салон протискиваются люди.

– Если вы двери сломаете, ждать придётся ещё час, – обещает водитель, – нежнее, пожалуйста. Девушка, встаньте на верхнюю ступеньку. Вот умница. Ну, поехали.

Два метра едем, пять минут стоим. Пробка от Привоза до вокзала. Каждый норовит проехать и никого не пропускать. Пешеходы мечутся перед автомобилями. На Привозе о красном сигнале светофора почему-то забывают. Потому что «Мне надо туда, а все остальные подождут».

На рынке на прилавках надписи: «Очень свежая рыба» и даже «Живая рыба».

– А шож вы хотите, шобы она ещё шевелилась за такие деньги? – возмущается продавщица. – Даром же отдаю.



Даром пробую капусту из огромных бочек. Возле меня парень с девушкой делают то же самое с огромным наслаждением на лицах.

– Гоните их, это студенты! – слышится возглас.

Но всё равно молодые люди голодными не останутся. Впереди молочный корпус с жирным творожком, упругой коровьей брынзочкой, сметанкой, намазанной для пробы на кисть руки, домашней колбаской с изюминками сала и сладкими медовыми мгновениями.

С огромными сумками добредаю до остановки трамвая. Правда, указателей, что здесь нужно его ждать, нет. Вокруг море цветов – астр, георгинов, роз. Сторонюсь покупателей, которые с удовольствием выбирают дешёвые букеты.

– Не загромождайте мне прилавок, – угрожает продавщица мелкой утвари.

– Так вы же на остановке устроились! – удивляюсь в ответ.

– А ты не хами! Мы тут всё время стоим, – гонит меня торговка.

Благо подъезжает трамвай, куда с напором влетает толпа, унося меня внутрь вагона.

Моя остановка предпоследняя – Алексеевская площадь. От её былой славы – рынка, оживлённой улицы – осталась хлебная будка, уже закрытая по причине банкротства. В ней продавались вкусные булочки с маком и кунжутом. Рядом строится Алексеевская церковь. Выкупив земли, оборудованные под стоянку, силами настоятеля и богобоязненных спонсоров готовы уже стены и золотые купола. Дело за малым. А пока приход помещается в одноэтажном здании напротив.

– Все удивлялись, зачем мне это надо, – разоткровенничался как-то раз со мной священник, – а мне по душе церковная жизнь. Вот в Иерусалим за святым огнём еду. Благодать...

От прошлого в Алексеевском местечке осталась булыжная мостовая. Трамвай гремит, катится по ней. Её практически не ремонтируют. А автомобилисты предпочитают больше ехать по булыжнику, чем по просевшему асфальту с ямами и канавами.

Осенью и весной асфальт, словно корова слизала, исчезает с Алексеевской дороги. Не зная броду, не будет ходу. Новички-водители застревают колёсами в ямах, которые, скорее всего, ведут в катакомбы. Вовремя не выберешься – можно и под землёй оказаться.

Но ямы засыпают постоянно. То щебнем, то гравием, то песочком. Булыжниками закидывали. Всё в них уходит. В общем, рот Земли.

На остальные прилегающие дороги и тротуары, понятно, уже ни сил, ни денег не остаётся. С плохим зрением обязательно подвернёшь ногу. В темноте нужно ступать, нащупывая ногами ровную поверхность. Это тренирует внимательность и не даёт расслабляться, так сказать, держит в тонусе, когда идёшь, усталый, с работы. Но, тем не менее, успеваешь замечать, как переливаются золотом листья клёнов в парке, кружатся и падают на землю. Воздух пряный, наполненный ароматами осени, но ещё тёплый...

– Всё бегаешь? – замечает соседка, направляющаяся в парк, неуклюже переваливаясь, словно утка. – Вот я своё отбегала. Была поварихой. Таскала огромные канны. Грыжу заработала. Слава богу, сейчас на пенсии. Дотянула. Теперь готовлю, стираю, детям помогаю. И ещё время есть в парке посидеть...

На воротах во двор снова новый код. Недавно вселившийся хозяин одноэтажного дома в нашем дворе опасается за сохранность своей иномарки. Правда, заветные цифры через несколько дней знает вся улица. Раньше приходили за семечками, которыми торговала бабушка Роза. Сидела у ворот на скамейке. И насыпала всем тыквенной и подсолнечной радости. Сейчас продают в пакетиках. Но семечки в них не такие вкусные и отдают пластмассой. А Роза так жарила, что ароматом пропитывались карманы и долго пахли даже после стирки.

Открываю дверь и сталкиваюсь с орущим малышом. Он хочет выехать на велосипеде на улицу. Но мама не пускает. Мчится навстречу мне, чтобы пресечь попытку ребёнка «выйти в мир». Во дворе царит детская идиллия: девочки и мальчики, мал мала меньше, играют, бегают, катают машинки. Три мамы зорко стерегут их, как наседки, пока остальные родители работают или ходят по базарам. Что-что, а традиции двора, как большой семьи, свято сохраняются. Никакие баталии и перипетии не могут разрушить устоявшееся мировоззрение одесского дворика. Любимое место сиделок – большая скамейка – никогда не пустует вечером. Однажды она поломалась. И соседи дружно скинулись деньгами, установив новую и даже её покрасив. Дерево, торчашее над ней, начало сохнуть и ронять свои ветви. Опять собрались и срезали его.

Скамейка – священное место. По вечерам – бутылка и два стаканчика, солёный огурчик, тарелочка с колбаской, и скоро дуэт становится квартетом, секстетом и шумной компанией. Выносятся стол и всё съестное из кухонных уголков и холодильников теперь базируется на улице. Водки никогда не хватает, её запивают самогонкой вчерашнего приготовления. Лица красные, добрые, разговор течёт рекой. Все тайны навыворот, все двери открываются, и глаза на этот мир тоже...

Соседская девочка, на вид лет девяти, оказывается шестнадцатилетней. Из-за того, что отец – наркоман, у неё страшная неизлечимая болезнь. Первому, старшему ребёнку посчастливилось родиться нормальным. А вот дочка расплачивается за грехи отца. Именно к ним и ходят по гремящей расшатанной лестнице клиенты, кореша, поставщики...



На первом этаже под ними пожилая мать Любка и взрослая дочка Ольга. Каждое утро Любка отправляется с коляской на поиски съестного в альтфатерах – мусорниках. У Ольги двое детей от разных ухажёров. Но из-за её постоянной пьянки их забрали в интернат. Однажды вечером, взбешённая парами самогонки, Ольга проломилла матери голову. Но после пребывания в милиции и принудительного лечения в её голове что-то перещёлкнуло. Она устроилась дворником в ЖЭК, и ей аннулировали долги за коммунальные услуги. По вечерам из их квартиры подымается нестерпимый тошнотворный запах. Любка разбирает найденные в альтфатере сокровища. И готовит еду из этих объедков.

На самом верху живут поп с попадъёй. «Священника», так он именуется, в своё время выгнали из церкви за чрезмерное употребление спиртного. Он организовал собственный бизнес. Взял лицензию и, как частный батюшка, ходит крестить, молиться, отпевать. Так что на хлеб с маслом на старости лет и мерседес он уже себе заработал. Попадья, как и все книжные её прототипы, имеет вредный характер. И пишет клеветы на всех соседей. И всегда всем недовольна. Её никогда не увидишь на дворовой скамейке. Только выглядывающую заострённым любопытным курносом носом из окна веранды. Услышав недоброе слово где-нибудь в отдалённом конце двора, она вступает выяснять отношения, впрочем, не спускаясь со своего наблюдательного пункта. Мечет едкие фразы врагам через пространство двора. Потому так часто разгораются скандалы – иногда с летающими по двору тарелками и прочими нужными и не очень вещами.

Такую атмосферу двора соседи считают весьма дружелюбной и умиротворяющей.

Несмотря на драки и ссоры, все друг другу доверяют. Не то, что тридцать лет назад, когда квартиру нельзя было оставить открытой. Никто не знал, что тихоня Дунька ворует всё, что ей попадётся на глаза. Как-то тётя Дора, редкая хозяйка и умница, нажарила на день рождения толстолобика. Получилась большая кастрюля. Вынесла на веранду. А через пятнадцать минут посуда исчезла. Где искать, никто не знал. Видеокамер в ту пору не устанавливали. Зато Дунька так наелась рыбы, что даже в больницу попала с отравлением. В следующий раз она ограбила квартиру толстозадой Сары. Дома была только семилетняя дочка Мила. Незнакомая женщина попросила девочку дать ей золото для матери, чтобы почистить. Это была подруга Дуньки, с которой они разделили награбленное. После этого она хвасталась соседям, что теперь самая богатая невеста. Но выйти замуж ей так и не пришлось. А когда Дуньку выселили из квартиры за долги и прописали на окраине Одессы, кражи резко прекратились.

– Скажите, а почему вы с нами не пьёте? – вопрошает меня полная, как бочка пива, соседка с красным, изъеденным морщинами лицом. Мужа её недавно не стало. Две дочки неофициально побывали замужем, оставшись матерями-одиночками. И теперь вместе участвуют в посиделках.

– Потому что уже не могу, – отшучиваюсь я.

– Я девять месяцев так не могла, – признаётся старшая дочь Таня, еле проговаривая слова заплетавшимся языком. – А сейчас могу.

– Так ты ж кормишь? – спрашиваю.

– Сынок быстрее засыпает, – делится секретом Таня и начинает подвывать.

– Сегодня праздник, а где флаги! – вторит ей мать.

– Дура ты, Дуська, – наливает стопку Николай из соседнего двора. Он всегда не прочь задарма выпить.

– Дура, да! – вспыхивает мамаша. – А чью водку пьёшь, мерзавец! Ты мне холодильник починил? Сгорел после того, как ты руку приложил к нему. А в нём, как в шкафу, теперь крупы храню, ни на что другое не годен...

– А мне обещал мешок сахара привезти! – включается Дора. – Где, спрашиваю!

– А ну уходи, давай, – поднимается на защиту дворничиха, размахивая полотенцем.

– Ша, бабы, разошлись, – Николай пытается найти поддержку у соседа Толика. Но осоловевший парень только зеваёт, обнимая девушку Наташу.

Полилог сопровождается выражениями. Потому как они не матюкаются, они «на нём» разговаривают.

Крик перерастает в драку. Летят стаканы, тарелки. И, наконец, побеждённый Николай в мокрой, пропитанной самогонкой одежде, уходит.

На миг настает тишина. Никто не понимает, почему всё так быстро кончилось. И снова берутся за стаканы...

По небу рассыпаются звёзды крупным горохом. Светит луна, словно просит выключить слепящий её фонарь. Но он горит всю ночь. И только на рассвете завсегдатаи двора расходятся, чтобы заснуть мертвецким сном, не слыша будильников, зовущих на работу, на базар, не отзываясь на крики ребёнка. Управляться с делами домашними приходится дежурным во дворе по этому дню. Мало ли что с кем может произойти...

ТАЙНЫЙ ШКАФ

Жители Молдаванки – народ свободный несмотря на то, что именно этот район считался всегда рабочим. Никакая работа не закабалит её вольного духа. И всегда находится часок для творчества.

У деятельной тётки Лоры было своё весьма прибыльное дело. После рабочей смены кладовщицы она уединялась в своей квартире на третьем этаже, устанавливала бидон на умывальник и начинала процесс. Скоро из её окон разносился манящий запах самогонки, на который сбегались жители не только двора, но и близлежащих домов и улиц. Три кило сахара – три литра самогонки. У тётки Лоры она получалась непревзойдённая. От неё не болела голова, а тем более желудок, и ссор между соседями было меньше. Такая лёгкая была рука.

Тётка Лора старалась помочь всем – кому делом, кому советом. Встретив меня, женщина очень попросила, чтобы я осватила купленную квартиру. И правда. По ночам нас мучили кошмары. И даже казалось, что кто-то хочет выгнать нас из обрётённого дома.

– Там нехорошие люди жили, – раскрыла мне карты тётка Лора, – пили, много бились. Женщину оттуда вынесли. Много всего было. Обязательно позови священника.

После того, как батюшка Алексеевской церкви освятил комнаты, словно светлее стало и все страхи ушли. И стало жить легко и просто.

Жизнь на третьем этаже преуспевающей тётки Лоры и дяди Жоржа привлекала соседей. После того, как супруги обзавелись четырехколёсным транспортом, попадая, у которой дела в ту пору шли неважно, решила прекратить процветание успешной предпринимательницы. И позвонила в милицию.

На следующий день к тётке Лоре пришли с обыском. Но так как во дворах Молдаванки есть всевидящие глаза и всеслышающие уши, за два часа до прихода милиционеров женщину предупредили. Однако вынести огромное количество бутылок, бидоны и прочие приспособления уже не хватило бы времени.

На этот случай у тётки Лоры было своё спасение. Но свою тайну она не открывала никому. И только однажды в разговоре почему-то поделилась ею со мной.

Милиционеры, как и предполагалось, ввалились в её небольшую, двадцатипятиметровую квартиру, обследовали все углы от пола до потолка. Но ни единой улики не нашли. Всё как будто исчезло по мановению волшебной палочки.

– Ну как же так, – который круг описывал по комнате старший лейтенант, оглядывая себя в зеркало. – Свидетели есть. А улики нет.

– Наговоры всё это, злые языки, – только качала головой тётка Лора.

Впрочем, свидетельствовать против неё никто, кроме пощады, не хотел, потому что самогонка в самом деле у неё была хорошая. Так ни с чем стражи порядка и ушли. А уже через полчаса продолжилась бойкая торговля стопочкой. Причём пьяным тётка Лора не наливала. Всё должно было быть благородно.

– Вот протрезвешь, тогда приходи.

И тем, кто уходил в долгие запой, отказывала. Это действовало отрезвляюще. И многие брали себя в руки.

За несколько лет до смерти тётка Лора поменялась на первый этаж и там уже открыла своё знаменитое кафе «Минутка» рядом с дворовой скамейкой. Новым жильцам третьего этажа от неё досталась квартира с двухметровыми стенами, тёплая, уютная, оборудованная камином. В стенах были вырублены огромные ниши, в которых можно было складывать вещи, как в гардеробе, кухонную утварь и даже устроить библиотеку. Это значительно сэкономило место и без того крохотных комнатусек.

– Мы вырубили нишу, – говорила мне тётка Лора, – сняли несколько кирпичей, укрепили стену. И там я хранила бутылки, спирт, бидоны. А почему не нашли? Да всё очень просто. Вместо дверцы в мой потаённый шкафчик я приделала большое зеркало. И когда надо было что-то достать или положить, снимала его. Но кто же мог додуматься, что там моё зазеркалье?

САМЫЙ ЦИМЕС

Утром, ни свет, ни заря, Соню Абрамовну разбудил звук стиральной машинки. Через тонкие перегородки хорошо было слышно, как она заскрежетала, набирая обороты, и пошла вращать бельё соседей.

– Какого беса так рано стирать! – поворочалась под одеялом женщина. Но сна уже ни в одном глазу. Тем более, что сосед сверху, Степан, снова начал прибивать паркет, мелодично постукивая молоточком. Именно в выходные дни он «заканчивал» ремонт. Но, как известно, ремонт – это состояние души, в котором некоторые пребывают всю жизнь.

Чтобы не быть белой вороной, которая ничего не делает и только отлёживается себе бока, Соня Абрамовна начала отбивать мясо. Вчера верная подруга Сара Львовна, работающая в мясном корпусе Привоза, подкинула на отбивные хороший кусочек свинины. На обед должны были прийти дочка с внуками. Усердно отбивая куски, она выстукивала весёлую мелодию. Однако сосед стучал громче. Не выдержав состязания, женщина решила пожаловаться подруге на нарушителя тишины. Она вышла на веранду и обомлела. Общая верёвка, протянутая от дома до дома на уровне второго этажа, была полностью завешена простынями и полотенцами. Подруга, подкручивая ролик верёвку, пододвинула последний свободный кусок и заняла его своей ночной рубашкой.



- Ты что вздумала! – крикнула Соня Абрамовна. – А мне где вешать?
- Так ты даже не замочила свои простыни, – ответила Сара Львовна, – а у меня время не терпит.
- Откуда такая тороп! – поставила руки в боки Соня Абрамовна. – А где уговор: мою половину не занимать? Я зачем половину денег на верёвку и ролики давала?
- Ему ж всего полдня сохнуть, – не унималась подруга. – Солнце, вишь, какое жаркое!
- А я вот сейчас машинку запущу, – пригрозила соседка. – Сымай с моей стороны.
- Не сыму.
- Тогда я сама! – Соня Абрамовна потянулась за простынёй.
- Не смей! – крикнула Сара Львовна. – Всё перепачкаешь своими грязными руками.
- Шо, у меня руки грязные?
- И рот чёрный!

Соня Абрамовна задохнулась от возмущения и скрылась в комнате. Через минуту она вернулась с ножницами.

– Вот тебе черноротая! – перерезала она верёвку. Белье плавно спланировало на крышу пристройки первого этажа.

– Ах ты подлая! – скинула с себя косынку Сара Львовна. – Это за всё, что я тебе сделала? Вот я в Облэнерго расскажу, как ты счетчик скручиваешь!

– А ты самогонку гонишь и всю улицу вдрын спаиваешь, – кричала в ответ довольная содеянным Соня Абрамовна, – я ментам доложу, где ты бутылки прячешь.

– А ты незаконно веранду пристроила! Я в ЖЭК пойду. Вот тебя оштрафуют!

– А ты плитку газовую перенесла.

Соседи с интересом стали выглядывать из окон. Зойка с нижнего этажа выбежала и тоже включилась в спор:

– Да закройте вы свои хлебoreзки, ребёнка разбудили!

– Ты своим басом его разбудила, – переключилась Соня Абрамовна, – хоть бы пелёнки стирала. А то вешает – вонь идёт!

– А ты из мусорки вчера апельсины собирала, – ответила Зойка.

– Да я тебя! – рассвирепела Соня Абрамовна. Пенсии на то, чтобы полакомиться фруктами, не хватало. А тут со склада ящик полугнилых апельсинов выбросили. Как не взять!

Щупленькая Зойка встала в стойку, приготовившись к атаке.

– Не трожь её, – выдвинула вперёд артиллерию Сара Львовна, – я тебе всю харю поломаю!

– Мне? – ткнула себя в грудь Соня Абрамовна. – Да я все патлы тебе повыврываю! – И запустила руку в крашенные рыжие волосы подруги, собранные в хвост. Та в ответ стала молотить подругу по голове.

– Давай её, Сонька! – скандировал сверху плотник Стёпа, отвлѣкшись от паркета.

– Задай, Сара, неча наших трогать, – поддерживал сосед Петька из противоположного дома.

Сара Львовна схватила чутунную трубу, валяющуюся у двери, и двинула обидчицу. Та, как подкошенная, упала наземь.

– Сделала её! – только и сказал Петька и побежал вызывать милицию.

– Убийца, – зарыдала Зойка, – что стоите, скорую вызывайте!

Милиция и скорая приехали одновременно. К этому времени Сара Львовна обнаружила, что не может пошевелить рукой, так ей больно.

Утром Соня Абрамовна пришла в себя в палате. Голова её была обмотана бинтами, глаз заклеен, как у пирата. Рядом на табурете сидела с рукой на перевязи Сара Львовна.

– Возьми апельсинку, – протянула она, – силы восстанавливает. Как ты?

– Башка трещит. И не пили же вчера. Шо это было?

– Петька со Степаном верёвку восстановили. И ещё одну сделали. Теперь у нас личные, – поделилась соседка.

– Да ну тебя, – махнула рукой пострадавшая.

– Я тебе ещё окна выкрашу, мне краску дармовую подкинули, – продолжала тараторить Сара Львовна, – самый цимес будет.

– Только ты трубу эту от двери убери, а то в другой раз ещё под руку подвернётся, – оцупала свою забинтованную голову женщина.

– Уже убрала, – согласилась подруга, – а твоих внуков я борщом накормила и пирожков своих дала. Отбивные твои пожарила. Мяско-то ничего. Я ж плохого не дам. Дочка к тебе в десять утра придёт. Я ещё варенье сварю, мне малины принесли.

– А что, ментов вызывали? – Соня Абрамовна наконец сообразила, почему соседка так вокруг неё хлопочет. Она приподнялась и внимательно оглядела пришедшую с забинтованной рукой, – донесли, значит. На тебя протокол составили? – посмотрела она испытующе и тут же добавила, – узнаю кто – харю намылю.

– И я тоже, – поддакнула Сара Львовна. – Мы ж вместе сила!

– Сила! – повторила Соня Абрамовна и запихала в рот дольку апельсина. – Самый цимес!

ОЛЕГ ДРЯМИН

КИРПИЧ ИЗ ОДЕССЫ

рассказ

Воскресным весенним днём, измотав себя ходьбой по барахолкам, раскинувшимся возле Привоза и Староконного рынка, Иван Ефимович Соломка добрался в переполненном и шумном трамвае домой. Скинул с ног, не нагибаясь, старые растоптанные штиблеты, помыл руки и, глотнув из чайника воды, сел на взвизгнувший под его весом обшарпанный диван перед телевизором. Настенные часы показывали пять минут второго. Иван Ефимович засуетился, схватил пульт и быстро включил телевизор. Шли новости.

Если бы у него на руке были часы, он не отвлёкся бы на мытьё рук и не утолял на кухне жажду, а, придя домой, в первую очередь включил телевизор и тогда не пропустил бы ни одной свежей новости. А выпуск новостей у Соломки – дело святое. Выборы в Госдуму прошли – а синдром ожидания надежды остался. Иван Ефимович жадно ловил слова диктора и ругал себя, что главную новость он, скорее всего, пропустил. Он суетливо стал переключать каналы в надежде увидеть что-нибудь интересное, благо их у него было около шестидесяти. Кабельное телевидение – не шутка. Но даже по нему всё казалось уже неинтересным, ведь об этом говорили уже несколько лет: взрывы в Ираке, Афганистане, теракты в Израиле, ответная реакция Тель-Авива в Палестине. Глаз за глаз, зуб за зуб. Страшно, но привыкли.

Соломка слушал дикторов и успевал проглядывать титры. Строка сообщала: похищены музейные ценности – тридцать две картины старинных мастеров живописи. Соломка расстроился – картины проворонили, а точнее сами и украли. Без наводчиков из сотрудников музея не обошлось.

– Обворовывают нас, как лопухов – кому верить? – он представил, как кто-то разбогател сразу на десяток миллионов, а простой народ, значит и он сам, опять будет потерпевшей стороной.

Вдруг из скорбных подсчётов его вывела неожиданная информация. Соломка всегда мечтал о том, чем бы ему заняться, чтоб разбогатеть – а тут вдруг как обухом по голове, а точнее кирпичом. Он открыл рот, боясь пропустить слова, сказанные с экрана. Показывали мужчину, лет на двадцать моложе самого Соломки. Мужчина стоял возле стола, где были разложены несколько старых кирпичей, и рассказывал о том, что это были за кирпичи, какие на них стояли инициалы или фамилия владельца завода, какой на них был фирменный знак или заводское клеймо. Герой сюжета с уверенностью заявлял телезрителям, что он собрал около трёхсот экземпляров кирпичей разных веков многих известных изготовителей, и что он готовит к открытию музей истории старинного кирпича. После этого он достал ещё один кирпич и, показав на нём клеймо, сообщил, что у него имеется несколько уникальных экспонатов, представляющих собой историческую ценность.

Соломка был глубоко шокирован увиденным. Но он всё-таки успел записать фамилию владельца уникальной коллекции кирпичей, а также название телеканала. По окончании «кирпичного сюжета» он долго сидел в раздумье, а потом всё яснее начал осознавать свою причастность к этой теме.

Много лет Соломка проработал в бригаде по разборке ветхих зданий в Одессе и вывозу строительного мусора. Сколько старого кирпича прошло через его руки, и сколько на нём было отметин – фамилии владельцев заводов. Таким «брендом» пользовались в те далекие времена как частью естественной рекламы. И это приносило хозяевам большую пользу. Выбор кирпича, погрузка, перевозка, разгрузка, кладка – и почти на каждом было выгравировано «Кравцовъ» или «Зыковъ». И эти кирпичи исправно служили несколько веков. И только реконструкция центральных кварталов города высыпала их звонкие пофамильные слитки на строительные свалки. Но и там, на свалках, жители окрестных трущоб лепили из них небогатое, но крепкое жилище, готовое служить до непредвиденного сноса. И самое обидное, что многие достойные восхищения экземпляры из-за своей прочности укладывались вместе с арматурой в фундамент и заливались раствором.

Вот те самые кирпичи, утраченные безвозвратно, в эту минуту пожалел Соломка. Сотни уникальных штук прошли через его руки: итальянские, французские фамилии были красиво отштампованы на поверхности. Встречались кирпичи из Москвы, Петербурга, Самары, Киева. Соломка по несколько раз перечитывал фамилии владельцев заводов, удивлялся витиеватым узорам клейма и всё же не считал старые кирпичи исторической ценностью, сваливал их в фундамент очередного частного строения, гаража или дачи.



По правде сказать, рассматривал Соломка кирпичи только первое время, потом привык и стал обращать внимание только на редкие экземпляры. Однако и их он не собирал, а теперь пожалел о своем ротозействе. Сколько было вывезено на свалку, и не только кирпичей. Старинная лепка, украшающая потолок и стены домов одесских аристократов, разбежавшихся после революции по миру. Соломка никогда не забудет тех ценных узоров и хитрых переплетений, загадочных вензелей, обрамлённых гроздьями роскошного винограда и щедрыми плодами новороссийских садов. А облицовка каминов с изображением зверей, деревьев, рыб или птиц, ваз, гербов, херувимчиков. Гжель, жаростойкий лак с утерянным рецептом, а на обратной стороне — опять же — фамилии владельцев заводов, фабрик, личные клейма мастеров. Вот искусство так искусство, и то ушло в никуда. Немало их бригада разобрала каминов и продала новым хозяевам. А сколько вывезли как строительный мусор, потому что изысканная плитка или часть искусных блоков были разбиты при разборке, а восстановить или отреставрировать даже что-то приблизительно имеющее сходство — нет достойных мастеров.

Телевизор продолжал работать, но Соломка был весь в раздумьях. Он чувствовал, что счастливый билет, который был в его руках, достался другому — посмекалистей и пошустрее. Тот быстренько оценил то, чем Соломка восторгался, до конца не осознавая, что с этого можно «поймать». Ничего, что многие кирпичи наштампованы одним заводом и целый дом мог быть выложен только из них. Но заводов было много, почти в каждом крупном городе. Соломка держал в руках кирпичи сотен заводов. Империя строилась не год, а века. А если и повторяются некоторые — пусть. Музей кирпича в будущем тоже будет не один. А вдруг каждый город захочет открыть у себя такую экспозицию, — так рассуждал Соломка, в голове у которого витали радужные надежды.

— Понятно, хоть что-то да заплатят за каждый маркированный кирпич, не всё даром. Слава Богу, движемся к рыночным отношениям, — Соломка напряг оба полушария и стал вспоминать, где он видел груды старого кирпича, современный с этого дня его уже перестал интересовать. Жаль, что по возрасту он попал под сокращение. Сейчас дома разбираются более ускоренными темпами — механизация, поток огромных самосвалов и экскаваторов. Два дня — и дома нет! И всё равно куда-то же всё свозят. Соломке стало душно. Он выключил телевизор и, без особого труда сунув ноги в те же штiblеты, поспешил на улицу.

Во дворе он не увидел ни одного валявшегося кирпича. Тогда он посмотрел на свой дом и понял, что здесь вряд ли есть хоть один старинный кирпич, представляющий историческую ценность. Соломка пошёл по улице и поймал себя на мысли, что теперь, хочет он того или не хочет, будет угадывать возраст домов, мимо которых будет проходить. И тут он вспомнил, что неподалеку ломали старый дом. Жуткая пыль летела по улице, но его магнитом потянуло туда, где грузили камни и кирпичи. Соломка моментально очутился у полуразрушенного дома. В облаке пыли он прошёл к притягивающим его кучам строительного мусора. Конечно же, дом был построен из ракушечника, Соломка понял это, едва увидел часть разрушенной стены. Кирпич, в основном, был использован для перегородок, или в печах и дымоходах. Один за другим он начал поднимать кирпичи. Крутил их и скоблил, но ни на одном из кирпичей не было желанных и ожидаемых надписей. Это были обычные советские кирпичи хрущёвского периода, которым в музей ещё рановато, да и будет ли на них спрос когда-нибудь — неизвестно. Расстроенный первой неудачей новоявленный поисковик отправился домой. По пути он неожиданно вспомнил, что у него в кладовке, расположенной в подвале его дома есть несколько кирпичей. Их Соломка притащил ещё лет пять назад, когда ломали неподалеку дом, и то с целью груза, чтобы класть на кастрюли с крупой. Конечно, выбрал он тогда самые красивые с надписями.

Иван Ефимович быстро поднялся в квартиру и отыскал ключ от навесного амбарного замка, похожего на средневекового рыцаря в кованых доспехах, верно оберегающего имущество своего хозяина. Бывшая жена когда-то правильно определила количество хлама, находящегося в кладовке — два самосвала мусора. Соломка как-то после ухода жены, осознав, что не всё представляет какую-то ценность, решил отобрать нужное, а от ненужного избавиться. Целый день он перебирал содержимое чулана, и за что не брался, всё оказывалось нужным. Старую раскладушку можно сдать в металлолом. Люстры, ведра, бочки, коробки, шкафы, стулья, даже детские салазки, — всё это было жалко выкидывать. И хотя у него не было никогда детей, он мог подарить их какому-нибудь ребёнку. И снова он отставлял их в сторону, как и всё остальное.

Всё же, покопавшись в пыльных вещах и несколько раз громко чихнув, Соломка нашёл три кирпича, которые долго ждали своего часа. Воспрянув духом, хозяин всех этих вещей подумал, что и они когда-нибудь кому-нибудь понадобятся. Замок-рыцарь «лязгнул шпорами» и принял по-новой под караул хозяйское добро. Тут же вспотевший и измазанный мокрой пылью Соломка утащил драгоценные кирпичи в квартиру. Там он их очистил от грязи и пыли, не пожалев кухонного полотенца. А затем стал внимательно рассматривать каждый кирпич, и чем больше всматривался, тем больше представлял перед собой собственный бизнес. Точнее — начальный капитал. Главное теперь — отыскать того питерца, одержимого идеей создания своего музея старинного кирпича, и предложить ему за энную плату свои экземпляры, не оказавшись при этом «просто Ваней». Иван Ефимович чувствовал, что у него началась полоса везения, и его материальное становление — дело времени.

Первым делом Соломка отправил срочное письмо на телевидение города Петербурга с просьбой выслать ему адрес и телефон того «коллекционера старинных кирпичей». Потянулись томительные

дни ожидания. Соломка то оживлялся, питая радужные надежды, то впадал в уныние. Наконец, через десять дней тягостных и нервных ожиданий он получил на своё имя телеграмму с адресом и телефонным того, благодаря кому увидел свет в тёмном захлапленном туннеле своей никчемной жизни. В тот же день Соломка, предвкушая своё скорое обогащение, помчался на главпочтамт звонить в Петербург. Оппонент на другом конце телефонной линии внимательно выслушал путающегося от волнения Соломку. Затем сам начал задавать вопросы, касающиеся возраста кирпичей, имеющихся штампов и надписей, а так же размеров и цвета. После долгих расспросов «коллекционер» заявил, что из трёх кирпичей его интересует лишь один – с гербом и медалями выставок. А что касается остальных двух с фамилиями заводчиков, то у него в коллекции уже есть по несколько экземпляров.

Конечно, Соломке было неприятно слышать, что не все его кирпичи представляют коммерческий интерес, но уже то, что один из трёх серьёзно заинтересовал любителя старины, говорило о том, что он на правильном пути. Наконец пришла долгожданная минута, когда ребром встал вопрос – сколько хочет Иван Ефимович за свой кирпич. Может он согласиться поменять свой экземпляр на какой-нибудь из трёхсот, собранных у коллекционера? Да к тому же, у того несколько штук было одинаковых. Вопрос об обмене кирпичами больно ударил по сердцу Соломку. И только имея в своём активе действительно крупный козырь, настоящий одессит не швырнул телефонную трубку, прибавив при этом крепкое слово, а вежливо заметил, что его кирпич стоит не менее двухсот условных единиц, а то и больше. На что в трубку ему было сказано, что из таких кирпичей построен не один старинный дом, и со временем десятки людей валом повезут их на тачках наперегонки в музей, и что цена им тогда будет не более двадцати центов за штуку. Такой довод толкнул, конечно, Ивана Ефимовича на существенные уступки, и за пятьдесят долларов Соломка согласился расстаться со своим кирпичом.

Встал вопрос, как доставить клиенту товар. Соломка напирал на самовывоз, питерец приглашал Соломку с кирпичом в гости, причём дорогу никто не хотел оплачивать. Из-за дороговизны билетов и речи не было о вояже новоявленного предпринимателя, наконец, сошлись на посылке. Коллекционер выразил надежду, что Иван Ефимович порадует его ещё не одной редкой находкой. Конечно, Соломку мучили сомнения, связанные с пересылкой, но питерец, как не крути, на данный момент был его единственным покупателем.

На следующее же утро Соломка принёс бережно упакованный кирпич на одесский главпочтамт. Посылки и бандероли принимала женщина средних лет в выцветшей почтовой униформе сизого цвета, напоминающая грозовую тучу. Она удивилась небольшой, но тяжёлой посылке, тем более узнав, что из Одессы в Петербург будет пересылаться кирпич. . . Приёмщица тут же распорядилась перепаковать посылку и произвести оценку. Соломка заполнил сопроводительные бланки, указав адреса, добавив на свободном месте слова: «Кирпич я высылаю, жду обещанное вознаграждение». Женщина быстро поставила на расплавленном сургуче печать, и посылка исчезла из поля зрения Соломки. Сдав посылку, Иван Ефимович отправился домой дожидаться денежного перевода.

Тем временем на главпочтамте посылка Соломки наделала много шума. Сначала работники отдела посылок и бандеролей шутили над необычно маленькой, но тяжёлой поклажей. Потом стали приходить служащие из других отделений главпочтамта. Посылку разглядывали, вертели в руках, недоумевая усмехались, шутили. Один из рабочих, разговаривая со знакомым по телефону, поделился новостью, мол, весь главпочтамт на ушах, что из Одессы в Питер принята посылка Соломки, но в сопроводителке значится «КИРПИЧ». Кто же кирпичи посылает ценными посылками?

На другом конце провода, видно, слово «соломка» ассоциировалось только со словом «маковая». И уже через двадцать минут на главпочтамте появились два человека в штатском и, покрутив посылку Соломки в руках, изъяли её на экспертизу, составив соответствующие документы. Служащим главпочтамта сразу стало не до смеха, и они дружно принялись за работу.

В отделе по борьбе с наркотиками, пригласив понятых, аккуратно распаковали посылку, извлекли кирпич и определив, что в посылке кроме газет, в которые он был завернут, ничего нет, вопросительно переглянулись. Начальник отдела, капитан Шевчук, взял кирпич в руки и несколько минут внимательно разглядывал его, всматриваясь в старинные надписи. Затем, постучав зачем-то по кирпичу шариковой ручкой, передал его своему помощнику – старшему лейтенанту Круку. Неожиданно в кабинет зашёл лаборант Савчук. Озабоченные оперативники тут же показали ему кирпич и спросили – сможет ли он в лаборатории определить, находится внутри наркотик или что-нибудь запрещённое. Лаборант осмотрел кирпич со всех сторон и, не найдя внешних дефектов, положил его на стол. По его определению выходило, что кирпич, сделанный ещё до революции, являлся монолитом, никем не распиленным и, естественно, не склеенным. Но и Савчук не давал стопроцентной гарантии, что кирпич не был хитроумным устройством пересылки запрещённых веществ. Сказав эту, по его мнению, важную речь и сославшись на занятость, он быстро удалился.

Весть о посылке Соломки дошла до вышестоящего начальства. Хотя «посылка соломки» звучало, как обещающее награду или премию, а вот «посылка кирпича» – по-идиотски, было над чем задуматься Шевчуку и Круку. Тогда они решили проверить ещё один способ. Вскоре в дверь постучали и в кабинет вошёл кинолог старшина Ласкин со своей собакой Тинкой, хорошо натасканной на наркотики. Крук попросил его подождать за дверью, а сам положил кирпич под стол. Потом попросили старшину войти. Тина, получив команду, прошла по комнате, обнюхивая ножки стула и корзину для мусора. Вдруг она села возле кирпича и зарычала на него.



– Сработала на нюх, – прошептал Ласкин и радостно потрепал отличившуюся собаку. Находившиеся в кабинете спецы переглянулись. Поблагодарив кинолога, они остались наедине с загадочным кирпичом. Было решено расколоть его и извлечь оттуда наркотик. Крук решительно приступил к действию. Он положил на пол газету, на неё милицейскую дубинку. Взяв в руки кирпич, он положил его на дубинку и, навалившись всем телом, попытался его расколоть. Но тот не поддался. Тогда Крук вышел из кабинета и через несколько минут вернулся с молотком. После первого удара кирпич звонко треснул и разломился на две части, рассыпав вокруг себя мелкие осколки. Крук поднял половинки кирпича и тщательно рассмотрел их, поднеся к носу. После чего он виновато посмотрел на капитана. Тот, взяв половинки кирпича из рук Крука и взглянув на шероховатый бугристый раскол, вернул их старшему лейтенанту.

– Будем искать, собака не могла ошибиться.

Крук стукнул молотком по одной из половинок кирпича – та раскололась ещё на несколько частей. Тщательно осмотрев их, Крук взялся за последнюю половинку с заметно упавшим настроением. Достав из стола лупу, он внимательно разглядывал мелкие осколки, но даже признаков наркотиков не находил. Недовольный Шевчук распорядился собрать все мелкие частички кирпича вместе с пылью и занести в лабораторию.

На следующее утро результаты анализа удивили обоих. Кирпич действительно был сделан более ста лет назад и никаких наркотических примесей не содержал. Крук без энтузиазма пошёл за остатками кирпича, который нужно было возвратить на почту. Забирая пакет, он пожаловался лаборанту на собаку:

– Пришла – полаяла, вроде что-то учуяла. Но сколько искали и всё даром.

Лаборант, услышав, что приводили ищейку, ужаснулся, но не подал виду. После ухода Крука из лаборатории он задумался, явно осознавая свою вину в этой кирпичной истории. В тот день он делал заключение составу нескольких пакетиков конопли, изъятой у задержанных преступников. Вспомнив, что у него кончились сигареты, как всегда захотел их стрелкнуть у Крука. Тот никогда не отказывал в этом. И подержав в своих руках кирпич, он даже не подозревал, чем всё это кончится. Подумав над этим, лаборант решил не признаваться никому в своей оплошности. Мало ли с кем не случается, тем более до пенсии недалеко, да и ни к чему теперь лишние заботы. Так всё осталось в тайне, не считая удивления со стороны Крука.

А тот в это время бережно упаковывал осколки в коробку, похожую по размеру на прежнюю. Приняв надлежащий вид и пройдя все почтовые процедуры, она помчалась к своему питерскому адресату. Через некоторое время, получив посылку, коллекционер был сильно удивлён и посчитал, что над ним просто посмеялись. Он, конечно, понимал, что Одесса – столица юмора, но не до такой степени. И когда Соломка, так и не дождавшись обещанного гонорара, позвонил напомнить за себя, то в ответ услышал от коллекционера всё, что тот о нём думал. Иван Ефимович решил, что его кинули, и он дела так не оставит, даже если придётся судиться. Коллекционер же приводил неоспоримые доказательства – осколки.

Отправляя посылку, Соломка пожалел денег на её оценку, и почта вернула ему только положенные пять гривен. А Иван Ефимович дал себе слово никогда не связываться с почтой. И ещё он решил создать свой музей старинного кирпича.

ВИКТОРИЯ КОЛТУНОВА

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС

рассказ

Стояло тихое ясное утро 25 августа 1986 года. Андрей складывал в рюкзак вещи, передвигаясь по комнате в одних носках, чтобы не разбудить мать. Она и так устаёт на работе. Проходя мимо кровати матери, задержался. Поправил одеяло, сползшее углом на деревянный крашенный пол. У матери было бледное, уставшее лицо, несмотря на то, что сегодня у неё был выходной, и она проспала всю ночь. В первую смену ей приходится идти в трамвайное депо к четырём утра. Транспорт ещё не ходит, и она идёт до депо пешком. Ей ещё целых пять лет до пенсии кондуктором пахать.

Когда Андрей вернулся со срочной службы, мать уговаривала его поступить в институт, но он отказался. Хотелось поскорее начать зарабатывать деньги. И он пошёл сверхсрочником, пусть на маленькую, но зарплату. Матери станет легче, думал он. А потом отбарабанит пять лет, и когда она выйдет на пенсию, он получит направление из части на учёбу. Стать военным — его давняя мечта.

А сегодня день просто замечательный. Подумать только, как она пролежала в земле больше сорока лет, эта бомба! И не взорвалась, никто её не зацепил, лежала, как затаившийся хищный зверь. Ржавая уже, старая, но по-прежнему злобная и опасная.

Бабулька решила посадить у себя во двореке на Молдаванке овощи в помощь к пенсии, раскопала дворик и у заднего забора заметила в глубине ямы красновато-ржавую круглую железку. Хорошо, что не стукнула по ней лопатой! Бабулька опытная была, всё-таки войну пережила. Побежала к автомату звонить в милицию.

Когда на плацу вызывали добровольцев, чтобы вывезти эту бомбу за город, Андрей первым шагнул вперёд. Это случай выдвинуться, подумал он. Никогда он не упустит удобный случай выдвинуться. До сих пор он помнил эту ноющую детскую боль. Боль, когда ему приходилось ходить в пятый класс в маминных туфлях на невысоких, но женских каблуках, и он прятал ноги под скамейку парты, чтобы никто их не видел. Когда мучительно стеснялся подшитых чем-то «чужим», как говорила мать, школьных брюк. Ощущение нищеты, своей приниженности, неполноценности сидело у него за грудиной, как железный гвоздь.

Теперь всё изменится. Его мечты не шли дальше должности майора и трёхкомнатной квартиры в пятиэтажке. Но в этой квартире, в главной «зале» будет обязательно сервант с хрусталём и ковёр на стене. Жена, трое детей. Он будет как все. Больше ему ничего не надо. Просто как все.

Бомбу везли в грузовике на растянутом одеяле. Андрей и ещё пятеро сверхсрочников держали одеяло за концы, чтобы бомба не взорвалась от тряски машины. Впереди и позади ехал кортеж из милиционеров на мотоциклах, они гудели, освобождая дорогу. Сапёры взорвали бомбу в открытом поле.

Девятерых, участвовавших в обезвреживании, наградили. По десять суток отпуска и по сто рублей. Вместо денег можно было взять путёвку на эти десять дней в военный санаторий. Все ребята предпочли деньги, радостно обсуждая, что на них можно купить. А Андрей, несмотря на то, что деньги в доме были не лишние, предпочёл путёвку. Ему казалось, что это, первое в его жизни пребывание в санатории — шаг наверх, в то общество, в котором он мечтал оказаться всю жизнь. Подумать только, там будут высшие чины, но он не будет у них в подчинении, ведь они все на отдыхе. Может быть даже, его посадят за один стол с офицерами.

Андрей уложил вещи в рюкзак и добавил туда фотоаппарат и несколько катушек плёнки. Фотик был подарком Светы на его двадцатилетие. Со Светой они сидели за одной партой в школе, потом встречались. Кроме Светы у него не было девушек, да Андрей как-то и помыслить не мог, что женится на ком-то другом. Он никогда не говорил ей, что любит, или прочие там нежности, но рыжая курносая Света была столь же неотъемлемым элементом его будущего, как трёхкомнатная квартира и сервант в главной «зале». Она в его жизни была столь же незыблема, как пятиэтажка.

Санаторий был похож на взрослый пионерский лагерь. Те же спальные корпуса, столовая, зал для собраний. Андрея поселили в комнате на четыре человека. Кроме него там были сержант, восстанавливавший своё здоровье после гепатита, и двое солдат из Афгана. Они же сидели с ним за одним



столом. Надежды попасть за один стол с офицерами не оправдались. Здесь царил та же иерархия. В одном корпусе, побогаче, высшие чины, в другом, беднее обставленном, состав попроще.

Всё равно Андрей был доволен. Еда казалась ему необыкновенно вкусной, фикусы в коридорах роскошными, плюшевые покрывала на кроватях нарядными и красочными, как в кино. Ради того, чтобы пожить вот так, пусть только десять дней, стоило рисковать с этой бомбой. Зато теперь он знает, что такое богатая жизнь и к чему надо стремиться.

На третий день его пребывания в сказке среди персонала поднялась суматоха. Нянечки всё скребли и мыли, сёстры бегали как ошпаренные, врачи собрались на совещание. К вечеру стала известна причина переполоха – к ним ехал генерал.

Как сообщил вездесущий сержант, сосед Андрея по палате, у генерала в Одессе оказались родственники и для того, чтобы общаться с ними, он вместо Коктебеля поехал в заштатный военный санаторий под Одессой.

Генерала поселили в отдельной, самой лучшей палате. За столом он тоже сидел один. И в манипуляционную, когда он заходил в неё, больше никого не пускали, пока он не выйдет. Наверное, ему там уколты делают, думал Андрей, а простому народу негоже смотреть на генеральскую задницу.

Генерал приехал со своим адъютантом, который должен был ему прислуживать и всё подносить, но видно, этот лейтенант изрядно генералу надоел на службе, и потому сразу же был отослан к таким же, как он, младшим офицерским чинам в их корпус.

Конечно, Андрей и в мечтах себя генералом не видел, понимал, что для этого у него кишка тонка, но вот на месте генералова адъютанта он бы оказался с удовольствием. Подумать только, этот лейтенант не рисковал своей жизнью как Андрей, чтобы оказаться здесь, но он пробудет в санатории не десять, а все двадцать четыре дня, пока здесь будет генерал, да и на службе, небось, не на плацу марширует, а всего лишь генераловы бумажки носит.

Андрей не рассчитывал, как бы оказаться к генералу поближе, но поскольку его как магнитом тянуло рассмотреть, какова же она, генеральская жизнь, то он невольно постоянно находился там, где тот. Наконец, ему пришла в голову замечательная мысль. Он попросит сержанта сфотографировать его Светиным фотиком таким образом, чтобы было видно, что неподалеку от него находится генерал. Потом будет эти фотки показывать всем знакомым и рассказывать, как оказался в санатории с генералом. Что-нибудь можно будет даже приврать.

Сержанту мысль понравилась. Он попросил, чтобы Андрей и его так же сфотографировал.

Несколько раз они поймали хороший ракурс, так, чтобы и генерала было хорошо видно и их тоже можно было различить. Отщёлкали одну пленку и пошли в город проявить. Сделали снимки. Отлично!

Андрей доедал борщ, когда вдруг почувствовал, что его ухо тянут вверх и выкручивают. Он скосил глаза и увидел, что его тянет за ухо генерал.

– Ты чего это, мать твою, за мной ходишь?.. На губу захотел?

Андрей обомлел от страха. Не от перспективы «губы», а от того, что его туда собирався посадить сам генерал! Не какой-нибудь капитанишка!

От растерянности он рассказал всё. Никакое враньё в голову не лезло. Наверное, генералу понравилось, что парень не врёт, возможно, ему польстила такая в его чин влюблённость, а возможно, он увидел себя, далёкого, в этом простом, как грабли, пареньке с веснушками на носу и щеках. И неожиданно, растрогавшись, он сам предложил сфотографировать его с газетой под пальмой в кадке и потом смотрящего вдаль с веранды на море.

Домой Андрей уезжал довольный и счастливый. Мать и Света оценили его фотографии, но неожиданно для самого себя он не стал ими хвастать в части и вообще нигде. Ему показалось, что эти фотографии не принадлежат его прошлому. Они принадлежат его будущему. Они – тайный знак того, что когда-нибудь он войдёт в высшее общество. Может, даже не остановится на чине майора, а уйдёт в отставку полковником. И вот тогда будет показывать внукам эти фото и небрежно ронять: «Это было... Я получил тогда путёвку...»

Прошёл год. И однажды Света влетела в комнату с расширенными глазами: «Андрюха, твой генерал министром обороны стал!» Включили телевизор. Дождались новостей. У дверей министерства давал репортёрам интервью Андрейкин генерал, несколько раздобревший, в форме с лампасами и большими звёздами на погонах.

Андрей посмотрел на эти звёзды, и в голове у него мелькнуло: «Звёздный час. Это мой звёздный час!»

Он объяснил Свете свою задумку. Надо купить красивый альбом для фото. Поместить фотографии генерала. Поехать в Киев, встать у министерства, дожидаться, когда он выйдет, и подарить ему. Генералу будет приятно увидеть себя на год моложе, под пальмами и на море. И тогда у Андрея будет самое что ни на есть высокое знакомство. Достаточно будет сказать: «Я подарил нашему министру...» И вообще, альбом напомнит министру об Андрее, и кто знает, как сложится его судьба. Такое знакомство не может не пригодиться. А если удастся подойти к нему, когда он даёт очередное интервью, репортёры заснимут и его, Андрея.

Свете идея понравилась. Они вместе пошли в магазин и купили роскошный альбом за сорок рублей. В лиловой бархатной обложке. Разместили фотографии Андрея вместе с генералом, генерала одного под пальмами и на море. Тут же поехали на вокзал и взяли билеты в Киев и назад.

Ночью Андрей лежал на верхней полке, улыбался, и колёса выстукивали: звёздный час, звёздный час...

Стояло тихое ясное утро 25 августа 1986 года. Сергей складывал в рюкзак вещи, передвигаясь по комнате в одних носках, чтобы не разбудить мать. Она и так устаёт на работе. Проходя мимо кровати матери, задержался. Поправил одеяло, сползшее углом на деревянный, крашенный пол. Отца со вчерашнего вечера не было, небось, придёт, как всегда пьяный, начнёт буяннить. А Сергея уже не будет дома, чтоб её защитить. Автобус через час. Ему ещё надо успеть дойти до автовокзала. Сергею оставался год учебы в Харьковском среднем училище МВД. Вот через год закончит и пойдёт работать в милицию. Попросит назначение домой, в Одессу. Поселится с мамой. Если она захочет выгнать вечно пьяного папашу, возражать не будет. А если не захочет, то, во всяком случае, будет, кому за неё постоять. Сережа потому и пошёл учиться на мента, чтоб избавиться от постоянного липкого страха перед буйным папаней. Когда был маленький, боялся его до дрожи, до того, что писался, когда слышал стук в дверь и грозный рёв: «На-а-адька! Открывай, твою мать!..»

Впрочем, от страха он избавился в тот день, когда ему исполнилось восемнадцать. Сергей был небольшого роста, но крепкий. И когда отец в тот день бросился, как всегда, просто так, от нечего делать, бить его, Сергей вдруг заревел как бык, наклонил голову и пошёл на отца. Схватил его за руки и швырнул в угол. Отец ударился головой об угол батареи под окном, брызнула кровь, мать завизжала. Больше отец к нему не прикасался. Зато вымещал свою злобу на матери вдвойне.

Но сознание незащищённости осталось в Сергее, казалось, навечно и требовало какого-то разрешения. Он думал, что профессия мента позволит ему, в конце концов, избавиться от гнетущих впечатлений детства, от какого-то ощущения открытой спины, когда кажется, что кто-то стоит сзади и в любой момент может ударить. Он зубами выгрызет лестничку наверх, поднимется по ней, станет большим милицейским начальником, и тогда уже никто не посмеет ни ударить его, ни оскорбить. Мать кивала, когда он делился с ней своими планами, тихо радовалась, что растёт её защитник, радость её, кровинушка.

В Харькове Сергей первым делом пошёл в училище, взял распределение на общежитие. Сыновьям тех, кто мог оплачивать съёмную комнату, общежития не полагалось. А Сергею, как малоимущему, пожалуйста. Койка в общежитии. И то хорошо. Этот последний год проживёт в общежитии, потом они с Катей поженятся, и надо будет думать о собственном жилье. Забрать Катю домой в Одессу? Но там пьяный папаня. И не в том дело, что папаня не даст им спокойно жить, мать ради Сергея расстанется с ним, Сергей в этом не сомневался. А квартира числится на матери, выставить его будет легко. Да ведь и Сергей не будет тогда курсантом. Может, повезёт, и он сразу попадёт в участковые? Тогда справиться с папаней ему будет не фиг делать. Но проблема была в том, что Катя не знала, что отец пьёт. Сергей стеснялся этого и Кате не говорил. Она несколько раз просилась к нему на море, в Одессу, Сергей под разными предлогами отказывал, и Катя уже начинала обижаться. Она не могла понять, почему он не знакомит её со своей роднёй. Вроде же у них всё серьёзно.

Сергей отдал комендантше направление, нашёл свою комнату, закинул рюкзак под койку и отправился к Кате. Он не сообщил ей, что приезжает, хотел сюрпризом. Однако сюрприз ждал его.

Вид у Кати был, как говорила мать, заклопотанный. Особой радости она при виде Сергея не выказала, и он сразу насторожился. Его месяц не было в Харькове, а ну как она встретила кого-то лучше, чем он? Однако Катя прильнула к нему, обняла и он оттаял. Значит, не в том дело. Оказалось, Катя беременна.

Они, конечно, планировали детей, мечтали о них, но этот вопрос встал как-то неожиданно и не вовремя. Сергею ещё год в ментовском училище, Кате ещё два года в швейном. А ребёнок по всем расчётам должен родиться в марте. У Кати родителей нет совсем, она детдомовская. Отвезти его к Серёжиной маме? Та была бы рада внуку, но куда его везти, в это логово пьяного зверя? Даже опасно для малыша. Впервые Сергею пришлось признаться Кате в том, что его отец запойный пьяница и не раз лечился от белой горячки.

Она, бедная, и так нервничала, как Сергей воспримет её новость, ей было странно и подозрительно, что он ни разу не отвёз её к себе домой, в Одессу, к родителям. А тут ещё беременность. Но когда он объяснил всё, ей стало легче.

Вдвоём они долго обсуждали создавшуюся ситуацию и пока к единому мнению прийти не смогли. Сергей настаивал, чтобы Катя взяла отпуск в училище или бросила его совсем. Я тебя и так прокормлю, обещал он. Катя боялась. Детдомовская, она привыкла полагаться во всём только на себя. Так, ничего не решив, они разошлись.

Назавтра Катя у него не появилась. В её общежитии девчонки только мотали головами, — ничего не знаем. Разбирайтесь сами. Сергей интуитивно почувствовал, какое решение приняла Катя, и не знал, то ли вздохнуть с облегчением, что она взвалила этот воз на себя, то ли расстраиваться. Катя появилась через три дня, бледная, и по обоюдному негласному договору они о главном вопросе не заговаривали.

Всё пошло своим чередом.

Прошёл год. Сергей окончил училище. С Катей они договорились, что она ещё год проведёт в Харькове, в своём швейном, потом они поженятся, и он её заберёт, наконец, к себе. Но на распределении произошло нечто неожиданное.

Сергей рассчитывал получить назначение в Одессу, к родителям. У матери был диабет на нервной почве, Сергей предоставил об этом справку и вполне законно мог отправиться к матери. Его мечтой было место участкового в своём родном Приморском районе. Но вдруг ему как отличнику предложи-



ли место в Киеве. Он попросил тайм аут и побежал советоваться с Катей. С одной стороны, ему хотелось вернуться в Одессу, чтобы защитить от отца маму. С другой стороны, Киев – это карьера. Это куда более быстрый путь наверх. А он твёрдо знал, что и на месте участкового не задержится. Он найдёт способ отличиться, затем поступит на заочный юридический, продолжая службу, и пойдёт расти. Только бы зацепиться за что-то. Киев – это уже зацепка. А как помочь матери, он придумает. Сергей подписал назначение в Киев.

Сергей шёл за министром в охране и думал о Кате. О том, что осталось немного, и они будут вместе. Надо только дождаться какого-то случая, чтобы выделиться, пробиться наверх.

Улица была почти пустынная, недавно прошёл дождь, и на тротуаре стояли лужи. Генерал прогуливался не спеша, у него болела спина. Отложение солей уже несколько лет давало себя знать. Вдруг слева он заметил чей-то силуэт, и тут же к нему подбежал какой-то парень. Лицо его показалось смутно знакомым. Но не настолько знакомым, чтобы не испугаться. Слишком резко он бросился к генералу. Тот отшатнулся.

Сергей заметил этого парня, когда тот ещё стоял на тротуаре с квадратным предметом под мышкой. Что-то в нём насторожило Сергея. Слишком он внимательно смотрел на приближающегося генерала. Сергей изготвился. Если что, он готов к любому варианту. Если что, это будет его звёздный час, он покажет всем, на что он способен.

Парень рванулся к министру. Так и есть, инстинкт Сергея не обманул. Одним прыжком он подлетел к нападавшему и с силой, как его учили в боксерской секции училища, нанёс ему удар в челюсть. Парень отлетел на два метра и хлопнулся на асфальт. Кулак Сергея заныл, но он был счастлив. Настал его звёздный час, судьба дала ему шанс выделиться! Генерал этого не забудет!

Из рук парня вылетел альбом, упал на землю, и из него посыпались какие-то фотографии. К нему тут же подлетели бравые хлопцы, завывла сирена милицейского бобика, парня схватили и затащили внутрь. Сергей потирал нывший кулак. Вроде тот парень ничего плохого не думал, какие-то карточки хотел показать. Ничего, в райотделе разберутся. Генерал уже пришёл в себя от неожиданности, пожал руку Сергею и продолжил свой путь.

На асфальте, втоптаннные в грязь, остались лежать фотографии с пальмами, улыбающимися лицами и сверкающим морем на заднем плане.

«МЕГАФОН»

АВТОГРАФ НА КНИЖКЕ

Евгений Анатольевич Попов родился в 1946 году в Красноярске. Первая значительная публикация – журнал «Новый мир» с предисловием Василия Шукшина. В 1978 году был принят, а спустя семь месяцев исключён из СП СССР за участие в неподцензурном альманахе «Метрополь», для которого составил первую большую подборку стихов Владимира Высоцкого. Был автором и составителем альманаха «Каталог» (США), в знаменитом издательстве «Ардис» выпустил книгу «Веселие Руси», после чего долгие годы не публиковался. Кроме прозы опубликовал пьесу «Хреново темперированный клавир» (поставлена в Амстердаме). Член Русского и Шведского ПЕН-клубов. Лауреат нескольких литературных премий. Совсем недавно Евгений Попов выпустил в издательстве «Вагриус» свою самую музыкальную книгу «Опера нищих» (главные партии исполняют Гдов и Хабаров). Кстати, сам Попов любит называть себя сочинителем, а ведь буквальный перевод слова «опера» – сочинение. Совпадает.

Евгению Попову многое удаётся... От души, с радостью и надеждой желаю молодому писателю выносливости и успеха. И хоть немного – удачи. Литературная судьба его, наверно, будет нелёгкой.
Василий Шукшин, 1972.

На великой реке Замбези с незапамятных времен обитает племя банту, которое свято верит в «исико», то есть в то, что каждый человек имеет право смотреть в лицо другому и равен остальным. По-моему, это пересекается с пожеланием «самого весёлого анархиста современной российской словесности» Евгения Попова, который неоднократно желал всем нам «смотреть действительности в лицо – не мигая». Во всяком случае, так делают герои его произведений, которые вполне смогли бы понять вышеозначенное племя, если бы последнее каким-то образом оказалось в Москве или в городе К., стоящем на берегах могучей реки Е., что несёт свои воды вверх по карте к малоподвижному океану Л., как любит писать родившийся в Красноярске человек, сочиняющий неожиданные книги, в которых раблезианский мир советского и постсоветского абсурда заморачивается под одним переплётком.

А ещё Евгений Попов – страстный путешественник. Помню, на одном из вечеров в литературной гостиной СП Москвы он рассказывал, как ездил в командировку от газеты «Гудок», какие завихрения случались с ним на станции то ли Чупа, то ли Чуба, повествовал о жизни русских глубинков и сам становился то ли Гдовым, то ли Хабаровым... Иногда я ловил себя на мысли, что перестаю следить за нитью повествования, а упиваюсь интонацией автора и даже в какое-то мгновение мне захотелось, чтоб сейчас из-за воображаемых кулис вышел Юрий Казаков и стал подыгрывать на контрабасе (а ведь Ю.К. действительно играл в джазовом ансамбле перед сеансами кино в послевоенное время). Но вместо этого на сцену вышел поэт Владимир Салимон и сказал: «Мой друг Попов присылает мне из разных городов открытки, это стало традицией. И сегодня я хочу продемонстрировать эту печатную продукцию вам». Присутствующие приготовились услышать названия разных уголков России, о которых так живо говорил прозаик. Но... Салимон с загадочной улыбкой марокканского факира показывал открытку за открыткой и комментировал: «Флоренция, Глазго, Пекин, Венеция, Биарриц, Бер-лез-Альпс...» По залу поплыли улыбки. Невозмутимый поэт продолжал в том же духе, но вдруг сделал большую паузу и, показав последнюю, произнёс: «Абакан». Зал облегчённо вздохнул и рассмеялся...

Е.Ч.: Как-то вы сказали: «Человек никогда не бывает счастлив...» В этом слышится известное пушкинское «на свете счастья нет», но у поэта есть успокоительное дополнение «...покой и воля». Как у вас с этим, Евгений Анатольевич? Может быть, вы и насчет «счастья» переменили мнение?



Е.П.: Я ещё не настолько сошёл с ума, чтобы спорить с Пушкиным. Поэт, как всегда, категорически прав. «Покой и воля» — лучше не скажешь. С волей у меня всё в порядке, потому что за всю жизнь меня ни разу не посадили. Покой — состояние дискретное, это когда к тебе никто не лезет и плешь не грызёт, когда ты можешь быть самим собой и не обязательно в одиночестве, а в компании, например, друзей и подруг. Или сочиняя что-нибудь. Слушая музыку. Насчёт счастья — мнение моё неизменно.

Е.Ч.: Как получилось, что вашу первую вещь предварил своим текстом Василий Шукшин?

Е.П.: Когда у меня в 1976 году вышла эта публикация, я получил множество писем, где читатели спрашивали — как это покойник с того света (Шукшин умер в 1974 году и в 1976-м находился в зените своей посмертной славы) ухитрился написать мне предисловие. На первый десяток писем я осторожно отвечал, что, понимаете ли, товарищи, таковы условия нашей литературной жизни, он вообще-то писал предисловие ещё в 1973-м, для журнала «Байкал», но мою публикацию запретили вместе с его предисловием, и в «новомирской» публикации выкинули из предисловия несколько его «острых» фраз. Например, пророческие слова о том, что моя литературная судьба «не будет лёгкой». Я с Шукшиным тогда ещё не был знаком, но меня поразило, что он мгновенно прочитал переданные ему моими доброжелателями рассказы и через две недели прислал мне предисловие. Повторяю: незнакомому человеку. Сейчас на это вряд ли кто-нибудь из нынешних мастеров слова способен. Это уж потом у меня с ним были встречи, последняя — за несколько месяцев до его ранней смерти. Он ведь и в другие журналы меня рекомендовал короткими записками, да только время было такое пёсёе, что меня и там не печатали. Он мне рассказывал, что и его собственные публикации всегда проходили «со скрипом», несмотря на всю его киношную известность и лауреатство, мы о многом успели поговорить. Именно он мне посоветовал, чтобы не пропасть, уехать из Сибири в Москву. А когда я робко сказал, что здесь по редакциям сидят одни волки, Шукшин жёстко улыбнулся и возразил: «Какие волки? Волк — благородное животное. Не волки, а шакалы...» (и добавил неприличное прилагательное).

А что касается тома его избранных рассказов, выпущенного роскошно, с картинками, в дорогом переплётёе, ограниченным тиражом... Это увлекательная была работа — ведь некоторые реалии той жизни нынешнему читателю, особенно молодому, неведомы. Равно как и сибирские словечки, сленг, жаргон зачастую недоступны русским европейцам, ведь Сибирь — особая страна. Я с опаской взялся перечитывать любимые мною шукшинские рассказы и был поражён — совершенно не устарело! Он — мощный писатель, с огромной внутренней энергией, что в наше аморфное время — редкость. И писатель развивающийся. Я уверен, он бы много ещё чего написал великолепного и неожиданного. Вот почему мне иногда смешны важные литературные споры и новоявленные гении.

Е.Ч.: Недавно ушли навсегда такие близкие вам люди, как Дмитрий Пригов, Роман Солнцев, да и Виктор Астафьев не так уж давно покинул пределы земные...

Е.П.: Это ужасный был год, одна за другой потери... На месте каждого из упомянутых вами в моей душе пустота. С Дмитрием Приговым мы вместе хлебали горя, когда нас сразу после Олимпиады-80 таскали на Лубянку, обыскивали, выносили гзбэшные так называемые «прокурорские предупреждения» за «Каталог», который, как и «Метрополь», был чисто литературным мероприятием, вне всякой этой «политики». Пригов даже стал героем моего романа «Душа патриота», где описаны приключения двух писателей андеграунда, которые в день смерти Брежнева пытаются пробраться к его гробу, выставленному в Колонном зале, дабы лично убедиться, что того, кто там был, больше нет. Солнцев, замечательный поэт, драматург, прозаик, культуртрегер — другая боль и утрата, мы дружили более сорока лет. С Виктором Астафьевым я чаще встречался в Москве, чем в Сибири. Помню, как он, депутат, Герой Социалистического Труда, демонстративно покинул последний съезд Союза писателей, и я его вёз по летней Москве в гостиницу... Иногда он останавливался отдохнуть у нас в квартире на своём пути из Красноярска куда-нибудь, где его ждали — внутри страны или за границей. Я познакомил его с кинорежиссёром Вадимом Абдрашитовым, когда фильм «Время танцора» принялись долбать за антипатриотизм. Вмешался Астафьев, назвал фильм «гениальной историей любви», и свора критиков отстала от Вадима. Был я как-то и у него в Красноярске, где он жил, несмотря на свою всемирную известность, в простом панельном доме. В Овсянке, его родовом селе, побывал только после его смерти. Я недавно вернулся с первой Красноярской ярмарки книжной культуры, где вёл «круглый стол» под названием «Красноярск — литературная столица Сибири». В том, что мой родной город удостоился такого звания — заслуга Романа Солнцева и Виктора Астафьева. Именно они определяли культурную атмосферу в городе, создали единственный на всю страну Литературный лицей, журнал «День и Ночь», вокруг них «кучковались» красноярские литераторы, ныне известные на всю страну — Эдуард Русаков, Михаил Успенский и др. Астафьев с годами писал всё лучше и лучше. В романе «Проклятые и убитые» он так описал войну, как никто до него этого не делал — ни на Западе, ни на Востоке...



Е.Ч.: Кого вы считаете своими учителями в литературе, музыке, живописи?

Е.П.: В литературе – Аксёнов и Шукшин. К музыке меня пытался приучить дирижёр Евгений Колобов, основатель «Новой оперы». Всё, что я понимаю в живописи – следствие моего многолетнего общения с художниками: Андрей Поздеев из Красноярска, которого многие считали городским сумасшедшим, а теперь в центре города ему поставили памятник и за его картины борются престижные музеи и галереи, живущие в Париже Эрик Булатов и Илья Кабаков... А вообще-то я и «передвижников» люблю, особенно картину Ярошенко «Всюду жизнь». Помните? Где эски царского режима голубей пшеном кормят.

Е.Ч.: Вы много путешествуете. Безусловно, ещё Гоголь отмечал, что писатель должен «проездить по России», однако всё должно быть в меру...

Е.П.: Я не турист и терпеть не могу «пляжный отдых». Когда я езжу, то работаю: читаю лекции, коплю впечатления для новых книг. На шведском острове Готланд, где всё напоминает о кинорежиссёре Ингмаре Бергмане, жившем рядом, на острове Фаро, я писал прозаическую часть романа «Мастер Хаос», над его «документальной» частью работал в Будапеште. Следствием пребывания в Баварии стал роман «Накануне накануне». В Берлине я сочинил роман «Подлинная история «Зелёных музыкантов». В этих местах я обретал тот самый покой, о котором говорил выше. В Лондоне посчастливилось встретиться, поговорить и выпить немало красного вина с Иосифом Бродским. Он поразил меня тем, что был прекрасно осведомлён о самых мельчайших подробностях нашей литературной жизни, знал даже и не самые известные имена поэтов и прозаиков, особенно питерских. Я много раз встречался в Кёльне со своим другом Львом Копелевым, который стал в Германии национальным героем, его имя в Кёльне знал каждый таксист... В Румынии я познакомился с классиком XX века Аленом Роб-Грийе, и он даже запомнил мою фамилию. Легендарный сценарист фильма «Прошлым летом в Мариенбаде» в свои восемьдесят лет тоже, кстати, не чужд был спиртного, в моём присутствии изрядно «взял на грудь». Я это не для хвастовства рассказываю, но факт есть факт: я их знал, и они меня знали. В сущности, ведь все люди, даже самые сложные, на самом-то деле простые. В Болгарии после телевизионного выступления мы ехали по шоссе с поэтом Георгием Борисовым, и когда нас остановил их гаишник за превышение скорости, мой друг стал плести обычное водительское: «Едем на встречу к президенту, это известный русский писатель...» – «Какой ещё писатель?» – обозлился тот, но, заглянув в машину, подобрел и сказал: «А... Это ты, который пишет про Бога, баб и водку, я тебя сейчас видел по ящику». За автограф на книжке мы были мирно отпущены. Но в России сейчас куда интереснее, чем на Западе, несмотря на все сложности нашего существования.

Беседу вёл Евгений Чигрин

ВЛАДИМИР ПУЧКОВ

ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА

ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ

Многослойного хвойного неба качнётся изнанка —
в ненадёжную кладку подошвами вцепишься ты.
Как поганка, сквозь хвою проткнётся консервная банка —
но рванут её ветки, с размаху швыряя в кусты!

Ах, лесные качели!.. Зеркальным законом влекомы,
подмосковные ели шатаются, как метрономы,
и в согласии с ними мы чертим скользящие дуги,
и толчками дыхания себя растворяем друг в друге...

Всё длиннее разгон! Рыжий воздух, как хвоя, спрессован,
и колючей штриховкой небесный навес прорисован,
и летят, чередуясь, в застойной полуденной суши —
проржавевшие ёлки и наши зелёные души.

Встали дыбом качели! Верхи и низы перепутав,
бьёмся в тесной ловушке — меж двух параллельных батутов:
многослойное небо пружинит уже под ногами,
одряхлевшая шишка летит, растопырясь, в зенит —
и пробойна вмиг зарастает густыми кругами...
Остаётся лишь точка, откуда кузнечик звенит.

Как палаточный полог — туман предрассветный открою:
у матёрого ельника — в свежих подпалинах хвоя,
молодая грибница маслят, не родив, схоронила —
не пустил разродиться забытый лоскут хлорвинила.
И на точке секретной фиксирует ухо радара,
как в котомке у лешего пусто звенит стеклотара.
И кукушку заело: колотится, счёт перепутав,
меж землёю и небом — меж двух параллельных батутов!..

МЕРТВОВОД

Крытый замшей гранит и чумацкого утра рассол.
Край ущелья кренит валуна ледниковый мосол.
И разлуку таит не толящая жажду вода.
По веревке — в аид... Я тебя не найду никогда.

Веет ветер высокий, и слабое сердце болит,
зуммерит над осокой опухший от спячки нуклид,
а из каменных сот неотрывно глядят за тобой
то обглоданный глуд, то убойный цветок зверобой.

По равнине, в рванине – влекло эти воды весло,
чтобы в тесной стремнине их корчью падучей свело.
Что мне хлеб на меду, родника искряная слюда! –
в преисподнем саду я тебя не найду никогда.

На откосе крутом в тощем русле шуршат будяки.
Перевиты жгутом сухожилия мёртвой реки.
Но клокочет поток, рванный нором по норам тая,
как плетённый батог, как змеиного тела струя!

На железную клямку ущелье замкнёт вертолёт.
Как аптечную склянку – храню в рукаве Мертвовод.
И шиповника след – поцелуя отравленный грош –
рдеет эхом в ответ: ты меня никогда не найдёшь...

ЛЬВОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Я люблю этот город, его снеговые холмы,
тесноту переулков с ванильным настоящим бытом,
и лепнину карнизов, и звон ледяной бахромы,
и парной чернозём, что под вечер густеет, как битум.

В малом сквере треуголом хрустел подмороженный март,
ранний сумрак таился в еловых негнущихся лапах,
но троллейбусный свист настигал, как ловецкий азарт,
и катился по снегу кофейни тропический запах!

Над калёной жаровней рождался невидимый чад,
нескончаемый вечер был крепок, и сладок, и чёрен...
Ты сидишь, посмуглев, ты молчишь, потерявшая счёт
черепашкам – из чашек ползущих –раздвоенных зёрен.

Ты навстречу спешила, не слыша хулы и молвы,
ускользала из дому, таясь всё хитрей и коварней,
и над нами неслышно парили крылатые львы –
над любовью моей, над возлюбленной нашей кавярней.

Я люблю эту площадь, где сквер, и кофейня, и ты,
я люблю этот Киев с его снеговыми холмами,
где горит общепита очаг и, доньне чисты,
два крыла бескорыстных невидимо плещут над нами.

НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ

Дороги скоростью светились,
во мраке две звезды дрожали.
Они с небес ко мне скатились,
и обе – за руки держали.

А я летел, не зная знаков!
Когда шоссе меня стяхнуло,
одна – отпрянула, заплакав,
другая – в ужасе прильнула.

В палате пахла маттиола,
горели нити вполнакала.
Одна – укорами колола,
другая – руки целовала.

И покрывалась белизною,
со мною вместе угасая.
Одна была моей женою.
Моей звездой была другая.



ВЕРА

Укрой, сохрани и обрадуй,
соцветья крест-накрест сведя,
сирень за церковной оградой,
тяжёлая после дождя!

Где в кронах полночного сквера
горит золотое шитьё,
забудь, одноклассница Вера,
суровое имя своё!

Летит, лепестки обрывая,
ночные сверлит облака
окраинный рокот трамвая,
сухой вибровывоз сверчка.

Под этот нехитрый оркестрик
целую меж тёмных ветвей
налипший сиреневый крестик
над вырезом блузки твоей.

Архангел нас ловит на слове
в небесные горны трубя...
У Веры – упрямые брови
и взор, устремлённый в себя.

Губами, как порох, сухими,
забыв про еду и питьё,
всё шепчет заветное имя,
суровое имя своё.

ВСТРЕЧА НА СТОЯНКЕ ТАКСИ

Ты вновь эту руку целуешь,
повинной склонясь головой.
– Любовь, у кого ты ночуешь?
– У добрых людей, мой родной.

Ты скомкано и торопливо
бормочешь любезный пустяк:
– Любовь, ты всё так же красива...
– Неправда, мой милый, не так.

И стайка морозного пепла
отпархивает от колёс!..
– Любовь, от чего ты ослепла?
– От слёз, моя радость, от слёз.

ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА

Словно волны о берег, шуршат мотыльки о стекло,
в разноцветных палатках галдит незнакомое племя...
Если скажут мне скоро, что время моё истекло, –
попрошу, как в хоккее, считать только чистое время.

Все авансы истратил. А кажется, было вчера...
Не осталось уже никаких отговорок и пауз.
Плещут чистые волны, как чистое время. Пора
ладить лёгкую лодку, проветривать латаный парус.

Нынче сеть пересыплю, хозяйке забор почию,
над бессонным лиманом глотну грозового озона...
Сплошь в огнях берега!.. И яснее теперь, почему
всё тесней и бесценней моя заповедная зона.

ОБЖИНКИ

Молчу, обжёгшись о традицию:
горит пожнивная стерня,
сухую землю отродившую
ползучим заревом черня.
В соломенные переулочки
погромный гул валит, пунцов –
вздывают крылья перепёлочки,
сзывая огненных птенцов!
И, судорожно вздёрув плечики,
посмертной ногою звеня,
из-под колёс летят кузнечики
живыми брызгами огня!
Спешат уйти ежи и полозы
в застенки брошенных кошар,
но им навстречу лесополосы
сухой прикапливают жар –
и золотыми виснет сотами
воспламенённая листва,
и дымными коловоротами
уходят в небо деревья!
Моё пристанище порушено:
гляжу из дымной пелены –
холмы ольвийские в Парутино
дурным огнём опалены!..
О чём молчим ночами лунными
на плоской тверди нежиллой?
Мы были гетами и гуннами,
а стали хлебом и золой.
Пока ножи за голенищами
голодной завистью горят,
мы будем вечно полунщиками –
косоворотный продотряд!
Кочуй, кучумье племя хамово –
подножный прах взойдёт с нуля...
На сотню вёрст, до моря самого, –
горит, горит, горит земля!

ГАННА ШЕВЧЕНКО

КАЧАЯ КРЫЛЬЯМИ КАНОЭ

Здесь ничего не происходит, застыли стрелки циферблата,
в окне застыли занавески, застыли лацканы халата,
застыла женщина в халате, забыла выпить витамины,
застыл щенок эрдельтерьера под имитацией камина;

здесь ничего не происходит, товар на полках залежался,
охранник возле первой кассы прозрачен, словно не родился,
момент сезонной распродажи для потребительской корзины
мгновенно съёжился в пространстве недорогого магазина;

здесь ничего не происходит, река и та исчезнет скоро,
лежит, как лента неживая, у горла стягивая город,
и только ветер налетает, качая крыльями каное,
здесь ничего не происходит,
а если что-то происходит,
то не со мною,
не со мною.

НЕГРОМКО

Как день неподвижен, как воздух летуч,
окно живописнее фрески,
окрашено небо подборкою туч,
но тянутся вниз занавески.

Два стула, комод, телевизор, кровать,
гибискус, растущий наклонно –
мне в комнате этой дано проживать
негромко и уединённо.

В окне проплывают небес лоскуты,
синица скользит по карнизу,
так хочется лёгкости и чистоты,
но небо испачкано снизу.

Я эту ткань не выбирала,
меня к ней женщина пришила,
она полдня меня рожала,
затем в коляску положила.

А я лежала и смотрела,
как мир баюкался устало,
как грудь в халатике пестрела,
как молоко в ней закипало.

Ах, мама, мамочка родная,
твои лекала неказисты,
мне ткань досталась набивная,
но напортачили стилисты.

Я вещь полезная для дома,
я мою окна и посуду,
я с миром моды не знакома
и никогда уже не буду.

Ведь жизнь летит, и очень скоро
я стану бабушкой корявой,
меня, как выцветшую штору,
в комод на тряпочки отправят.

Мне в детстве было многое дано:
тетрадь, фломастер, твёрдая подушка,
большая спальня, низкое окно,
донецкий воздух, угольная стружка.

Когда на подоконнике сидишь,
то терриконы сказочней и ближе,
мне нравилась базальтовая тишь
и мёртвый флогер на соседней крыше.

А за полночь, сквозь шорох ковыля,
сквозь марево компрессорного воя,
подслушивать, как вертится Земля,
вращая шестерёнками забоя.

ПРО ВАЛЕРУ

Валера живёт возле мусорных баков,
копается в хламе, как кладоискатель,
живущая рядом большая собака
его понимает, как добрый приятель.

Валера безумен. Ведёт диалоги
то с тополем старым, то с новым забором,
то с мышью в своей деревянной берлоге.
Я слышу его обращенье, в котором

Валера на чай приглашает соседа:
«Я чайник поставил, нажарил картошки,
тепло в моём доме, проведайте деда,
зайдите ко мне, поболтаем немножко».

И стонет, и воеет, и плачет как будто,
и словно рукой раздвигает портьеры,
и пальцем елозит по векам надутым.
Зайду на минутку, тепло у Валеры.



ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО

Алиса, ты меня помнишь, мы лежали с тобой вдвоём
в больнице. Ты помнишь? Я – Юля, Грибкова Юля.
Алиса, ты меня слышишь, ответь мне, приём, приём!
Мы тут все в шоке. Нас, кажется, обманули.
Вы обещали, что Мила станет врачом,
а она торгует, держит точку на «Черкизоне»,
Фима бухает, Герасимов стал бичом,
я растолстела, Сулима сидит на зоне.
Что у вас там случилось? Вы проиграли войну?
Спаси, сохрани нас, Господи, твоя воля.
Пираты сбежали, или ещё в плену?
Ведь им ничего не сказал истерзанный мальчик Коля.
Алиса, ты меня слышишь, ответь мне, приём, приём!
Наш мир завоевали Крысы с Весельчаками.
Но мы ещё терпим, мы дышим, живём и ждём,
что скрипнет белая дверь в заброшенном доме
с высокими потолками.

Всё будет хорошо,
пока ещё мы живы,
пока горит блесна
от тяжести наживы,
пока течёт река,
пока не рвутся сети,
пока несёт рыбак
Вселенную в пакете,
пока горчит икра
крупницами сомнений,
пока готовит мать
уху по воскресеньям,
пока не тает свет
за шторою кухонной,
пока не умер Бог
за маленькой иконой.

АЛЕКСАНДР САМАРЦЕВ

ДВЕ ЗАРИ НА КАЧЕЛЯХ

ХРАМ

В бочку с дождливой плесенью капнули купола
тяжесть не перевесила нежность не извела
дверь лебедой опутана сланцево голый пол
сдвинутое задутое крестное я привёл
пламя родства к угрюмейше гордым надбровьям стен
кто же всем этим умершим плакальщик и рентген
Каменец Кодня Коростень – тесен стручок имён
из говорливой поросли я в брехуна клеймён
а высоко ли плохо ли – молния взвидит грязь

Встали расколы во поле вслед за лозой виясь
не бородёнкой пращура меря жирный шаг
спящий иди на спящего войны давя в кулак!
...Клонись ли калечишься всё полыхает сном
за голубиной нечистью – светлая пыль подъём!
Надо ль не надо – сватая с гарью сердец елей
и светотень несжатая вспрянь ото всех щелей
хмелем дыша на обручи дальше под скрип дверной
плыть как распутья отчие щёки набив травой

Смерть кончается рифмой
две зари на качелях
за околицей-кривдой
мягко кто мне так стелет
подоткнув одеяла
стрекотаний усталых
их всегда обеляла
соль степная в суставах

Взмывы тросов безумны
чем зажать амплитуду
Я боюсь твоей урны
ты ж легка отовсюду
вплоть до пыли до спама
до внезапных затиший
смерть кончается мама
сам не верю что слышишь



А. Паршикову

Вдунь зима-перевёртыш второе дыхание роз:
 лепестки на билборде модельную ню спеленали
 отодвинута родина гул её к рельсам примёрз
 я конечно вернусь но с тоской по тому биеннале
 Ароматную нишу из опции «всё включено»
 еле-еле донёс под моргание камер слежения
 упрекну путеводней: порхаешь мол всё кочевю
 всё как с гуся в прибыток вода замерзая свежая ль

... Чуден голос обидчив свербит а неведомо чей
 штампом кислого кельша билет уничтожен обратный
 – Нереальную давность хороший мой лей-не разлей
 виртуоз поскользнуться «жилетом» царапнув как дратвой
 Но просветами жалюзи алое встало ребром
 скоро-скоро зима заневестится и передразнит
 свой стерильный плакат свой рекламный немецкий роддом
 где меня пробивали по базе с прицелом на праздник

Он расцвёл он застиг вопреки мятежу вдребадан
 угол штрассе к вокзалу и роз обнажающих маху
 Из машины Алёша нырнёт: славь Руцкого братан!
 скрыв обценную рифму я тоже объятем бабахну
 Цвет накожного неба стрельбу заглоти с полотна
 лепестки точно жадные голуби виснут на вечных возвратах
 одного бы хватило! но кровная даль голодна
 этот голод заразным становится для без вины виноватых

ЕЩЁ БЛИЖЕ

Если она не против
 рядом сесть у окна
 вырванная из кротких
 смятых просторов льна
 и ангелы «Кофе Хауса»
 сиянием смущены
 чашечками касаются
 нашей бесстыдной весны

На уровне капучино
 грозно трамвай частил
 если рассвет причина
 отчаянью всех светил
 чудо в судьбе крошится
 или наоборот
 всхолмленная корица
 оба исхода вьёт

«Господи!» промолчала
 вслух же: «Ты стал родным»
 Щёлкнет цепкое жало
 зажигалки сердечком в дым
 Нет у времени места
 двойственной и тесней
 если растает бездна
 в нас или мы над ней



Ярко белеет меж сосен пластик стола
краска на отпертой двери чешуйками вздуга
нежишься в хлопотах близкого мёда юла
с давней к нему аллергией в жужжаньях уюта

Запахи тёмной постели затылок принёс
им и ему помешаю не дам увернуться
жизни над жизнью щекотные кольца волос
что же не гасят тревогу окурка из блюда

Тикает ровно единого пульса струной
и разморожено кроток росток аллергенный
Что же там ищет меж соснами пластик слепой
что ему в яркости к нашей ревнуня вселенной?

Уйдя от деда с бабой и от Будды
народ-песок я посох твой приبلудный
твой для битья ковёр-автопилот
я тоже твой немерянный народ

Жирны печали но сухой как сода
кто я такой — любить в себе уroda
приняв на гвоздь — да и на грудь — свобод
Я по кресту твой теневой народ

Оставь оставь теней где плоть сырая
кормящих похорон не узнаёт
из рыбных дней дитяню вспламеня
и предстоя как манна за народ

Глубоко тихо в соснах над просекой шёпот
а пространство поехало — некому штопать

По дороженьке чоботной дачной — апрель — никого
ставень ёрзнул царапнется шишка в окно

и от леса вдоль поля коляскою кто-то рулит
земляная ли трещинка омут огонь среди плит

опаль падаль клочки бересты весь взметённый архив
как от этих избавиться глаз им же веки прикрыв

...Из налёта гудков из пыльцовой другой ли пурги
всё готово родись объявись прибеги

с электрички в игольчатый миг в тьму распятого сором луча
от веранды клеёнка сползёт за тобой горяча

Я венозной весной голос вырву и дряхлой корою прижгу
дрождью насыпей подан сигнал — всё готово к прыжку

и шлагбаум звеняще взведи полосатый свой перст
но тебе не сюда — разве вдруг высота надоест



У месяца клыки а хочется-то свеч
парк Стрыйский чёрен снегом на расстрел
сам в эту сырость сам я почернел
плетясь за той кого решил стеречь

Русалочья нарочно трётся ветвь
«Ховайся ну же горе-конвоир
Твой выстрел верный хочет видно тлеть
не обновив маринкиных кровин!»

Вдруг на холме – рассудит ли? – турник
мне шубы сброшенной распялю рукава
чтоб приземлилась от кругов дурных
на это пугало забыв как ты права

РАСКОПАННЫЙ ДЕТСАД

Запасный шлях наукой загазован
наш броняшпер славься и пируй!
Светляк отверз воздушный поцелуй
с маневренностью ямы оркестровой
строчит строчит в пакгаузы тумана
медовой нитью снайпер и фанат
но не взлететь с твоих коленей мама
в них сумерки горят

Детсад насквозь теплушками пробит
нарушили режим за «Кукарачей»
«Варят» наш гордый и теодолит
а керосинка лапы раскорячит:
по-царски в рожу – кто не налетался!
всем два наряда Лхасы с левитанства!
руслановских же чесанок – босым!
(на брудершафт дерёмся в них и спим)

Крест-накрест затекли в себя и стихли
Хорош реветь! и сыплешься зернист
на доньшко полёта где как в тигле
кровь по траве из перьев и зарниц
«Засушено» – печать лиловым смыта
но чем-то процарапана взамен
спиралью новой развернись орбита
лягушечья и лисья встань с колен

Ладони сцепишь – чем не парашют?
И воздух просто кладбище стоп-кранов
Скамеечки зачищены Фатьянов
дышать враньём вновь избранным дают
Во мне кукует боль её не тронь
а клялся а ещё и колотился
светляк светляк напёрсточный огонь
как броуновский выпад каратиста

К лицу лицом в семье не без любви
нам нет вины без истины панове
на Китеже навьючен Перекоп
«Я Вас...» – вот реализм без берегов
Намылен едкой басней муравей
нам света нет без смрадного тоннеля
Не верю что без Кафки ты Емеля
без русского я в мире не еврей



А как наоборот? Смерть вброд едина
 изнанкой лета бабьего костры
 в салютах мая от отца до сына
 утоптаны молочными «прости»
 Снег снег да снег... Пшена б хватило с манной
 на объяснение ласточке кремлей
 как будто побирушкой бесталанной
 и сорок лет прожечь за сорок дней

Вошла виола в клевере варяжном
 смычков из него перенавяжем
 а впутанный в дубы аэростат
 как ёжик и умыт и не хвостат
 Стесал и я вагон сапог болотных
 по авангардным ямам и теперь
 пред верой расстилается по локоть
 в предложениях и союзах разум-зверь

Гербарии страшнее пистолета
 Цитатой теплотрасса перегрета
 обмазкою медовых паутин
 труба зовёт и космос двуедин
 крапивою пресветлой
 Милый край!
 Я склеил нас я вечно уходящий
 но под откос данайский бронящёр
 в грех свальный рад а ты не кувыркой

На счёт раз-два эй кто не заградился?
 Резервов мгла разрывом золотиста
 Предательски медовый прототип
 сканируясь аорту коротит
 ...Наверное не кровь безбрежный тёзка
 не рифма к ней но в равном их бою
 воскресшим ничего не остаётся
 как из лица в лицо лить жизнь свою

ИЛОНА МИРОНОВА

ЗАБЕЖАТЬ НА СЕКУНДУ

И когда мы меняем юности домино
На краплённую карту зрелых амбулаторий,
То свобода, кажется, создана для того,
Чтоб курить в одиночестве.

Знаешь, а те, кто в море,
Обязательно вёсла будут сушить. Кронштадт
Моего межсезонья слишком похож на берег.
Я гребу, я стараюсь. Только прибой мат
Отвлекает от паники. Вместо ночных истерик
Получается осень.

Тут же, смотри, зонты.
Впрочем, знаешь, зонтам не хочется в парашюты.
Мы ещё не пророки, точно уже коты,
Те, что трутся у сердца в полночь.

Стою, машу там
Беспризорным ветрам и вижу, как рукава
Обнимают немое сердце. Тоска снаружи.
Ты беги без оглядки завтра (ну, какова!).
Бью наотмашь, молюсь в подушку и без оружия
Погибаю.

А в несвободах густой травы
Заживёт тишина. Накроется перспектива.
На земле спят солдаты часто, а кто-то – в.
То войны котлованы, милый, но мы-то живы.
За собою следов не видно. И без вестей
Нам стоять в душевых кабинах с немойшей шеей.
Неприменно пусть будет дочка. Спасай детей,
Тех, что жмутся щекой к сюжете в чужих траншеях.
Это небо забыло спрятаться.

Воротник
Помогает тебе укрыться в моём романе.
И в каком ты окопе, милый, в какой там ржи?
Я письмом треугольным сплю у тебя в кармане...

ПЛАТЬЕ

мы никогда не станем теми, кого разлучили.
первую половину жизни
я искала причины
тебя встретить,
а после – всё это запомнить.
и какая разница, у кого из нас дети,
а у кого – море,
главное, что мы чуточку внутрь,
если читать это слева направо.

Пусть даже
 житейская утварь танцует чешками
 в театре малом.
 видел бы ты эти танцы.
 а помнишь, этот
 отчаянный юноша из Гаскони
 по всем каналам искал подвески,
 заслуженный кавалер,
 а я как платье Констанции,
 может и простовато, но точно тебе в размер.

Нет, не скучаю. Тупо скулю отчаяньем!
 Можешь не верить, выдохнуть и заснуть,
 но, подавившись красной строки молчанием,
 шарит по венам шариков мелких ртуть.
 Ночь в позвоночник! Грустью выходят фокусы
 и прорастают сквозь лихорадь лавин.
 Что мне признание кем-то согретых крокусов,
 вспудрить бы в зиму рифм твоих кокаин.
 Боль безутешно вилы в живот – и плавали!
 Нет, я не вою, что ты, при чём тут вой.
 Знаешь, а я ведь гордо шагаю, плавно ли,
 только одно ведь – искренне за тобой.
 Хочешь, я буду сниться витринам города
 и отражать всю преданность наших тел.
 Я закушу безвыходность краем ворота
 белой шинели с надписью «на отстрел».
 Нам бы с тобою сердце травить венчанием
 или на крайний – хортицей без вины.
 Я не скучаю? Тупо саднит отчаянье
 где-то в районе выброшенной луны.

я не знаю, насколько прав был воздушный шар,
 доверяя его губам и объёму лёгких.
 не взлететь, а катиться пропадом в перегар
 горизонта, где память сыплет им счастья крохи.
 он давно перестал смущаться отважных львиц,
 даже больше – он жил добычею браконьера.
 не стрелять бы ему в предсердия белых птиц,
 ну какого он лезет в китель за револьвером.
 он простил ей давно безмолвие городов,
 тех, что мнут и плюются болью без покаянья.

для чего ему эта спелость и цвет плодов,
 если пахнет пивными пробками расстояние.
 пешеходно бродить по нервам, ускорив шаг.
 добежать до обрыва первым – и полетели!
 кто б из них ни пытался выбросить белый флаг,
 всё одно – воскресенье сморщится в понедельник.
 он наступит себе на горло, она – на тень.
 остановки не станут поводом для маршрутки.
 да, не важно кого купили в базарный день
 эти рифмы... они по-прежнему – проститутки.
 она хочет снимать перчатки, а он – кино,
 забежать на секунду в сердце, а там – по делу.
 если было зачем-то встретиться им дано,
 сделай так, чтобы он не выл от тоски по телу.



Да, собственно, что тут, просто опять зима.
У Вас вроде тоже – в город выходят шубы.
Вы знаете, барин, я оттого нема,
Что холодно как-то, если вы врёте в губы.
Была бы умнее – утром ушла бы в порт,
Так нет же, дышу в ладони, пытаюсь выжить.
Зима никогда наотмашь, всегда – в упор.
Хотите, мы поменяем стихи на лыжи?
Зачем нам спасаться? Ищут совсем не нас.
И вовсе не минус, просто остыл наш кофе.
Вы, барин, не поняли, я не прошусь анфас,
Снимите хотя бы на память озябший профиль.
Дышите мне в ухо, вам не хватает той,
Чьё имя скрипят по снегу чужие шины.
Когда вы там спите мало, но не со мной,
Тут кот мой рычит и пялится на снежины.

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ
в переводах Александра Леонтьева на русский язык

OSCAR WILDE
ОСКАР УАЙЛЬД

THE TRUE KNOWLEDGE

Thou knowest all; I seek in vain
What lands to till or sow with seed –
The land is black with briar and weed,
Nor cares for falling tears or rain.

Thou knowest all; I sit and wait
With blinded eyes and hands that fail,
Till the last lifting of the veil
And the first opening of the gate.

Thou knowest all; I cannot see.
I trust I shall not live in vain,
I know that we shall meet again
In some divine eternity.

ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ

Ты знаешь всё; а я брожу во тьме
Ища напрасно, что вспахать, где сеять –
Земля черна, чертополохом веет,
Ей всё равно, в слезах быть, иль в дожде.

Ты знаешь всё; а я сижу и трушу
Слепец, чей дух давно уже сторел,
В надежде, что поднимется предел
И отворится дверь в иную душу.

Ты знаешь всё; а я совсем ослеп.
Но верю я, что прожил не напрасно,
И знаю, наша встреча будет страстной
В той вечности, где только свет.

IMPRESSION DU MATIN

The Thames nocturne of blue and gold
Changed to a Harmony in grey:
A barge with ochre-coloured hay
Dropt from the wharf: and chill and cold

The yellow fog came creeping down
The bridges, till the houses' walls



Seemed changed to shadows, and S. Paul's
Loomed like a bubble o'er the town.

Then suddenly arose the clang
Of waking life; the streets were stirred
With country waggons: and a bird
Flew to the glistening roofs and sang.

But one pale woman all alone,
The daylight kissing her wan hair,
Loitered beneath the gas lamps' flare,
With lips of flame and heart of stone.

УТРЕННЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Речной ноктюрн лазурно-золотой
Перетекает в серые тона:
Баржа под охрой сена, чуть видна,
Отчаливает в сумрак ледяной.

Тумана льётся жёлтая волна
Мосты, дома – всё превращая в тени,
Святого Павла купол в отдаленье
Вдруг всплыл сиреневой звездой.

Раздался цокот золотых подков
Для новой жизни, и трещат уж спицы
Повозок, запрудивших город, – птицы
Запели разом на краю коньков.

Лишь женщина, потеряна, одна,
Бредёт под поцелуями рассвета,
И песнь мерцающих огней – допета
Губами пламени и сердцем изо льда.

THE ARTIST

ONE evening there came into his soul the desire to fashion an image of THE PLEASURE THAT ABIDETH FOR A MOMENT. And he went forth into the world to look for bronze. For he could think only in bronze.

But all the bronze of the whole world had disappeared, nor anywhere in the whole world was there any bronze to be found, save only the bronze of the image of THE SORROW THAT ENDURETH FOR EVER.

Now this image he had himself, and with his own hands, fashioned, and had set it on the tomb of the one thing he had loved in life. On the tomb of the dead thing he had most loved had he set this image of his own fashioning, that it might serve as a sign of the love of man that dieth not, and a symbol of the sorrow of man that endureth for ever. And in the whole world there was no other bronze save the bronze of this image.

And he took the image he had fashioned, and set it in a great furnace, and gave it to the fire.

And out of the bronze of the image of THE SORROW THAT ENDURETH FOR EVER he fashioned an image of THE PLEASURE THAT ABIDETH FOR A MOMENT.

ХУДОЖНИК

Однажды вечером в душе его возникло желание выковать образ НАСЛАЖДЕНИЯ, КОТОРОЕ ЖИВЁТ ЛИШЬ МГНОВЕНИЕ. И он пошёл в мир в поисках бронзы, ибо он мог облечь мысль только в бронзу.

Но вся бронза мира исчезла, и не было места на всём белом свете, чтобы найти бронзу, разве что бронзу изваяния ВЕЧНОЙ ПЕЧАЛИ.

И вот, он нашёл эту бронзу, и своими руками выковал образ, и утвердил его на могиле того, которого любил в жизни. На могиле усопшего, страстно любимого, он установил изваяние, которое выковал сам, символ любви человека, которая не умирает, и символ печали человеческой, которая длится вечно. И во всём мире больше не было такой бронзы, как бронза этого образа.

И он взял образ, который он выковал, и бросил его в огромную печь, и предал огню.

И из бронзы образа ПЕЧАЛИ, КОТОРАЯ ДЛИТСЯ ВЕЧНО, он отлил образ НАСЛАЖДЕНИЯ, КОТОРОЕ ЖИВЁТ ЛИШЬ МГНОВЕНИЕ.

DYLAN THOMAS
ДИЛАН ТОМАС

CLOWN IN THE MOON

My tears are like the quiet drift
 Of petals from some magic rose;
 And all my grief flows from the rift
 Of unremembered skies and snows.

I think, that if I touched the earth,
 It would crumble;
 It is so sad and beautiful,
 So tremulously like a dream.

КЛОУН С ЛУНЫ

Мои слёзы парят в эфире
 Лепестками магической розы;
 И печаль течёт из надрыва
 Позабытой лазури морозной.

И, мне кажется, если б коснулся земли я,
 Она бы распалась;
 Так прекрасно и невыносимо,
 Как мечта в лунном мерцании.

 IN MY CRAFT OR SULLEN ART

In my craft or sullen art
 Exercised in the still night
 When only the moon rages
 And the lovers lie abed
 With all their griefs in their arms
 I labour by singing light
 Not for ambition or bread
 Or the strut and trade of charms
 On the ivory stages
 But for the common wages
 Of their most secret heart.

Not for the proud man apart
 From the raging moon I write
 On these spindrift pages
 Nor for the towering dead
 With their nightingales and psalms
 But for the lovers, their arms
 Round the griefs of the ages,
 Who pay no praise or wages
 Nor heed my craft or art

МОЁ РЕМЕСЛЮ, ИЛИ ПЕЧАЛЬ ИСКУССТВА

В моём ремесле печаль искусства
 Тихой ночи
 Когда луна лает от грусти
 А слюна горчит



На губах раем потерянным
 Отлюбивших на простыне
 Я льюсь в сиянии пения
 Не ради славы, не на дне
 Самодовольства торговца чарами
 Аквариумного волшебства
 Но за обычную плату
 Таинства их естества.

Не для гордецов, свысока взирающих
 В ярости лунной пишу
 пеной моря вскипающей
 Не для идолов прошлых – дышу
 С их соловьями в объятиях
 Но для тех, кто разжав кулаки,
 Обнимает веков распятия,
 И в пыли любовной тоски, из которых
 Никто не оплатит мне ни секунды
 Из солнечных снов,
 И не вспомнит в мгновенье приятия
 Моих стихов.

О MAKE ME A MASK

O make me a mask and a wall to shut from your spies
 Of the sharp, enamelled eyes and the spectaclad claws
 Rape and rebellion in the nurseries of my face,
 Gag of dumbstruck tree to block from bare enemies
 The bayonet tongue in this undefended prayerpiece,
 The present mouth, and the sweetly blown trumpet of lies,
 Shaped in old armour and oak the countenance of a dunce
 To shield the glistening brain and blunt the examiners,
 And a tear-stained widower grief drooped from the lashes
 To veil belladonna and let the dry eyes perceive
 Others betray the lamenting lies of their losses
 By the curve of the nude mouth or the laugh up the sleeve.

О, ДАЙТЕ МНЕ МАСКУ

О, дайте мне маску и стены укрыться от ваших глаз,
 Эмалью очков пронзающих, когтистых страз,
 Скрыть бунт и насилие в мальчишестве моего лица,
 Пусть как столп онемею я, зажму лезвие языка,
 Обнажая врага в беззащитной мольбе,
 Одеревеневшим ртом, выдувая сладкую ложь на трубе,
 И под дубовым забралом балды
 Спрячу сверкающий ум от надзирателей,
 С ресниц стекая слезами горя вдовца,
 Скрою души белладонну, сухими глазами взирая,
 Как предатели, ухмыляясь, ловко оплакивают потери,
 Про себя от смеха давясь...

ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВ

ДЕВОЧКА И КОШКА

рассказ

Планер уверенно набирал высоту. Облако, породившее восходящий поток, висело надо мной, и с каждым витком спирали становилось всё ближе и ближе. Лёгкое, невесомое, белоснежное издали, вблизи казалось оно тяжёлым, тёмным и мрачным, накрывшим собою весь мир. Грязные, тёмно-синие космы свисали по краям. Облака образуются от термических потоков, когда тёплый влажный воздух, поднимаясь вверх, охлаждается и превращается в обыкновенный туман. Облачко, рождённое потоком, растёт, развивается и превращается в тяжёлое кучевое облако, которому больше не нужен родивший его поток. Оторвавшись от него, оно само, словно огромным насосом, всасывает в себя воздух, образуя новое, мощное восходящее течение.

Как дети, выросшие, возмужавшие и покинувшие родительский дом, гордо плывут облака над необъятными просторами, чтобы где-то там, в далёком краю, упасть проливным дождём на землю и умереть.

Планер уже под самым облаком, пора выходить из спирали и продолжать полёт по маршруту, но я решил набрать ещё несколько сотен метров. В облаке восходящий поток усилился, и когда я попытался выйти из него, то уже не смог. Планер не слушался рулей, продолжая вращаться, поднимался всё выше и выше. Да и выходить из потока опасно, рядом воздух с такой же скоростью устремляется вниз, и резкий переход из восходящего потока в нисходящий может разрушить лёгкий летательный аппарат.

Теперь меня несло вместе с облаком в неизвестном направлении. Я пожалел о своей глупости. Поздно. О полёте по маршруту нечего было и думать. Вырваться бы целым из этого потока. Меня тянуло вверх, но на трёх с половиной тысячах метров поток стал ослабевать, и на четырёх облако отпустило меня. Хорошо, что так всё кончилось, без кислородного прибора я мог потерять сознание, если бы затащило выше.

Облако, взявшее меня в плен, распалось, таяло, исчезало. Под крылом лежали поля, лесополосы, узкие ниточки просёлочных дорог, вдали, в синеватой дымке, угадывался берег моря. Нужно подойти ближе, и по очертанию береговой линии восстановить потерянную ориентировку. Но пока я летел в сторону побережья, пока сличал карту с местностью, кружа над берегом и не находя знакомых ориентиров, планер потерял высоту. Связи с аэродромом не было. Напрасно пытался я зацепиться за какой-нибудь поток, воздух был тих и спокоен. Пора выбирать место для посадки. Под крылом проплыла бухта, небольшое селение, стоящий на рейде парусник да лодки у причала. Ни этой бухты, ни похожего селения на карте я не находил.

Посадив планер в поле, недалеко от посёлка, я, тупо уставившись в карту, пытался определить своё местонахождение. «Нужно идти в село», — подумал я и посмотрел в том направлении, где находился неизвестный мне населённый пункт. И вдруг увидел маленькую девочку, лет десяти, которая бежала к планеру.

— Птица! Птица! — кричала она. — Какая красивая птица!

Она подбежала к планеру, поздоровалась с ним, а потом и со мной.

— Как зовут твою птицу? — спросила девочка.

— Её зовут «Бланик», — ответил я.

— Это некрасивое имя, придумай ей другое! У птицы должно быть красивое имя.

— Но я не могу придумать другое имя, так называется этот планер.

— Тогда я сама придумаю имя для неё, хочешь?

— Ну, что ж, придумай, — ответил я.

Пока девочка придумывала новое имя для моего планера, я спросил:

— Скажи, а как называется этот посёлок?

— Это Каперна.

— Какая Каперна? — удивился я, населённого пункта с таким названием на моей полётной карте не было.

— Та, что между Лиссом и Зурбаганом, — ответила девочка. — Разве ты не знаешь?



Я остолбенел. Боже мой! Куда я попал? В какие края занесло меня это облако? Как бы там ни было, но я не мог попасть в мир, придуманный Грином!

— А ты ничего не путаешь? Это действительно Каперна, что находится между Лиссом и Зурбаганом?

— Да, да, именно та Каперна!

Нужно пойти в посёлок, дать телеграмму в аэроклуб, чтобы выслали самолёт-буксировщик. Но куда? Куда должен вылететь буксировщик? В ту далёкую страну, существующую лишь на страницах произведений Грина? Что же это было за облако? Какое-то не такое оно было. Слишком тёмное. И поток усилился сразу, а не постепенно, как обычно. А может быть, мне это только снится? Всё это сон. Нет, не похоже. Но, всё равно, нужно идти в посёлок.

— У вас есть почта, телефон, телеграф?

— Нет, — ответила девочка, ничего такого у нас нет. Ни почты, ни телеграфа.

— А что, если кому-то из жителей нужно отправить письмо?

— В бухте стоит корабль. Если хочешь отправить письмо, напиши и отдай его капитану. Завтра утром он уйдёт в Зурбаган. Там есть почта.

— И часто корабли приходят в вашу бухту?

— Нет, нечасто, — вздохнула девочка, — совсем не часто, только иногда, по дороге в Лисс или в Зурбаган. А на прошлой неделе, — продолжала она, понизив голос до шёпота, — к нам приходили пираты, на большом чёрном корабле. А за мысом их ждал большой-пребольшой фрегат. И был бой, настоящий морской бой! Я слышала, как стреляли пушки! И пиратский корабль утонул.

— А может быть, утонул другой корабль?

— Нет, — вздохнула она, — утонули пираты. Потом, на другой день, к берегу прибило обломки: кусок мачты и флаг. Такой страшный, весь чёрный с черепом и костями. Я его спрятала в своей хижине.

— Не надо было этого делать. Что сказали твои родители?

— Мне никто ничего не сказал, — вздохнула она. — Я живу одна. Мои родители утонули, их корабль разбился о скалы в проливе Кассет.

— Бедный ребёнок! Ты живёшь совсем одна?

— Нет, с кошкой. У меня есть кошка, она такая ласковая, пушистая. Мы спим вместе, обнимемся и спим. Она поёт мне песенки, а я пою её молоком.

— А где ты берёшь молоко?

— Соседи приносят. Они приносят молоко мне, а я отдаю кошке.

— А что же ты ешь сама?

— Вчера мне приносили кашу, а сегодня я ела рыбу. В посёлке много добрых людей.

— Мне нужно сходить в посёлок, сообщить туда, откуда я прилетел, где я нахожусь. Хотя я этого и сам не знаю.

— Тогда напиши письмо и отдай капитану корабля.

— А как называется тот корабль?

— «Бегущая по волнам». Так и скажи — передайте письмо капитану «Бегущей по волнам».

— А капитана зовут Вильям Гез?

— Нет, его зовут Владимир Иванович.

— Ты его знаешь?

— Конечно! Он иногда катает меня на своём корабле.

«Что-то не так, — подумал я, — похоже, что я нахожусь где-то между реальностью и фантазией. Может быть, название корабля и населённых пунктов взяты из произведений Грина? И всё это не имеет никакого отношения ни к Фрези Грант, ни к Ассоль?»

— А ты слышала что-нибудь о Фрези Грант?

— Да, — девочка снова заговорила шёпотом, — совсем недавно я видела её! Она шла по лунной дорожке, прямо по волнам!

— Тебе это не показалось?

— Нет, это была она! Я точно знаю.

Всё перепуталось у меня в голове. Где же я всё-таки нахожусь? Нужно пойти в посёлок, может быть, удастся прояснить ситуацию.

— Я схожу в посёлок.

— Сходи, а я побуду с твоей птицей, можно?

— Конечно, можно.

— Мы с ней подружимся! Иди, а я пока придумаю ей имя.

Я спускался по узкой, крутой тропе. Рассматривал сверху и посёлок, и бухту, пытаясь высмотреть что-либо, указывающее на принадлежность к нашему, привычному миру. Но кроме красных черепичных крыш, корабля, стоящего на рейде, нескольких парусных и гребных лодок у причала, ничего не увидел.

Я шёл по пыльной улице мимо маленьких домиков, утопающих в зелени садов, и вдруг на одном из них увидел надпись: «Почтовое отделение Береговое».

«Село Береговое, сто пятьдесят километров на северо-восток от аэродрома. Какая, к черту, Каперна?!» — пронеслось у меня в голове.

Я зашёл на почту. Всё как обычно. Телеграф, телефон, приём посылок и бандеролей. Двое посетителей: мужчина и женщина – видимо, ждут телефонные переговоры.

– Можно дать телеграмму? – спросил я девушку, работницу почтового отделения.

– Можно, вот, заполняйте, – она протянула мне бланк телеграммы.

– Это село Береговое?

– Да, Береговое.

– Слава Богу! А то я уже подумал... Тут одна девочка...

– Вы, наверное, встретили Алису? Она Вам наговорит! Бедный ребёнок. Она живёт в своём, выдуманном мире, и никак не может свыкнуться с реальностью.

– Конечно, – вздохнул я, – она ведь живёт одна, с кошкой.

– С кошкой? Да нет у неё никакой кошки! Родители терпеть не могут в доме животных! И живёт она не одна, у неё порядочная семья, отец – очень состоятельный человек, директор банка! Они приезжают сюда каждое лето, у них своя яхта. Настоящий трёхмачтовый парусник! Видели? В бухте стоит. Девочка не совсем нормальная. По каким врачам они её только не возили! И к заграничным профессорам ездили – ничего не помогает. Она никак не может осознать реальность, живёт в сказке, которую выдумала сама. Доктора рекомендуют чаще бывать на природе, вот они и ездят сюда каждое лето. Бедные родители, как они с ней мучаются!

– Это родители у неё не совсем нормальные! – ответила женщина, ожидавшая телефонные переговоры. – Они никак не поймут, что ребёнку не нужны американские мультики, роскошные автомобили и яхта – ребёнку нужна сказка. Ей не нужны компьютерные игры, тамагочи, куклы «Барби», ей нужна кошка. Обыкновенная, живая, пушистая кошка! Дома только и разговоров, что о деньгах, о вкладах, о процентах. Вот она и выдумала себе сказку. А ребёнок вполне нормальный. Ей дарят подарки, дорогие игрушки, но никто из них не способен подарить ребёнку сказку. И кошку, о которой она так мечтает.

Отослав телеграмму, я вернулся к планеру. Девочка гладила его рукой и разговаривала с ним.

– Ну что, ты придумала имя моей птице?

– Придумала! Я назвала её Ассоль. Мы с ней подружились.

– Но этим именем звали девочку, которая ждала корабль под алыми парусами, разве это имя годится для птицы?

– Ведь это красивое имя?

– Красивое.

– Ну вот, я буду звать твою птицу этим именем. Ассоль очень хотела, чтобы к ней приплыл корабль с алыми парусами, и он приплыл. Если чего-то очень, очень хочешь, то обязательно сбудется. И твоя мечта сбудется, потому, что я назвала этим именем твою птицу.

– А у тебя есть мечта?

– Есть, только это большой секрет, очень большой. Но тебе скажу. Я хочу летать, летать, как птица.

– За мной скоро прилетит самолёт. Птица эта сама не может подняться в небо, у неё нет мотора. А когда прилетит самолёт, я попытаюсь воплотить твою мечту. Подождёшь?

– Подожду, мне ведь некуда спешить.

В ожидании самолёта я рассказывал девочке о полётах на планере, о восходящих и нисходящих потоках, облаках, объяснял действие рулей. А она рассказывала о море, о пиратах, о девушке, бегущей по волнам, и корабле под алыми парусами.

Самолёт прилетел через два часа. Жора, пилот «Як-12»-го, подошёл к нам:

– Как тебя сюда занесло? Давай, подкатим планер поближе, подцепим фал.

– Погоди, Жора. У меня просьба. Сделаем круг, прокатим девочку на планере.

– Времени нет! Скоро вечер, что, садиться потом в сумерках будем?

– Да успеем мы до вечера. Поднимешь меня на триста метров, сделаю круг и сяду, потом полетим. Жора посмотрел на часы.

– Ладно, успеем, давай подкатим планер.

Мы подкатали планер поближе к хвосту самолёта и прицепили буксирный фал. Я подошёл к девочке.

– Я могу исполнить твою мечту. Хочешь полетать со мной на этой птице? Сама будешь ею управлять.

– Я?! Ты возьмёшь меня?! Конечно! Конечно, хочу!

– Тогда садись в первую кабину. Когда взлетишь, возьмёшь штурвал, поставишь ноги на педали, будешь повторять движения за мной. Понятно?

– Понятно!

– Ну, тогда полетели.

Мы уселись в кабину, я подал Жоре знак, что к взлёту готов. Самолёт медленно продвигался вперёд, выбирая слабинку фала. Когда он натянулся, Жора увеличил мощность двигателя до взлётной, и мы начали разбег. Планер уже оторвался от земли, а самолёт всё ещё бежал, поднимая пыльный след. Наконец этот след оборвался, и самолёт пошёл вверх, увлекая нас за собой. Мы набрали высоту. Жора помахал крыльями, подавая знак, что я могу отцепить планер от самолёта. Я потянул ручку отцепки, освобождаясь от буксира.



Мы летели над бухтой, над посёлком с красными черепичными крышами, над парусником на рейде и лодками на причале. Девочка держалась за управление, повторяя мои движения, и с замиранием сердца смотрела на великолепный мир, плывущий под крылом. Нас окружала тишина, и только ветер свистел в крыльях. Душу наполняло ощущение полета, свободы, лёгкости и безмятежного счастья. Ребёнок, впервые поднявшись в воздух на лёгком безмоторном аппарате, ощутил себя птицей в бескрайней синеве неба.

Когда мы приземлились, она бросилась мне на шею и прошептала:

– Спасибо тебе. Ты исполнил мою мечту. Теперь я тоже умею летать, как эта птица!

Жора уже прицепил к планеру фал, и я сказал девочке:

– А теперь прощай. Мне нужно улетать.

– А ты вернёшься когда-нибудь?

– Да, я вернусь, я непременно вернусь, сюда, в Каперну, что между Лиссом и Зурбаганом.

Со стороны посёлка поднялся столб пыли, он приближался. К нам на большой скорости мчался джип. Он подъехал и остановился возле планера. Мужчина и женщина выскочили из него и бросились к девочке.

– Алиса! Опять ты сбежала из дома! – строго сказал мужчина. – Быстро садись в машину! Снова ты морочишь людям голову своими бреднями! Сколько раз тебе говорить, чтоб без разрешения родителей ты не смела выходить из посёлка?!

Девочка посмотрела на меня, на глазах её выступили слёзы.

– Прощай, не верь им! Это всё неправда, я живу одна. Одна, с кошкой!

Она сложила руки, будто прижимала к груди маленького зверька, повернулась и побежала к машине.

– Простите её, – сказал мужчина, – она всегда рассказывает людям разные глупости. Не обращайтесь внимания.

– За что же я должен простить её? – ответил я. – Ведь это не глупости и не бредни. Это мечта...

ВЕРА ЗУБАРЕВА

ПЕСКИ НАХУМА

рассказ

Люди покидали Россию, люди покидали Украину, люди покидали, покидали, покидали... Их дома какое-то время смотрели остекленевшими взглядами на подмерзающие сумеречные дороги, как смотрит недолго тело вслед душе. Но вскоре окна теряли интерес ко всему внешнему и, вытянувшись по стенам, равнодушно и мутно отражали улицы.

Люди покидали свой обжитой мир, а он всё равно вскакивал в последний миг на подножку автобуса и прижимался к коленям сумками и одеялами.

– Господи-ты-боже-мой! – вздыхал кто-нибудь во сне, ощущая тепло этого сбежавшего и прильнувшего мира.

Старый Нахум не спал. Закрыв глаза, он отправлялся в свой тяжкий путь по пустыне. Много лет шёл Нахум по горячим пескам, но в последнее время ему было всё тяжелее выгаскивать ступни из зыбкой сыпучей глубины. Нахум даже стал подозревать, что пески пошли более глубокие, и однажды он замерил погружение ноги и запомнил, что песок был выше щиколотки. Но он не рассказал об этом Енте, которая всегда ждала его, съёжившись возле самого Нахумова сердца. Ента не должна была знать об этом. Ента должна была ждать Нахума и потом приготовить ему поесть, и напоить его после странствий.

Нахум шёл, чтобы говорить с Богом. Никто во всём мире не мог говорить с Нахумом так, как Господь. А с годами непонимание Нахума и мира лишь углублялось.

– Ну что ты сидишь, ну что! – сокрушалась всё чаще Ента, с опаской поглядывая на неподвижного Нахума.

Нахум чуть поворачивал голову в сторону Енты и снова возвращался в исходное положение. Никто не знал, как уставал Нахум от изнуряющих хождений по пескам. А пожаловаться было некому, да и незачем. Только однажды он вскользь обронил Богу:

– Трудно мне стало идти к Тебе, Господи. – Но вспомнил усталый голос Господа и больше уже никогда не жаловался.

Люди покидали свой дом, а он бежал за ними по пятам, хватая их за руки, и они, не выдержав, сребали его в охапку и прижимали крепко к груди и лицу. Стороннему наблюдателю казалось, что им делается дурно или они рыдают себе в ладони. Но они всего лишь стискивали свой дом в объятьях и каялись, что хотели бросить его одного, будто беспризорного, посреди тёмного насупившегося города.

Ента тоже прикладывала дом то к одной, то к другой щеке, и его благодарные поцелуи никак не просыхали во впадинах под её скулами.

Сам факт перемещения потрясал отъезжавших. Им казалось, что они были приготовлены на поживу неведомого чудовища с размытой пастью и по мере передвижения будут заглатываться лабиринтами его гидровидного существа.

Людей пугало движение, потому что оно имело одно смертоносное свойство – необратимость. Это было движение-убийца, отсекающее от себя пласты пространства, которое хранило в себе энергию их жизни. Без их глаз, они знали, ветер быстро развеет всё, что накопилось в нишах обжитой ими вселенной.

Нахум понимал их боязнь, но чувства его молчали. Он давно уже потерял страх – с тех пор, как пошёл по своим пескам, не зная конечной цели этого пути. Тогда-то дом и перестал неволить его. А вскоре вообще оставил Нахума в покое, полностью переключившись на Енту и вращая в неё своим обманным младенческим телом.

Ента баловала дом и всё сильнее привязывалась к нему, мыла, холила, украшала.

– Негоже еврею украшать своё жилище, – говорил Нахум Богу. – Негоже вращать душой в каменные стены. В камнях замурованы идолы.

– Человек должен радоваться, – отвечал ему на это Бог. – Пусть украшает своё жилище, чтоб душа его не грустила.



– Не должен еврей привязываться к камню, – упрямо и тихо повторял Нахум. – А украшать без любви – всё равно, что прелюбодействовать.

– Почему ты боишься стен, Нахум? – спрашивал Бог. – Стены защищают тебя. . .

– Где это видел Ты, чтоб еврея стены защищали? – хмыкал Нахум. – Стены только губят нас, требуют жертвы, как идола, как раз, когда самое время бежать.

Нахум возвращался к себе, а Бог оставался какое-то время на том же месте, и оба раздумывали над сказанным. И Нахуму приходилось снова и снова проделывать свой изнуряющий путь, чтобы продолжить беседу.

– Конечно, – севшим голосом произносил Нахум, погружаясь по шею в песочную ванну, – конечно, привязанности никто не осуждает. Но возьми весь мой род. Весь мой род, говорю я Тебе, возьми. Где его корни, где его ветви? Вот они, вот они все, – кряхтел он, с удовольствием вытягивая свои тощие веснушчатые руки из песка и показывая Господу вздувшиеся вены. – Вот они все тут. Видишь, как ветвятся и растекаются по мне!

И сказав, он долго лежал с закрытыми глазами и слушал молчание Господа, и Ента шевелилась у самого его сердца.

Они уже жили в Австрии в одном загородном пансионате, и каждое утро чужеземный пейзаж ранил Ентину душу. Она закрывала глаза, поднималась и скорбно шла в ванную. В тишине ещё спящего коридора гремели её картонные шлепанцы. Нахум тоже поднимался и, жалея Енту, ждал её, свесив ноги с постели. Она приходила умывая, но всё с теми же полуприкрытыми глазами и быстро включала в сеть кипятильник. Они молча пили утренний чай, и Нахум обдумывал, как бы подольше не уходить из песков, чтобы сэкономить силы.

– Ты человек и должен жить положенной тебе жизнью – сеять, пахать, растить детей и любить землю. Я сотворил тебя и род твой в конце Своего творения, ибо Моя фантазия уже истощилась, и Я должен был создать кого-то, кто бы дальше развивал красоту Моей Вселенной. С тобой и Я познаю обновление. Твое назначение – сотворять и обновлять Меня. Мне нужна твоя фантазия, Мне нужны твои чувства.

– Мне не нужны мои чувства, – качал головой Нахум и думал, как бы избежать очередного возвращения.

Пески местами уже доходили до икр. Но Нахум знал, как трудно Енте смотреть по утрам на этот режущий глаза кусок холодного неба с пиком Альп, и медленно вытягивая высохшие мумиевидные ступни, торопился к ней.

У него стала появляться одышка по утрам, и он сдерживал дыхание, пока Ента наощупь выбиралась из комнаты. Он садился на кровать, чтобы отдышаться, и к чаю был уже вполне в норме.

– Скоро уже отправят в Италию, – поговаривала в последнее время за утренним чаем Ента. И это звучало, как одобрение и благодарность за муки, перенесённые ею.

Одышка стала появляться и в течение дня, когда Нахум представлял себе свой ночной поход. Однажды ему не удалось сдержаться, и Ента трясущимися руками стала доставать из узелка пахнущие прежним жильём лекарства. Всё прошло, но по утрам она уже не зажмуривала глаз, а, напротив, внимательно рассматривала Нахума и даже гладила его лоб и волосы. Окно больше не волновало её. Пейзаж потерял своё прежнее ядовитое действие.

– Я хочу, чтобы ты любил свой дом, – говорил Бог. – Я хочу понять благодаря тебе, какие чувства вызывает очаг и какие образы согревают память. У Меня нет никаких воспоминаний, кроме тьмы над бездной, и Свой Дом я сотворял Себе Сам. Я был одинок, и никто не дорожил Мною. Может быть, если бы у Меня был твой опыт, Я бы создал более удачный мир.

Нахум не отвечал, и теперь Господь слушал молчание Нахума.

Нахум лежал своим обтянутым носом кверху. Глаза его были закрыты, а сердце нервно перестукивалось с общим биением пульса Вселенной. Господь видел, как скатывались по тощей Нахумовой груди песчинки, и Ента испугано счищала их с простыни. И тогда Господь вспомнил, как Нахум однажды пожаловался Ему на усталость, и почувствовал вдруг глубокую жалость к этому безответному телу, к худым беспомощным Нахумовым ногам, упрямо гребущим песок изо дня в день. И Нахум, всегда жалевший Господа за Его усталый голос, понял это и улыбнулся, не открывая глаз.

Потом он вдруг увидел яркие блики на стене развалившегося сарая и крупных янтарных пчёл на раздавленном диком винограде. Он почувствовал запах дома и руку матери, убравшую волосы с его лба.

Нахум стиснул этот запах, и стал сильно и шумно вдыхать его из собственной ладони. Он слышал, как мать его заплакала, и он не мог понять, кто же причина её слез. Он стал резко озираться по сторонам, но больше, кроме него, никого не было.

И тогда Нахум понял, что это он был причиной плача матери. И он снова нащупал где-то в пространстве её руку и крепко ухватился за неё, прося прощения за раздавленный виноград. Большая и сильная пчела попыталась ужалить его, разрезая ослепляющий воздух своими мускулистыми крыльями, и кружила, и кружила над его головой. Но пчелу отогнали, постепенно ослабел и запах дома, и материна рука превратилась в Ентину, держащую пузырек с лекарством.

– Я не пойду туда больше, – сказал ей тихо Нахум. Он знал, что Бог будет ждать его. И он жалел Господа за Его вселенское одиночество.



В этот день Нахум впервые вышел с Ентой из пансионата и прошёлся по сизой от инея тропинке. Он поинтересовался, сколько ещё ждать Италию, и Ента беззаботно пожала коричневыми ватными подушками своего пальто. Потом они ужинали консервами в большом полутёмном обеденном холле, слушали последние новости от своих соседей по столу, убрали посуду и перетряхивали на ночь постель, и постель за это обожгла их своим необжитым холодом, но только на несколько минут, пока тепло их тел не вернуло её к прежней жизни.

СЕРГЕЙ ШАМАНОВ

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ВАС

рассказ

Очередь возле шестой кассы универсама «Ассорти» медленно двигаясь, застопорилась на молодом человеке, который, изучив свой чек, решил поговорить с кассиршей.

– Наташа, у вас прекрасной синевы глаза. И очаровательная, скромная улыбка!

– Спасибо, – ответила девушка.

– И ещё у вас красивые длинные волосы! Вы удачно выбрали оттенок чёрного.

– Это родной цвет! – смутилась девушка.

– Извините, – поправился мужчина. – И ещё вы очень хорошая девушка, потому что в отличие от сверстниц, закончив школу, пошли работать, а не просиживаете юбку в аудитории.

– Я поступила на заочный, – ответила кассир, с беспокойством оглядывая очередь.

Охранник магазина, издали заметив подозрительные переговоры на кассе, посчитал нужным разрядить обстановку.

– Не волнуйтесь, я уже ухожу, – сказал молодой человек. – Просто в чеке у меня написано: «Делайте комплименты».

Он протянул Наташе полученный от неё товарный чек, и девушка под перечнем покупок, под номером чека, кассы и длинной пунктирной линией прочла: «ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ВАС: ДЕЛАЙТЕ КОМПЛИМЕНТЫ!»

– Надо же, я не знала об этом. . .

– Для вас простительно, вы ведь стажёр, – сказал любезный покупатель, глядя на грудь девушки, где висело сразу два бейджика – на одном значилось её имя, на другом должность.

– Спасибо, теперь буду знать, – ответила девушка, попрощавшись.

Пожилая женщина, дождавшись своей очереди, кряхтя собирала в кулёк покупки. Наташа, оторвав чек, краем глаза прочла: «ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ВАС: ВЫ БУДЕТЕ В ПЛЕНУ СТРАСТИ».

«Чего только не сделают ради увеличения продаж! – подумала она. – Уж это предсказание точно было более уместно для внучки, чем для бабушки. В таком почтенном возрасте от страсти лучше держаться подальше».

До конца смены Наташа украдкой читала предсказания. Все они были положительного или нейтрального характера. Когда Ольга, администратор магазина, помогала ей сдавать кассу, Наташа поделилась своим открытием и тут же пожалела об этом.

– Ты работаешь тут уже две недели и только сейчас заметила это? Для таких как ты эти предсказания CapsLock-ом написаны! Такая ты внимательная? Выйдет с больничного Света, и ты снова вернёшься в овощной отдел, перебирать огурцы с морковками.

Наташу не пугало возвращение в овощной отдел. Работа в «Ассорти» была для неё первой. Без связей, образования и опыта работы она не могла устроиться лучше. Была, правда, возможность стать секретаршей в маленькой фирме по продаже кормов для животных, но одно из требований директора – плешивого толстяка, на собеседовании сверлившего её взглядом заплывших глаз. . . На такое она не могла пойти. Да и профессии – что кассира, что секретаря – не были пределом мечтаний для недавней выпускницы школы.

Никто не знал, о чём она мечтает. Теперь в своё будущее она пыталась заглянуть, читая предсказания на чеках. Каждое утро, приходя в магазин, она покупала что-нибудь на обед, а вечером, уходя с работы, прикупала какую-нибудь мелочь домой. Ей казалось, что делает она это ради чеков.

Предсказания для неё были оптимистичными и одновременно ничего не обещающими: «ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ, ВСЁ СМОЖЕТЕ» или «ДВИГАЙТЕСЬ УВЕРЕННО К СВОЕЙ МЕЧТЕ» – не предсказания даже в строгом смысле этого слова, а советы и утверждения. Но если такие сомнительные пророчества хоть как-то отвечали тому, чего она от них ждала, то другие, выпадавшие чаще всего, гласили: «ОДНО ЯБЛОКО В ДЕНЬ – ВРАЧ НЕ НУЖЕН» или «СЕГОДНЯ, ВОЗМОЖНО, УВИДИТЕ ЧУДЕСНЫЙ СОН».

От суммы чека предсказания не зависели. Однажды, закупившись перед выходными, Наташа, держа в руке свёрнутый в серпантинные кольца чек, прочла: «ОТКЛАДЫВАЙТЕ И ТРАТЬТЕ ПОРОВНУ» – совет совсем не для неё, жившей с матерью-одиночкой.



Во время обеденного перерыва Наташа сидела в подсобном помещении. Частенько компанию ей составлял Константин, их системный администратор. Они оба любили это место – островок тишины и спокойствия в бурном море универсама. Впрочем, молох продуктовой торговли и здесь присутствовал, в виде иконостаса увековеченных в сувенирной продукции брендов и предметов повседневного быта. Так, пузатый холодильник, мерно урчащий в углу, точно орденами, был завешан магнитиками, которые остались после громких рекламных акций. На подносе, возле умывальника сушились красные, жёлтые, зелёные чашки, одни лишь цвета которых сразу напоминали о марках растворимого кофе и пакетированного чая. Над кухонным столом висел перекидной календарь, где каждому месяцу соответствовала своя продукция молочной марки «PRESIDENT», освящённая пышущими здоровьем крестьянками и младенцами.

– Кто придумал эти предсказания и советы? – спросила Наташа Константина.

Юноша, понурив голову, задумчиво дул в жёлтую чашку с надписью «MAGGI», в которой заваривался суп быстрого приготовления.

– Говорят, их взяли из «Книги Перемен», – сказал он. – Это вообще восточная забава, делать всякие печенюшки с предсказаниями. Я не очень в это верю. Ничего плохого не прочту, но ничего хорошего в моей жизни не будет.

В своей новой страсти Наташа была не одинока. Её коллеги постоянно читали и пересказывали друг другу выпавшие предсказания. Не отставали и покупатели, для которых это придумали. Нередко Наташа видела женщин, читающих чеки на выходе из магазина. В очередной раз, подменяя девушек на кассе, прицепив казавшийся уже постоянным бейджик «СТАЖЁР», она пробивала чеки двум подружкам старшеклассницам, которые взяли по рожку мороженого. Девочки начали есть мороженое прямо возле кассы и, прочитав предсказания, обменялись ими.

Покупатели, в основном взрослые люди, в своём интересе к пророчествам мало отличались от тех беззаботных школьниц с рожками мороженого. Тем более, предсказания ни к чему не обязывали и ничем не грозили. Идеальная модель мира для людей – всегда иметь безоблачное будущее, в котором будут только приятные сюрпризы. Но однажды в магазин пришёл разъярённый мужчина предпенсионного возраста. Он остановился возле кассы, громко сказав:

– Вы что тут – все охренели?! Что тут у вас происходит?!

Наташа следила за происходящим из отдела бытовой химии. Лиза сидела на четвёртой кассе рядом с возмущённым покупателем. Оглядев зал в поисках поддержки, она предложила ему свою помощь.

– Мне нужен директор! – грозно выкрикнул мужчина.

Наташа позвала администратора, и Ольга пригласила «проблемного» покупателя к себе.

Громкие голоса раздавались за закрытой дверью. Выпроводив мужчину, Ольга объявила о вечернем собрании.

Весь день коллектив шептался о том, зачем их вызвали.

– Должны быть кассиры и те, кто хоть раз подменял их на кассе. А также системный администратор, – уточнила Лиза.

В начале двенадцатого коллектив собрался в директорском кабинете.

– Произошёл не очень хороший случай, – сказала администратор. – Как вы знаете, на наших чеках случайным образом пробиваются предсказания. Каким-то образом нашему покупателю выпало не очень хорошее предсказание. В жизни может быть всё что угодно. Но сеть универсамов «Ассорти» не прогнозирует судьбу. Мы бы не занимались этим, даже если бы имели в своём штате провидцев. Мы обеспечиваем комфорт. Он заключается в том, что покупатель, приходя к нам, испытывает только положительные эмоции. Это касается и того, что написано на чеках.

Кассиры внимательно слушали администратора, никто не задавал вопросов.

– Константин, каким образом это могло произойти? – строгим тоном спросила Ольга системного администратора.

– Это могло произойти потому, что было запрограммировано. Больше никак, – ответил юноша. – Принтеры настраивают сторонние люди, они же фискализуют их. У меня к ним доступа нет.

– Разберёмся с этим. Я прошу каждого, кто узнает о подобных случаях, сообщать мне. Желательно показывать чеки.

Собрание закончилось.

– Интересно, что там было предсказано? – спросила Наташа Лизу, когда они вышли в торговый зал.

– Что-то не очень хорошее. Иначе бы нас не собирали. Пока будут сверять чеки, но в центр не сообщат. Может быть, Константин что-то накрутил...

– Я не думаю, что он на это способен, – возразила Наташа.

С этого дня интерес к пророчествам на чеках возрос. Но ничего подозрительного продавцы не видели и покупатели не жаловались. О результатах проверки не сообщали.

Наташа и Константин стояли на заднем дворе универсама, в том месте, где обычно работники устранивали перекур. Ворота были забаррикадированы палетами с мешками сахара и упаковками минеральной воды. Новый грузчик, невысокий паренёк из села, выгалкивал извивающийся прицеп продуктовых тележек с парковки универсама.



– Чем это закончилось? – спросила Наташа Константина.

– А чем это могло закончиться? – переспросил он, снимая обёртку с пачки сигарет. – Я связался с дистрибьюторами, которые устанавливали нам принтеры и регистрировали их в налоговой. Пришёл какой-то дядька, долго и нудно сверял кассовую книгу с фискальной памятью принтера. Ничего не нашёл.

– Странно, – задумчиво сказала Наташа.

– Вот это странно, – ответил Константин, протянув девушке скомканный чек.

Наташа развернула чек и под покупкой пачки «ROTHMANS», которую оприходовал Костя, прочла: «ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ВАС: КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ ПАК!»

– Ничего себе! Но это, в общем-то, правда... Разве этого не может быть?

– На пачках сигарет могут написать, что курение вызывает импотенцию. И пишут. Но пугать всех – не значит пугать кого-то конкретно. Чеки индивидуальны. Такие мрачные пророчества, какими бы правильными они не были, не могут появиться на наших чеках, – сказал Константин.

– Надо передать этот чек директору!

– Он не изменит будущее, – отшутился Костя, и забрав чек у Наташи, скрутил его в трубочку, которую поджёт, и раскурил от неё сигарету.

Прошёл месяц. Школа и детство оставались позади, прекрасное будущее топталось где-то в туманных даях. Наташа с интересом читала предсказания, но теперь к любопытству добавился страх – что, если выпадет что-то плохое?!

Неудачи миновали её, но вновь и вновь она подмечала, что и мечты не сбываются. А если не сбудутся никогда?

В магазин часто приходили её знакомые, в основном одноклассники. Многие поступили в престижные учебные заведения и давали ей понять своё превосходство. Нередко захакивал парень из параллельного класса – высокий и симпатичный, с длинными кудрявыми волосами, он нравился ей с двенадцати лет. Юноша никогда не заходил в магазин один – или с друзьями, которых Наташа не знала, или с красивыми девушками. Вразвалку проходя вдоль витрин, он обычно брал баночное пиво, а к нему чипсы «LAYS» или круглые «PRINGLES». Равнодушно смотрел на Наташу, но никогда не здоровался.

Впрочем, на рабочем месте у Наташи то и дело появлялись поклонники. Обычно всё ограничивалось флиртом и комплиментами. Одного неприятного вида мужчину она попросила не приставать, повысив голос так, что заволновался охранник в другом конце длинного продуктового ряда. А немного полный, но симпатичный парень с незакрывающимся ртом со второго раза уболтал её пойти в кино. На вечеринке у его друзей Наташу спросили, где она познакомилась с их общим другом. Она рассказала, и друзья высмеяли её кавалера за то, что он клеит девушек в супермаркетах. Когда же кончилось шампанское, кто-то язвительно предположил, что её ухажёр с радостью сбегает в магазин. В тот вечер её новоявленный поклонник был любезен, но больше она его не видела.

В очередной раз работая на кассе, Наташа была атакована толстощёкой женщиной средних лет.

– Вот ваши козинаки – заберите! – крикнула та, выгашив из кулька плитку спрессованного кунжута. – И свой дурацкий «SNICKERS»! И «NUTS»! И «LION»! – шоколадные батончики поочередно летели на прилавок, один из них попал в пластиковую тарелочку для денег, и мелочь со звоном раскатилась по углам. – Нечего их расставлять перед кассой, людей в очереди соблазнять! В отделе сладкого их складывайте!

Толстощёкая женщина бросила на прилавок кулёк с песочными рогалями, пакетик драже «M&M's» и фиолетовую плитку шоколада «MILKA» с миндалём.

– И арахис тоже заберите! – крикнула она, вытащив из почти пустой сумки синий кулёчек с солёными орешками.

– Извините, что-то случилось? – спросила Наташа.

– Случилось то, что я решила принять во внимание ваше предсказание! – ответила покупательница, размахивая в воздухе чеком.

Наташа, заглянув в чек, прочла: «ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ВАС: СЛАДКОЕ ПОРТИТ ВАШУ ФИГУРУ!»

– Охрана, у меня минус! – крикнула девушка и пересчитала покупательницу.

В этот день ещё один клиент универсама был смущён предсказанием.

– Смерть бывает незрима, – прочёл мужчина. – Ну вы, блин, даёте, Пифин!

Побледневшие девушки на кассе мрачно переглянулись.

Обычно сдержанная директриса Лариса Ивановна, уходя с работы, отчитала Константина:

– Бери за уши этих ребят, которые принтер настраивали, и разберись с этой ерундой, иначе я из твоей задницы кассовый аппарат сделаю!

На следующий день Наташа встретила с Константином на обеденном перерыве. Он был задумчив и невесел.

– Ты нашёл причину? – спросила его девушка.

– И ты туда же! Мне перед тобой тоже отчитаться?

– Не надо. Извини, я понимаю, тебе сейчас нелегко.

Константин достал из микроволновки куриную отбивную по-гавайски, приготовленную в кулинарии «Ассорти», и пока расплавленный сыр скворчал на колечке ананаса, залил кипятком сухое поре.



– Я знаю причину, – сказал он.

Девушка села за столик перед ним.

– Но причина не технического плана. А духовного.

– Что это значит?

– Мне сразу не понравилось это нововведение. Предсказания достаются людям по воле случая, это так. Но изначально они написаны людьми и отобраны для жребия не совсем справедливо, ведь жизнь состоит не только из белой полосы. Нехорошо играть с судьбой ради коммерческой прибыли. Судьбе это не нравится.

– По-твоему, судьба недовольна тем, что люди вмешиваются в её ход своими односторонними предсказаниями, и решила нас наказать?

– Ну, в общем – так! – кивнул он.

– Ты скажешь об этом директору?

– Кто я такой, чтоб говорить от имени судьбы? Она сама скажет так, что все это поймут.

– Ты считаешь, что это не прекратится?

– Как бы не было хуже, – ответил Константин и подул в дымящуюся чашку.

Наташа посмотрела на холодильник. Может быть, мрачно настроенный Константин, может быть, кто-то другой собрал из магнетиков фигуру в виде черепа и скрещённых костей. Она смотрела на стилизованный череп, и он становился реальным. Девушка подошла к холодильнику и перемешала магнетики, стирая зловещее изображение.

Но образ смерти, явившийся на дверце холодильника, нашёл своё продолжение через несколько дней. Пожилая женщина в чёрном платье и в траурной косынке поверх седых волос выбирала картошку в овощном отделе. Ей помогала девочка, грузившая взвешенные овощи в тележку.

Женщина, несмотря на траур, не выглядела разбитой горем, держалась с достоинством. В руке у неё был список необходимых покупок, но она в него даже не заглядывала.

– Я вас раньше не видела? – тихонько спросила Наташа, взвешивая кулёк с морковью.

– Я живу в другом районе. Собираю продукты для поминок – умер мой брат.

– Примите соболезнования, – сказала Наташа, склонив голову.

– Это случилось позавчера. Утечка газа. Он задохнулся во сне.

Воспоминание обожгло Наташу изнутри: СМЕРТЬ БЫВАЕТ НЕЗРИМА. По времени всё сходилось. И она не сомневалась, кто стал жертвой.

В течение дня женщина в сопровождении помощников ещё несколько раз совершала крупные покупки. Один раз им даже разрешили взять тележку, чтобы довести ящик водки и прочие продукты до подъезда соседнего с универсамом дома. Наташа краснела от стыда, думая о том, что эта несчастная женщина может прочесть в чеках и надеяться, что ей не придется в голову читать написанные в них глупости.

Наташа рассказала про неё Лизе.

– А про пожар ты не слышала? – спросила Лиза. – Говорят, пострадавшие читали накануне предсказания, связанные с огнём. Такие, что и не понять, о чём они. Но пожар вчера был. Никто не пострадал, но сгорели квартиры на двух этажах.

Лиза вывела Наташу во двор и показала обугленный участок на фасаде белой девятиэтажки, где пострадали квартиры на шестом и седьмом этажах.

В последующие дни не было ничего подобного по своей трагичности, но хватало напряжения после произошедшего. Кассиры во время перерывов рассказывали, кто что видел. Даже покупатели стали ещё чаще смотреть в чеки, чем раньше.

Не миновало неприятное пророчество и Наташу: «БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ!» – прочла она в начале смены.

И она не убереглась. Во время резкого сентябрьского похолодания девушка, возвращаясь с работы, попала под ливень, и на следующий день, едва держась на ногах, отпросилась домой. Участковый врач диагностировал у неё ангину и открыл больничный лист.

Наташа лежала под пледом и думала: как хорошо, что не надо покупать ничего в универсаме. Она обещала себе по выздоровлении не совершать больше покупок в «Ассорти».

Но предсказания нашли Наташу дома. Ребята с работы, Константин и Лиза, пришли её проведать. Озираясь в незнакомом помещении, они прошли в её комнату. Усевшись перед её кроватью, молодые люди вручили фирменный бело-сине-оранжевый кулёк «Ассорти» с гостинцами, и протянули несколько чеков, где суммы покупок были аккуратно вырезаны ножницами.

– Решили подбодрить тебя, – пояснил Константин.

«ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ВАС: УЛЫБНИТЕСЬ – ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ», – прочла Наташа в чеке на апельсины.

– Мы решили пробить продукты по отдельности, чтобы было больше положительных предсказаний, – пояснила Лиза.

«ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ВАС: ПРИНИМАЙТЕ СЕБЯ ТАКИМ, КАКОЙ ВЫ ЕСТЬ», – было написано в чеке на бананы.

– Иногда тишина даёт правильный ответ, – прочла Наташа в чеке на овсяное печенье. – Я прислушаюсь к этому совету, – сказала девушка и, увидев в кульке лимоны, яблоки, шоколадку – спросила про остальные чеки.



— Мы все не взяли, чтобы не загружать тебя. Изречения в них не имели никакого отношения к тебе, — сказал Константин.

Наташа подумала, что он скрывает правду.

— Всё равно это игра, — сказала Лиза. — И это всё-таки мы вытягивали предсказания. Ты поправишься и вытянешь свои предсказания сама.

Наташа утвердительно кивнула.

— Были сбывшиеся предсказания за эти дни? — спросила она и ждалась под одеялом.

— Ничего плохого не было, — покачала головой Лиза.

— Только грузчик, выкатывая тележки с парковки, не рассчитал нагрузку и боднул в бампер новое авто. Если б он внимательней прочёл свой чек на пиво, а лучше бы не покупал его вообще, этого бы не произошло, — сказал Константин.

Они помолчали.

— Не знаю, насколько верный ответ даёт тишина, — начала Наташа. — Мне кажется, что эти предсказания не предвидят события, а притягивают их...

— Возможно, они программируют будущее, — согласился Константин.

Через несколько дней Наташа уже всю работу в универсаме: взвешивала овощи и фрукты покупателям, вытирала полки и товар в консервном отделе. Она чуть не отморозила руки, раскладывая пельмени и мороженую рыбу в холодильной витрине. Вдобавок пришлось поработать вместо отлучившейся уборщицы, вытирая алые разводы с бежевого кафеля после того, как неосторожный покупатель разбил бутылку помидоров, консервированных в собственном соку.

Она собралась пообедать лишь к вечеру. Директриса, закончившая рабочий день, под видом того, что опаздывает на день рождения к друзьям, нагло втиснулась перед ней в кассу, чтобы пробить шикарный пражский торт и бутылку новосветского шампанского. Расплываясь на кассе за сосиски, Наташа с завистью смотрела вслед убегающей Ларисе Ивановне. Уставшая и голодная девушка даже на чек не посмотрела.

Зато как приятно было обедать! Лиза, составившая ей компанию, поведала о том, как в торговых сетях одного крупного супермаркета города работников бесплатно кормят в собственных точках быстрого питания. Наташа смотрела на разорванные в микроволновке сосиски, и рассказы Лизы воспринимались как сказки о далёких тропических островах.

Поздним вечером Наташа не могла уехать домой. Забитое маршрутное такси промчалось мимо. Пока она шла на остановку, проехал ещё один микроавтобус, и девушка, простояв на остановке больше четверти часа, решила пойти домой пешком.

Улица тонула во мраке, предстояло сделать крюк по периметру парка. О том, чтобы срезать дорогу через безлюдные аллеи, она даже не помышляла.

На улице было немало прохожих, проезжали машины. Но постепенно людей становилось всё меньше, а те немногие, которых она встречала, вызывали у неё тревогу. Ещё до того, как тёмный, словно огромная грозовая туча, массив парка показался на глазах, адреналин вовсю играл в крови Наташи от не менее разыгравшегося воображения.

Вдоль парка горели фонари: с одной стороны это ободряло, но, с другой — делало фигуру девушки заметной издалека. Наташа жалела о том, что надела белую курточку.

Она с опаской озиралась на кусты по левую сторону. В любой момент из них мог выскочить злодей. Фигурка человека вдалеке растворилась во мраке. Уж не решил ли он устроить засаду?

На её пути застыли тени — не то кусты или мусорные баки, не то люди. Но до них ещё надо было пройти, и гораздо раньше она услышала смех и негромкую музыку. За кустами, на скамейке вдоль дороги сидела группа подростков. Сердце Наташи учащённо забилося, её волнение достигло наивысшей за этот вечер точки.

Вот тут бы предвидеть ситуацию. Зная, что от этих пацанов исходит угроза — совсем не глупым было бы побежать обратно. Девушка вспомнила про чек и начала искать его по карманам.

Чек куда-то запропастился, и она прекратила поиски — увидят, что по карманам шарит, подумают: ищет деньги! Только спровоцирует этим...

И на мгновение ей подумалось о том, как много людей, даже среди её немногочисленных знакомых, любят охоту. Томительное ожидание и увлекательное преследование, радость от обладания добычей. А тут добыча — девушка. К тому же с деньгами. В городе — не надо далеко ехать. Одни преимущества от такой охоты. И маньяков, наверное, много больше, чем охотников. Смешок оборвал свободное течение её мыслей.

Краем глаза она увидела занятую молодыми людьми скамейку, частокол пивных бутылок, чуть в стороне — высокая фигура, лицо которой было полузакрыто капюшоном. Кто-то громко цокнул языком и присвистнул. Наташа прошла мимо, делая вид, что не замечает их.

Человек, до того спокойно сидевший на скамейке, вдруг встал и пошёл за девушкой. Наташа подошла к проезжей части и наискосок перебежала её, делая вид, что торопится успеть перед машинами, хотя машин не было видно ни с одной, ни с другой стороны четырёхполосной дороги.

Она быстро шла по тротуару. Пронёсшаяся на безумной скорости спортивная машина подняла ветерок, и девушка от греха подальше отошла от проезжей части. Неизвестно где тебя судьба найдёт!



Парень, шедший за ней, тоже перешёл дорогу. Она ускорила шаг, почти бежала. Оглянувшись, не могла найти его. Или пропал, или шёл за деревьями.

Наташа остановилась под фонарным столбом. Достала кошелёк. В нём, вместе с пятью рублями, лежал скромный чек. Озираясь по сторонам, достала его, развернула: «ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ВАС: ИНОГДА ОШИБКА СТОИТ СМЕРТИ».

Дрожь прошла по телу. Неужели теперь её очередь и нельзя ничего сделать? Навстречу ей шла пара мужчин.

А сзади, возможно, крался за кустами и деревьями тот парень...

Западня!

Наташа подошла к бордюру и остановилась, глядя на очередное авто, пронёсшееся на огромной скорости. Только ветерок и тающая в воздухе весёлая музыка остались после него.

И в проезжающей машине могут быть злодеи. Даже скорей всего! Что стоит засунуть жертву в багажник или затолкать в фургон? Уж в машине-то точно – лучше всего охотиться.

Но они не будут нападать на безумную девушку, которая бежит по двойной сплошной! Наташа бежала, изредка останавливаясь. Пронеслись, сигналила, машины. Если бы девушку забрала милиция – она была бы счастлива!

Никто не остановил Наташу. Свернув в переулок, она, тяжело дыша, вбежала во двор. Возле парадного её обляяли собаки.

Закрыв за собой дверь, она свалилась на ступеньку, чтобы отдышаться.

Поднявшись к себе, забралась в душ.

Заснула она только под утро. Понурая, пришла на работу, опоздав на четверть часа.

В магазине происходило что-то странное. Прежде чем она начала строить догадки, Лиза, уже сидевшая на кассе, подозвала Наташу к себе.

– Лариса Ивановна вчера попала в аварию с мужем. Лежит в реанимации.

Наташа всё поняла, приступила к работе. Вскоре их собрала администратор.

– Вчера, поздно вечером мне позвонили родственники Ларисы Ивановны и сказали об аварии. Кто виноват – ещё будут разбираться. Я приехала туда – машины ещё не развезли. Но важно не это, а чтоб она выжила, – сказала Ольга, оглядывая хмурых продавцов. – Муж был за рулём, отделался ссадинами, а она была не пристёгнута. Лобовое стекло вдребезги. В машине всё запачкано кровью и кремом от торта. Пахло алкоголем, но это разбилась бутылка шампанского. Когда она придёт в сознание, можно будет её проведать.

Неформальное собрание закончилось.

– Подождите, – сказала Наташа, схватив Ольгу за рукав.

Администратор, остановившись, отдернула руку и спросила:

– Что ещё?

Лиза и продавщицы тоже остановились. Все смотрели на Наташу.

– Мне вчера выпало кошмарное предсказание! – девушка выгатила из кармана кошелёк.

Сотрудники, испытывая любопытство, окружили её. Администратор взяла чек у Наташи, пробежала его глазами и лишь выдохнула:

– Какой ужас!

– Что там написано? – спросила Лиза.

– Ты хоть видела, что это предсказание не для тебя? – спросила администратор.

Наташа покачала головой. Ольга, не выпуская чек из рук, дала ей снова его прочитать.

Зловещее предсказание о том, что иногда ошибка стоит смерти, осталось на месте. Но было и то, на что перепуганная до смерти девушка не обратила внимания – список покупок: торт «Пražский», шампанское «Новый Свет», белое...

Девушка оторвала руку от чека.

– Больше я не прикасаюсь к чекам в этом магазине. Ни как покупатель, ни как заместитель кассира. Больше на кассу я не сяду.

Закончив работу, она, несмотря на позднее время, шла за покупками к конкурентам. Перестали покупать в магазине и другие работники.

Вместе с Лизой, Константином и другими ребятами она провела Ларису Ивановну, когда ту перевели из реанимации.

– Я знаю про предсказание на чеке, – спокойно сказала та, глядя на Наташу.

– С этим можно что-то сделать?

– Запретить их?

Наташа кивнула.

– Это, конечно, безумие, безумие... Но – совпадение. Я в такое не верю! Выяснить бы, откуда берутся они. Кто их печатает...

– Судьба, – сказал Константин.

– У судьбы нету пальцев, чтобы клацать по клавишам. Кто-то это делает.

– Ищите, – ответил системный администратор.

Но никого не могли найти.



В районе то и дело происходили несчастные случаи. На пешеходном переходе, прямо перед школой, машина сбила ребёнка. Посреди дня кто-то выпал из окна на тротуар оживлённой улицы. Всяких мелких неприятностей было не счесть, и все их увязывали с предсказаниями на чеках. Всё меньше приходило покупателей в магазин, в атмосфере словно витал дух грядущего апокалипсиса.

Но потом вся история закончилась. Не благополучно, не трагически. Довольно банально.

Предсказания исчезли с чеков.

– Они не способствовали увеличению продаж, и было решено их отменить, – сухо сообщила директриса.

Наташа ещё год проработала в «Ассорти», потом перешла в другой супермаркет, где зарплата была повыше и условия труда были более комфортными. Лиза вскоре последовала за ней. Перебрался туда и Константин – какое-то время они снова работали вместе. Потом Наташа закончила институт и устроилась по профессии, помощником бухгалтера в небольшой фирме. Всё складывалось неплохо. В будущее она боялась заглядывать, но возлагала на него большие надежды.

АНАСТАСИЯ ЗИНЕВИЧ

ПОСЛЕДНИЕ ЛЮДИ

рассказ

Глухо стукнуло. Мгновение – и я уже заполз под одеяло.

Но – о, облегчение! – шёпот: «Не бойся! Свои...»

Знаете – даже в тюрьме перестукиваются!

А у нас не тюрьма, нет...

Мы уже давно переговариваемся, чуть что – прячась под одеяло...

Даже не знаем – видят нас или нет... Даже если так – то что с того?!

Всё равно отсюда – нет пути. Ведь мы даже лишены памяти о своём прошлом! Куда же возвращаться?!

А здесь – хорошо, комфортно. Только вот дышать трудновато. Но это ничего.

У нас ведь не тюрьма...

– Эй, Джо, ты всегда какой-то не такой... всё думаешь о чём-то... Может, знаешь – зачем мы здесь?!

– Издеваешься? Пусть доктор Линдэй расскажет... мы здесь, потому что мы – последние люди, забыл?! А за стенами нашего Дома – тьма... Нужно поддерживать порядок.

– Я думал, ты не такой идиот, как остальные, чтоб молоть ту же чепуху.

– А что ты от меня хочешь? Я всё забыл – так же как ты и твой сосед по нарам.

Молчание.

– Эй, Джо, ходят слухи... ходят слухи – что ты не всё забыл... Это правда?

Молчание.

– Джо, ты помнишь, как тебя зовут? Я вот – не забыл... не всё стёрли, сволочи! Джо, как твоё имя, настоящее Имя?

Молчание.

– Мне кажется, когда-то меня звали Аарон. Знаешь, что значит Аарон? Это «Первый», первенец. Я буду первым, у кого есть имя. Я буду первым, слышишь, Джо? Я буду завтра первым... Таких, как я, долго не держат. Эх, и чего это я исповедуюсь, чему радуюсь... Да и с чего это мне вдруг тебе доверять! Джо, скажи хоть слово. Или покончим с этим. Совсем покончим.

– Аарон... Ты много говоришь. Доктор Линдэй может заметить это по анализам, по пульсу. Да хоть по твоему дыханию. По глазам! Зачем ты всё это говоришь, Аарон?! Ладно, у тебя появилось имя... ну что, скажи, что изменилось от этого?!

– Джо... мне больше не страшно. Я больше не боюсь. Вот что. И ещё... ещё кое-что изменилось... Я знаю – кто я. Как меня зовут. Как звала меня мама. Да... вот что ещё: я – не умру.

– Что?! Что ты сказал?!

– Я не умру, Джо. Если что – ты позовёшь меня. По имени. И даже если я промолчу, ты будешь знать: я – рядом...

– Бред. Ты бредишь, Аарон. Я не верю тебе. И никогда не смогу тебе поверить.

– Жаль.

На утренней переключке мы выстроились в два ряда. Друг против друга. Это означало только одно – будет суд. И один из нас должен указать на другого.



Все закрыли глаза. А когда открыли – одного из нас больше не было.

Ночью никто не стучался в мою стенку. Но я всё-таки тихонько зашептал:

– Эй, Аарон... спишь? А я тут подумал... Меня ведь в самом деле по-другому звали. Давно это было. Слышишь, Аарон? Ведь я могу сказать об этом только тебе. Кому ещё доверить своё имя? Аарон! Меня звали...

Кричать было нельзя. Да и плакать... «Д-р Линдэй заметит по пульсу!» И я просто глухо бился о стенку и корчился. «Я всегда буду рядом... просто назови меня по имени, моему настоящему Имени...»

– Аарон! Аарон!.. Ты ведь так и не узнаешь, как меня зовут! Аарон! Я хочу быть Вторым, Аарон! Я хочу быть рядом! Я не хочу быть одним из них. Пошли они к чёрту, последние люди! Последним был ты, Аарон! Последним, Аарон!

Утром меня отвели в кабинет д-ра Линдэя.

– Мистер J0, так вас, кажется, называют? Садитесь, почувствуйте себя комфортно...

Всё знает, собака... Теперь главное – не попасться на крючок. Хотя...

– Мистер J0, поступило предложение перевести вас из сектора С в сектор В. Как вы думаете, почему?

– Не могу даже предположить.

– Не стесняйтесь, я-то знаю, какой у вас на самом деле характер. Никогда себя не стесняйтесь! Думаете, пряча свою суть, вы поможете Делу? Напротив, мы должны знать, как использовать ваши природные способности и свойства и успешно оптимизировать их... Вам понятно? Так в какой области вы чувствовали бы себя комфортно, могли бы свободно, так сказать, проявить себя?

– Д-р Линдэй... я правда не знаю, вы же знаете, у меня проблемы... Я...

– Мистер J0, как вы думаете, почему вас так называют? Если вас переведут... если вы согласитесь перейти на второй этаж, вас будут называть J1.

И тут я решился.

– Извините за вопрос, док. Вы просили чувствовать себя свободно. Так вот, мистер Линдэй, почему вас так зовут?

– Вы хотите знать, почему у меня – фамилия, а у вас набор букв? Вас это задевает? Вы не первый... но на искренность отвечают искренностью и, хоть это и не принято среди психиатров, я буду говорить с вами начистоту. Когда-то в присутствии родных или самого больного шизофренией среди коллег было принято осторожно намекать: «А этот – этот «Б»». Так вот... J0, вернее 1. Вас пригласили ко мне, дабы я сообщил вам радостную новость. Вы полностью здоровы. Вы слышите – вы выздоровели!

– Но от чего?

– С голосами покончено. И с раздвоением тоже. Вчера был последний приступ.

– На что вы...

– Разве вы ещё не поняли?! Никакого Аарона – не было и быть не могло. Мы не стали расстраивать вас. Вы должны были сами разобраться. Помочь себе и нам. Теперь вы – свободны. Слышите? Лечение подошло к концу. Идите на второй этаж. Ваша комната готова. Ну, веселей! Потом спасибо скажете! Уважаемый Мистер Джон.

Ты обманул меня, Аарон. Я же говорил, что никогда тебе не поверю...

Теперь – кончено, Аарон. Меня зовут J1, а тебя... никогда не было. Не было даже буквы! Пустота! Ты – нем, ты никто! И это я заставил тебя замолчать. Я убил тебя, Аарон...

ГАЛИНА СОКОЛОВА

АДАМОВО ЯБЛОКО

повесть

часть I

1

И вовсе не собиралась я уезжать в эту страну. Просто случилась оказия: мне предложили рвануть туда с желанной для многих целью повышения квалификации. Её повышением занимались торговые работники, в число которых я не входила, но шанс увидеть заокеанский рай подвалил вовремя: бандитские разборки на улицах и передел государственной собственности уже утомили, а страсть к познанию огромного, сверкающего как рождественская ёлка, мира взлетела на самый пик. И с помощью кое-каких знакомств я закосила под студентствующую полуторговку. Тем более, что всё новое, начиная, к примеру, с первого леденца в виде петушка в шелестящей обёртке – соблазн не намного меньший, чем в своё время яблоко для Адама.

А он встретился мне в самые же первые дни – хэллоуинские. Я ещё не вполне обустроилась в своей небольшой комнатке: девственно-белые стены и потолок, с которого сияла невиданная мной ранее галогеновая лампа. И широченная, как взлётная полоса, кровать, вызвавшая во мне недоумение своей беспредельностью и необъятностью. На крохотной кухоньке – электрическая плита, широкий как шкаф холодильник и микроволновка, вселявшая подсознательный страх.

...Он выделялся среди других – тёмно-шоколадных, желтовато-узкоглазых, разбойно-рыжих и прочих разномысленных посетителей хэллоуинской дискотеки, где возраст ограничений не имел. Более того, приоритет отдавался парам от пятидесяти и выше. Им и кофе, и, случалось, дринки преподносили за счёт хозяина хорошенькие мулатки в белых передничках. Молодых – от двадцати до тридцати лет – можно было насчитать не более трети танцзала. Это уж потом я узнала, что здесь на дискотеку пускают только тех, кто достиг совершеннолетия, то есть двадцати одного года. Хотя громадному чернокожему секьюрити на входе это нисколько не мешало изучать ай-ди – удостоверения личности – даже тех, кому было за восемьдесят. К моему изумлению их тут тоже было, что мотыльков летом. Бойкие старушки с не менее бойкими своими бойфрендами проводили отпущенное им время с нескрываемым наслаждением.

Он появился возле меня внезапно, как с неба упал, и его широкополая, прямо киношная шляпа хэллоуинского ковбоя мне показалась тогда ореолом, нимбом – так загадочно её светлый овал обрамлял его смугловатый лоб.

– Джим, – представился он, и королевским жестом человека, до сих пор не знавшего ни в чём отказа, повёл меня на середину зала.

Я не помню ничего из того, что он говорил, не скажу ни слова из того, что ему отвечала – словно какая-то невероятная химическая реакция включилась во мне... И уже через короткое время, скрепив узы Гименея печатями и подписями уважаемых лиц в мэрии, из гражданки Аникиной я стала миссис Смит.

Что такое счастье? Богатство? Блага? Любовь? Почему люди, зная, что надо всегда поступать себе во благо, норовят обязательно сделать наоборот? Казалось бы, так просто – даже рыжий Сиенна, забравшись в джимовский дом (за который, заметьте, ему, как собаке, платить не приходилось!) выбирал себе местечко поудобнее, чтобы и хозяев держать в поле зрения и входную дверь, откуда могла бы последовать опасность. Он клал мохнатую морду на лапы и зорко следил за всеми передвижениями в доме. Но то собака, а это мы, люди. А человек, как известно, сам кузнец своего несчастья. В отличие от животных, ему часто отказывают мозги.

Первое, что я сделала: повесила свидетельство о браке на самом видном месте своего нового дома. Первое, что сделал мой новообретённый «половин»: он заключил брачный контракт, в котором значилось, что его дом – это только его дом. Дом стоял в тихом районе, возле парка и озера. Не очень большой по здешним меркам, но и не маленький, потому что, кроме первого этажа, из которого,



впрочем, дом и состоял, был ещё так называемый цокольный, как я поняла, для всех хозяйственных нужд. Там стояла стиральная машина с сушилкой и белыми пластиковыми корзинами, куда Джим каждый вечер сбрасывал свои футболки, сорочки и носки. Там находилась вся уборочная техника для дома – два пылесоса, цветные тазы, что-то похожее на швабры и всякие другие, не сразу разгаданные мной приспособления для поддержания Чистоты.

Да, именно так: Чистота с большой буквы. Это понятие стало вмещать в моей новой жизни так много, что в малый шрифт написания оно просто не укладывалось. Я-то привыкла у себя на родине – ополоснула лицо, провела несколько раз зубной щёткой во рту, нос припудрила, губы мазнула – и готово. Что касается влажной уборки, то она происходила также, между делом и не занимала в моей жизни большого места. Потому что куда больше времени уходило на работу, на девичники в студенческом общежитии и на развлечения где-нибудь в «Палладиуме». Гигиена как таковая была понятием несущественным или вернее не настолько существенным, чтобы из-за неё когда-либо у меня возникали тёрки. Ну, разве что кто-то из пацанов забрасывал пару своих носков с просьбой срочно постирать, а я топилась на дискотеку.

– Такое возможно только в дикарской стране, – снисходительно заметил Джим, прикидывая, долго ли ему придётся ещё меня слушать. Я как раз готовила ко сну постель – натягивала на огромный матрас невесомо-тонкую шёлковую простыню, которая то и дело норовила спорхнуть к моим ногам. Потому очередной вопрос хазбенда: «Что это значит – забросить грязные носки в комнату девушек?» – показался мне несущественным. Я промолчала и, пощёлкав выключателями, нырнула под кисейный балдахин. Великолепная кровать в восточном стиле манила призывом. Эту шикарную вещь мне посоветовала взять моя лучшая – и единственная – подруга Власта. И не просто посоветовала, а сама и взяла – кровать стала её свадебным подарком.

– Человек проводит в постели большую часть жизни, – убеждала она, с восторгом поглядывая на образец, выставленный в торговом зале. – А женщине такая кровать просто необходима. Она в ней будет чувствовать себя как сказочная пери.

– Пэри, – обратился ко мне Джим, игнорируя моё настоящее имя: из-за того, что оно происходило от греческого слова «пятница», оно казалось ему... исламским – то есть, неблагозвучным. К тому же, в середине имени мерещилось ему слово *ascal* – «плутишка», и поэтому он наотрез отказывался именовать меня Параскевой. Меня так называли, потому что Святая Параскева считалась покровительницей путешественников, а родители всю жизнь мечтали поехать вокруг света. Правда, при Советах такое было почти невозможно по причинам политическим, а после стало недостижимым в силу материальных.

– Пэри, почему от тебя пахнет женщиной? – не успев забраться в постель, поинтересовался супруг и к моему изумлению откатился на другой край необъятного ложа. – Я не усну!

Через минуту тягостного молчания он рывком сел на противоположном краю постели, раздражённо стянув на себя простыню и занавесив ею нос. – Это невозможно!

Я ощутила неловкость. В розоватом свете ночника искажённая тень Джима нависла надо мной как угрожающий обвалиться карниз.

– Это... – Джим не нашёл подходящего сравнения и грозно взглянул на меня как бы давая понять – здесь, в фантастически-высокой цивилизации людей, которые держат в пальцах нити от судеб мира, такое несерьёзное отношением к гигиене возбраняется категорически.

Он снова потянул воздух и брезгливо скривился.

– Ты не должна ничем пахнуть. Ничем, – повторил он назидательно. – Тем более женщиной.

И прорубив ладонью между нами границу, презрительно бросил:

– Я не хочу, чтобы надо мной смеялись из-за твоих варварских привычек!

Ну вот, подумала я, охваченная двойственным чувством. В каждой избушке – свои погремушки! Одна сокурсница-иранка рассказывала, что у них женщины до сих пор положено ни в чём не перечить на людях мужу и до сих пор мужчины и женщины даже катаются на лыжах по отдельным склонам гор. Но то восток, а здесь – цивилизованная страна, страна, где женщины рулят не хуже мужчин. Отчего же вместо нежных слов и поцелуев этот отчуждённый тон?

– Джим, я только десять минут как вышла из ванной, – попробовала я защититься, принохиваясь к самой себе – никаких запахов, разве что лёгкий аромат шампуня.

– Повторяю, от тебя не должно пахнуть ничем биологическим! Это стыдно.

Его голос мне стал напоминать скрип мерно раскачивающихся качелей, сходство с которыми усиливала кольшущаяся на пологие кровати Джимова тень. Живые интонации с каждым словом всё больше исчезали из его голоса, а сам Джим, вероятно, для пушей убедительности на каждом слове вместе со своей тенью как бы вколачивал гвозди в мою голову. – Тюк: – Это позорно! – Тюк: – Это отвратительно!

– Никогда больше не расстраивай меня подобным образом, – не унимался Джим тоном, не допускающим возражений. – Никогда. Слышишь, хан?

Это «хан» – сокращение от *honeу* – было самым ласковым из американских обращений, что-то типа их же «эби» или нашего «дорогая». Но буквально оно переводится как «мёд», и потому всегда, когда Джим называл меня ханей, я представляла себя ложкой дёгтя в огромном деревянном жбане мёда. К тому же, само слово наводило на тройственную ассоциацию с ханой, ханыгой и ханжой, из-за чего я никогда не могла удержаться от смеха.

Засмеялась я и сейчас, и чуть было не брякнула всё, что по этому поводу вертелось у меня на языке. Заодно и про тегеранско-афганские традиции, и, кстати, вообще про гендерные искажения, которые ведут к нарушению взаимопонимания полов — только на днях наткнулась в инете на чьё-то дипломное исследование по этой теме. Но исхитрилась сдержаться — всё-таки первая ночь с любимым человеком в первом в моей жизни собственном доме в новой для меня стране.

— Джим, ты забыл — я и в самом деле женщина! — попробовала я разрядить обстановку и слегка подвинулась в его сторону.

— Женщина не должна пахнуть, — взъелся он по новой. — Человек вообще не должен ничем пахнуть, это стыдно, — зарядил он тем же деревянным голосом и, аккуратно ухватив подушку за ухо, без тени сомнения двинулся к двери.

— Я не могу спать в газовой камере, — буркнул он на прощанье. — У меня аллергия. И вообще я не засну на этой чудовищной кровати! — Раздался щелчок замка и в кабинете заклацало: Джим топтал кнопки клавиатуры.

До утра я спала одна на широченном ложе под сказочным балдахинном, которому в пору было прикрывать утехи гаремной красавицы. Увы, наша первая из возможных тысячи и одной ночи не удалась. Утром я слышала, как снова щёлкнул замок теперь уже входной двери — Джим ушёл на работу.

Так началась семейная жизнь.

2

Мы влюбляемся, сходимся и живём как бы с одной какой-то, более близкой нам частью друг друга. В то время как ещё две трети остаются где-то в тумане и неразличимы до самого финала. То-то в Талмуде: «Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы есть». Древние уже знали эту истину. Но кто нынче читает древних!

В основном, в нашем доме царил глубокая, каменной кладки тишина. Джим целыми днями пропадал или на работе, или за монитором компьютера — переводил «электронную бумагу» или встраивал какие-то ускорители Интеллекта. А то вдруг начинал кому-то стучать по мобильнику, что опять случайно снёс все диски и комп наловил жуков — то есть вирусов. Бывало, даже в выходные он срывался куда-то искать сверхзащищённые баймы второго поколения и возвращался за час до полуночи (никогда не позже), усталый, но не голодный. И последнему обстоятельству я была рада: отпадала необходимость вскакивать и разогревать ужин. Утром после работы мне и так нужно было выдраить до блеска оба этажа, постирать всё, что брезгливые пальцы Джима набросали в пластиковую корзину и не опоздать в колледж на бесплатные классы английского — там почти ничему не учили, зато каждую неделю экзаменовали. При таких обстоятельствах моя повседневная жизнь разнообразием не отличалась. Она шла по кругу: работа — стирка — кухня — класс — спальня. Причём в спальне, под восточным балдахинном — воплощением прежних моих грёз — чаще всего я оставалась одна. Ну разве что Сиенна осторожно пробирался и укладывался на ковре с моей стороны, периодически глухо постукивая хвостом, если встречался со мной глазами.

Так было заведено с первых дней, так длилось уже несколько месяцев. И хоть дело шло к лету, в доме становилось всё холоднее, будто постепенно отключали отопление. Я даже стала всерьёз задумываться, что до замужества, в колледже, я куда интереснее проводила время.

Я занималась сёрфингом и подводным плаванием, я ходила на Спивакова, в конце концов! И мне не надо было каждый день выкручивать горячие бутерброды к Джимову завтраку. Тем более, что, несмотря на профессиональный фанатизм, денег, выделяемых мне хазбендом на расходы, катастрофически не хватало. Времени — тоже, и хоть я неустанно читала, но читала по-русски, и заработать гонорар на здешних англоязычных интеллектуальных конкурсах мне уже не светило.

Но отечественные подруги писали по скайпу: сиди — и не рыпайся! Нечего на родине делать, все только и мечтают убраться с неё подальше, куда примут. Потому что стало там ещё хуже: целые кварталы отключают от энергоснабжения по несколько раз в сутки и ходить куда-то вечером стало совсем опасно. Никаких распределений на работу не жди, разве что в село на гроши и без права на бесплатную квартиру. И, скорее всего, после учёбы устроиться на работу будет вовсе нереально. Вот разве что компьютерщикам, как всегда, везёт — их пачками принимает Германия, а там приличная зарплата и социалка. Но мы-то не компьютерщики! В лучшем случае нас в Польшу замуж возьмут. Но Польша тоже страна бедная, многого не получишь.

И мне все завидовали.

А я тем временем вскакивала в три утра, чтобы до рассвета вместе с заспанными тинэйджерами разнести газеты подписчикам. На более серьёзную работу меня не брали — сказывалась нехватка английского, но главное — отсутствие постоянной грин-карты и постоянного разрешения на работу.

— Я думаю, дорогая, тебе стоило бы присмотреть себе постоянную работу, — будто нарочно сыпал соль на рану муж. — У нас многие студенты работают, чтобы платить за учёбу. Деньги нам не мешают — у нас моргидж и машина в кредит.

— Не у нас, а у тебя моргидж и машина, — обычно буркала я в ответ. Моргидж! Так жутко для русскоязычного уха величали здесь обычную ипотеку — кредит на покупку дома. И если «ипотека»,



ассоциируясь с дискотекой, была призвана заманивать людей, то моргидж – наоборот... Ну, а машину Джим мне не покупал из принципа, из-за того же принципа не давал свою (хотя имел их в гараже три штуки), и учить вождению тоже не планировал. Газеты я развозила на стареньком, лично приобретённом за десять баксов на гаражке – гаражной распродаже – велосипедишке.

– Не у меня, а у нас моргидж и кредит, – подчеркнул Джим. – В доме ты живёшь, а на машине едешь как пассажир. А у меня лично ещё и алименты.

Да-да, Джим был женат до меня и платил алименты на пару усыновлённых им чужих деток! Говорить о них он не любил, в дом их не приводил, и потому я даже не знала ни пол, ни возраст детишек.

– А ещё у меня – таксы! О, – словно только вспомнив о них, Джим страдальчески закатил глаза. – О, скоро платить таксы.

Это слово я частенько слышала, возвращаясь с работы по утрам, когда Джим сводил ежедневный дебит-кредит, ровным голосом бубня под нос, куда платить, когда и сколько по счетам, что копились на его письменном столе, а сколько отложить на таксы, когда придёт время платить и за них. Но что означает непонятное слово «таксы», я как-то до сих пор не удосужилась узнать. В моей новой жизни появилось много понятий, о которых я почти не имела представления. Но день ото дня всё больше открывавшее меня глухое безразличие ко всему, что не касалось меня лично, уже не стимулировало былой страсти к познанию.

– Таксы? О, таксы! – опять брался за своё Джим. – Таксы – это настоящее проклятие! Как и моргидж, впрочем... Но таксы! Таксы! – В его, обычно ровном и спокойном, голосе появлялись трагические нотки.

– Ты можешь мне объяснить, что значит «таксы» и почему ты их так боишься? – попыталась однажды выяснить я. Но Джим лишь обречённо махнул рукой и снова перешёл на свой обычный, вежливо хватающий за горло тон: – Таксы – это налоги. И их надо платить. – И скрылся в своей спальне, где уже с минуту трещал его мобильник. – Хэлло! Хай, май френд. Десятый левел?! Да это же плёвое дело! – И дверь закрывалась.

Сквозь дремоту до меня долетали обрывки разговора ещё и с каким-то Эндрю, который сообщал Джиму, как была хороша выставка, и как высоко оценены картины, которые там экспонировались.

– Я вот-вот стану знаменит, – как-то, нехотя копясь вилкой в тарелке, с оттенком превосходства объявил мне Джим (моя виртуозная – по моему личному мнению – стряпня его не очень-то стимулировала, а тщеславие так и пёрло наружу). – Я почти у цели, соперников быть не может. Если в Сохо продастся хотя бы одна моя картина, обо мне заговорят во всём мире. И это случится уже скоро! Мы – американцы! Мы успешны и талантливы.

– А по-моему, ты ошибаешься, – с тайным злорадством рискнула возразить я, не очень-то веря в его успех и памятуя расхожую поговорку: «Если ты так умён, почему беден?» Кроме того, у нас на курсе ни одного отличника из настоящих американцев не было. Даже просто белых отличников не было, больше японцы и китайцы. Я намеревалась назвать и русских, потому что, невзирая на слабое знание языка, с которым приехала, до замужества я была на курсах в числе первых. В чём помогали мои три курса консерватории, которую, если бы не моя приятельница с барахолки, я бы уже закончила. Но она так убедительно расписывала мне прелести рынка, так сорила шальными деньгами, что я соблазнилась.

В общем, я скромно промолчала.

– Я никогда не ошибаюсь, – Джим посмотрел на меня иронично и провозгласил с резкой убеждённостью: – Мы – самая богатая и самая образованная страна. Все нобелевские премии – наши.

Ну это же надо!

– Да у вас всего двадцать процентов – производство. Остальные же восемьдесят – услуги (это из статистики в интернете!). Это мина замедленного действия!

Голос его стал колючим и холодным:

– Это ты, русская, говоришь мне? Кто выиграл холодную войну? Кто в реале придумал компьютер? А интернет, эту виртуальную вселенную? А фривей?

– Фривей придумали римляне, причём древние, – не сдавалась я. – Это не я говорю. Это факты. И нобелевцев трогать не будем: американское гражданство получают люди самого разного происхождения. А вот скажи: почему, к примеру, на ежегодных Международных научных олимпиадах школьников первые места традиционно занимаем мы, русские? А вы только за нами. Почему?

– Это неправда, – отчеканил он голосом, в котором звонко бултыхались кусочки льда...

– Как же неправда, Джим! Вот последние результаты: 2008 год. Первое место у Китая – пять золотых и одна серебряная медаль. Второе место – у России. Шесть золотых. Шесть! Все Иваны в золоте! США на третьем месте – четыре золотых и одна серебряная. И в 2009-м первое место – по-прежнему у Китая, второе – у Японии, а за ней – Россия. В России пять золотых и одна серебряная медаль, у японцев – пять золотых и одна бронзовая. Наши лишь на чуточку отстали в командном первенстве. А США опять – на третьем месте, после России. И среди участников – ни одного белого, кстати, все – китайцы и пакистанцы!

– Правильно. Мы самая гуманная нация в мире. Иначе бы нас обвинили в расизме.

– Я разве об этом? Я об интеллектуальном ресурсе. Весь ваш – в Китае и Корее!

– Я не понял, дорогая. Ты провозглашаешь апартеид?

– При чём здесь апартеид! – Ещё больше изумилась я неожиданному повороту.

- Ты же сказала, что белый этнос уже сам себя замещает.
- Да не говорила я такого!
- Как же не говорила, дорогая? Вот дословно: среди участников – ни одного белого.
- Ну? Так оно и есть, ни одного. Это факт, а не апартеид.
- Это апартеид. Только с обратным знаком. Не советую флудить такими выкладками.

Джим бросил на меня испепеляющий взгляд и молча направился к двери. Он как никто умел создавать вокруг себя зоны пустоты. . .

– Пожалуйста, хани, – приостановился он на выходе. – Подбери что-нибудь приличное из одежды, вечером я заеду за тобой в колледж – мы идём на пати.

И уже перешагнув порог, прежде чем закрыть дверь, мстительно добавил:

– И не забудь сначала принять душ. Там будут мои коллеги. Хотя ты и похожа на белую, я не хочу, чтобы из-за тебя надо мной смеялись за моей спиной.

Часы показывали почти десять утра – до занятий оставалось ещё два часа. Я решила пока «заняться хозяйством». Если продолжать экскурсию по цокольному этажу, то, протиснувшись между кипами картона с беспорядочно набросанными красками, упрёшься в дверь одной из кладовок, где стоит новенький сверкающий «Шанель» – не духи, а велосипед – да-да! И для меня стало откровением, что дом Коко производит не только духи и чёрные платья. Дизайнерский велосипед тоже был выдержан в классическом чёрном цвете. С седла и багажника свисали изысканные стёганые сумочки, которые вполне можно было бы носить через плечо, а на раме красовались две скрещённые подковки – логотип, отлично знакомый каждой уважающей себя женщине. Я, затаив дыханье, вожделенно ходила вокруг этого чуда и, наверное, напоминала кота, ронявшего слюнки на жирную мышь. Я всё строила догадки, зачем оно и для кого, но так ни до чего и не додумалась. Пользоваться им мне не позволяли категорически. Без всяких объяснений, вопросов и тем более ответов!

Чудо от «Chanel» всегда стояло одиноко, чуть припорошенное пылью, на которую мне строго указал белый конусообразный палец хазбенда. Сам же хазбенд ездил на чёрном спортивном «Понтиак», который вызвал бы шок у всех моих приятельниц на родине.

Остальное пространство цоколя занимали Джимовы рисунки разных лет создания. Некоторые сообщали, что они старые, другие – что совсем молодые. Их было так много, что не хватило стен на первом этаже, где они расположились, закрыв собой даже крохотные, с носовой платок клочки проёмов между дверями. Они спустились сюда, чтобы не тесниться и не соперничать за право быть замеченными, потому что уровнем выше все подходящие для них места были заняты более успешными и более скорыми на подъём. Назвать все эти рисунки картинами на мой неискущённый в новых арт-течениях вкус было трудно. Это были то яркие, цветные разводы, среди которых угадывались птицы, радуги, какие-то цветы, то чёрные коты, яростно выпнувшие спины или, наоборот, почему-то застывшие в созерцании луны. Лица каких-то женщины, выписанных с явным чувством, но почему-то как большие чёрные мухи, увязшие в паутине собственных волос, черепа и кости возле склонённых в молитве монахов, а то вдруг снова солнца, острые лучи которых иногда упирались в подпись – Джеймс Смит. Подпись была каллиграфична, готична, чем-то похожа на чопорного Джима, каким я его уже знала и совсем не вязалась с яркими, подчас даже сумасбродными мотивами.

– Станный какой-то, – думала я и в сердцах смахивала пыль с очередного незавершённого «шедевра». Сие произведение раздражало меня. Оно изображало долларовую купюру, а в центре её – языки пламени над привязанной к столбу человеческой фигуркой. Над пламенем в лучах традиционного для Джима солнца угадывалось Всевидящее око! Свихнулся Джим на таксах, подумала я с отвращением. Я повертела картинку, прикидывая, с какой стороны освещение для неё будет выгоднее и, ни на чём не остановившись, машинально сунула её в угол. Поговорю с Властой. Она специализируется на психологии, пусть посмотрит и даст своё заключение. Может, мой Джим вообще с клиникой. Странностей-то у него хоть отбавляй. Тем более, что заскочить к Власте всё равно нужно. Вчера она пыталась нанести мне визит, Джим долго разглядывал её смуглое лицо в экран домофона, но открывать дверь категорически запретил. Во-первых, он вообще был против моей дружбы с так называемыми «цветными»: хотя Власта прилетела в США из Праги и была коренной пражанкой, папа её был самым настоящим сомалийцем – мы подозревали даже, что самым настоящим сомалийским пиратом. Когда-то давным-давно будущий пират учился в ЧССР вместе с мамой Власты. От него и остался смуглый цвет Властиной кожи и крутые кудри. Когда коммунистическая платформа наших стран раскололась в пользу соседней с Сомали Эфиопии, её папа отплыл на этой платформе на родину, где его политтехническое образование мало пригодило. Он занялся каким-то бананово-кокосовым бизнесом, прогорел, благодаря кланово-племенным связям угодил в новый бизнес, в котором. . . стал миллионером. Сам он, вроде как по морям не плавал и суда не захватывал, но, сидя на своей роскошной вилле на берегу Аденского залива вроде как руководил процессом. Хотя, возможно, это было совсем не так, а, как говорится, сыграл стереотип мышления: раз сомалиец – то непременно пират. Точно я знала лишь то, что время от времени он присылал дочке почти неприличные суммы в твёрдой валюте и она, не скупясь, всегда меня поддерживала, считая, что мы почти сёстры. Ведь мама-то у Власты была славянской!

Итак, экспромт-визиты друг к другу были у нас в порядке вещей. У нас – но не здесь, в этой каменной цитадели!



– Дорогая, – сдвинув брови, попытался пошутить мой суровый хазбенд. – Почему кто-то пытается взломать мою защиту?

– Почему взломать? Мы с Властой подруги по колледжу, – охваченная раздражением, я изо всех сил пыгалась оставаться спокойной. – И что ты везде приплетаешь какие-то взломы?

– Потому что у нас в стране являться без приглашения – это как плюнуть в чужой суп. Это хуже, чем взломать чужой сайт.

Я промолчала. Подруга потопталась у ворот, дружелюбно потолковала с ликующим Сиенной и вскоре, к удовлетворению Джима, убралась восвояси.

– Мы – цивилизованная нация, и ваши варварские привычки здесь не пройдут. Ты должна понимать элементарные вещи. Тем более, – он посмотрел на меня значительно. – Тем более, ты живёшь в моём доме. Я здесь – хозяин! И решать без меня ты ничего не можешь. Кроме того, – он взглянул на меня чутьчуть насмешливо, как бы забавляясь. – Возраст у тебя ещё зелёный.

Лучше бы он этого не говорил. Я уже полгода старалась держаться, не вступать в конфликты. Не реагировать на оскорбительный тон, на мелкие уколы. Но в этот раз меня достало: Джим при каждом удобном случае напоминал мне о моём возрасте. С возрастом, кстати, проблемы у меня начались не сегодня. На родине меня давно, лет уже с двадцати, считали старой, образно говоря, девой, и при всяком удобном случае старались ущипнуть. Мол, тебе уже мечтать не о ком, кто берёт, за того и иди. Идти за кого попало – не хотелось: какой смысл заводить с нашими алкашами да гуляками? Одним словом, у нас мой возраст давно считался внушительным. Здесь же – наоборот: таким, как я, лишь недавно начали отпускать алкоголь, во всех барах и ресторанах у меня придиричиво разглядывали ай-ди, и я постоянно наталкивалась на отношение к себе как к несмышлёнышу.

– Возраст?! Мне почти двадцать шесть! Я давно не маленькая девочка, чтобы мне подтирали нос! – орала я, уже не в силах остановиться. – И вообще! У нас к двадцати одному году уже перестают ходить на дискотеки, а у вас только начинают! Да, у вас восьмидесятилетние на дискотеки ходят! Прикажешь и мне до восьмидесяти дома сидеть?!

Джим обалдело уставился на меня. Он не ожидал взрыва и потому опасливо ретировался.

А я внезапно отчётливо осознала, какая бездна разделяет нас и какая малость связывает.

3

Я посмотрела на часы: стрелки близились к одиннадцати, автобус же отходил в 11.15. Если вечером предстояла пати, нужно было поторопиться: кроме встречи с Властой мне стоило выкроить время на супермаркет: холодильник уже был пуст и, хоть мой хазбенд ел только овощи и сыры, однако всевозможные соусы, без которых он не садился за стол, как ничто другое требовали множества различных ингредиентов. И значит, тоже времени. Стало быть, моя задача сейчас – нигде не задерживаться.

Но и темп сегодня почему-то не задавался. Может, сказывалась замотанность последних месяцев: всё-таки учиться, работать и тянуть семью, даже если в ней лишь двое – задача непростая. Непростая она ещё и потому, что я не могла понять своего избранника. Я не могла взять в толк, зачем ему был нужен этот напичканный красивыми вещами дом, если вся жизнь в нём всё равно шла как бы в виртуале, платить же надо было за реал. Проще было снять квартиру. Зачем такой большой двор, а во дворе этот старый, заросший лаковыми листьями бассейн, если в нём к живейшему интересу Сиенны плещутся лишь две индифферентные черепахи. В университетском городке, где, «повышая квалификацию», я подружилась с Властой, да и в самом городе, за копеечный абонемент всегда можно поплавать в общественном бассейне, да ещё и в весёлой компании.

Зачем всё это, если механика бытия целиком и полностью замкнулась на чужой вкус? «Ты ничего не понимаешь, дом – это моя частная собственность!» – презрительно парировал Джим, чем опять ставил меня в тупик: какая же это собственность, если домом владеет не Джим, а банк, у которого он ещё тридцать лет должен выкупать его за безбожно-грабительские проценты! И чувства, ещё не так давно живые, как бы припорошились пылью, завязли в тенетах ролевых игр: так – можно и нужно. А так – не по уставу, неидеально и потому нельзя.

У меня на родине я привыкла к людям простым и искренним. Они жили, как хотелось, ходили друг к другу в гости и довольны были самым малым. По слухам, когда-то на октябрьские и первомайские праздники они таскались с транспарантами и флажками, а дома на кухнях весело слушали всякие западные «волны» и «голоса». На Новый год весь город вываливал на площадь – хлопали пробки шампанского, гремели динамики, взлетали нехитрые фейерверки... Почему здесь, в нынешнем реале, в удобном, хорошо обставленном доме меня нисколько не тянуло по вечерам зажечь свечи, и вовсе не радовала похожая на ладью цветная ваза, где они должны были бы плавать. Неинтересно было смотреть огромный, во всю стену, телевизор, вызвавший бы на родине приступ вожделения у всех подруг... Мне всё здесь стало немило. Я сознавала свою странную, облепившую меня паутиной несвободу.

Автобусы здесь оказались не таким уж удобным средством передвижения. Ходили они только раз в полчаса по нескольким, довольно замысловатым маршрутам. И хотя ходили строго по расписанию — минутой раньше, но никак не позже — всё равно оказывались мне не с руки. В университетскую библиотеку, где подрабатывала Власта, я попадала долгим окружным путём с двумя пересадками. По сути, время, которое за пять долларов уходило на мою поездку, я могла гораздо успешнее потратить напрямую, сэкономив при этом на чашку восхитительного мокко в библиотечном кафе. В первые месяцы своего пребывания здесь я постоянно торчала в библиотеке, и в коротких перерывах наслаждаясь напитком, добавляла в пластиковый стаканчик ещё и корицы, и имбиря, и тёртого шоколада, которые, как прочие добавки, полагались бесплатно...

По той самой причине я без спросу и взялась объезжать стоявший без дела новый Джимов велосипед. От моего собственного он отличался всем, в том числе главным — тормозами: тормозить на нём нужно было руками, а не ногами. Задача эта была не из лёгких, руки быстро уставали и велосипед петлял по горам-долам холмистой местности, вовсе не предназначенной ни для велоспорта, ни для пешеходов. Но мне нужна была мобильность. Да и пять долларов на улице не валялись.

Экономить я начала не с сегодняшнего дня. Доллар к доллару — у меня скопился небольшой «капиталец» на что-то более существенное, чем автобусный тикет. Например, на новые джинсы. Старые, купленные ещё на отечественной барахолке, уже не выглядели такими понтовыми — от частых, почти ежедневных стирок они поблёкли, края их пообтрепались, и одна из заклёпок обещала вот-вот отлететь.

Кроме того, мне нужны были деньги и на косметику: от мыла и постоянных водных процедур моя кожа начала угасать, возле глаз утадывались пока ещё прозрачные морщинки, не говоря о том, что и тело зудело от непривычного минерального состава местной воды.

Я пыталась привлечь внимание мужа к этому факту в надежде, что он отступит на ещё одну статью расходов. Но ничего не вышло.

— Пэри, хани, ты чересчур молода, чтобы заботиться о таких вещах. Чем меньше на лице химии, тем оно свежее, — бесперемонно оборвал меня Джим, полируя при этом розоватый, чуть заострённый ноготь.

Забывла сказать: Джим работал дизайнером в каком-то странном компьютерном бизнесе, чертил непонятные картинки для непонятных журналов, расхोdivшихся по всей Америке — и считал, что его внешность была его рекламой. Как и его полукомпьютерные полудевушки-полуоноши. Правда, мне они совсем не казались привлекательными. Они были как из спичечного коробка — все одинаково долговязые, широкоплечие, с выпуклыми, как у негритянок, губами и неестественно стоячими грудями.

— Где вы набираете прототипы? — всякий раз удивлялась я, листая вощёные страницы. — Хотя бы один в теле был.

— В теле у нас вся Америка, — пояснял он терпеливо, как ребёнку. — А модель должна соответствовать. Вот ты не подошла бы.

— Это почему? Из-за веса?

— Из-за роста. И грудь у тебя маленькая.

— Как это? — не поняла я. Мой третий размер я считала вполне подходящим для собственной конституции, не много не мало — в самый раз.

— Маленькая-маленькая, — заверил меня Джим. — Тебе обязательно нужно поставить имплантанты.

— Силиконовую грудь? — хихикнула было я, приняв это за шутку, но Джим строго посмотрел на меня. Он уже надел тёмные очки и взялся за ручку двери. — Силиконовую или силиновую. Почему бы нет? Какая разница, естественная или искусственная? Главное — чтобы была большая! Грудь должна быть такой, как требует идеал. Есть собственная, как требует идеал — хорошо, нет — делай, — он посмотрел на меня оценивающим взглядом и заключил: — Бери и делай.

Я посмотрела на него в замешательстве. И представила, как супердядя-Джим выкладывает из кошелка тугую пачку банкнот и, не жмотствуя, отдаёт её хирургу, а тот просит «добавить бы надо», потому что силиновые прелести стоят баснословно дороже, чем наши из плоти и крови.

— Ладно. Предположим — грудь есть. Что ещё мне надо?

— Тебе? — Джим посмотрел внимательно и огорошил: — Можно чуть надуть губы, выпрямить нос и обязательно сделать зубы.

— Как — губы и нос? Как-как-как — зубы?! У меня все свои. Ни одной пломбы ещё нет!

— Пломбы ни при чём, — отмахнулся Джим. — Зубы должны быть идеально ровные и белые. Кстати, для модели у тебя неправильный прикус.

Я уставилась в зеркало и ничего из ряда вон выходящего на своём лице не нашла: губы — в меру пухлые, нос — пропорциональный, а зубы как зубы, белые, ровные. Ну, разве что крохотная щёлка между двумя передними. Но её почти не видно. Придирки! Высунула на всякий случай язык — он был красный и остренький — и, показав его Джиму, задала совершенно резонный вопрос:

— Но если я такая «неидеальная», зачем ты на мне женился?

— Я же тебя люблю, — с ледяным спокойствием ответил хазбенд, — и хочу, чтобы ты была самой красивой.



Я представила себя «самой красивой»: с резиновыми сиськами под мышками, с губами-блюдцами на пол-лица, с носом а-ля Майкл Джексон, со зловеще-железными скобками на зубах и рассмеялась.

— Не вижу ничего смешного. На всё есть идеал! — опять припечатал меня хазбенд... — При этом он с грустной миной выгреб из моего, валявшегося на столе, кошелька мелочь вперемешку с мелкими купюрами.

— Что-то ты много тратишь. Ты не могла бы быть поэкономнее?

Перемеряв с десятков моделей, я остановилась на этой. Я даже была рада, что ни одной от известных мне на родине фирм тут не оказалось. Та же «Леви» вытянула бы все мои сбережения, а эта, неизвестная, не напрягала. Денег вполне хватило, даже остались. Джинсы соблазнительно приоткрывали полоску живота и хорошо обтягивали мои высокие в голени ноги. В таком виде, мне думалось, я уж не буду выглядеть менее привлекательной, чем Джимовы «прототипы».

— Это наш хлеб, — пояснял он обычно в ответ на мой красноречивый взгляд. — Если они откажутся от моих услуг, нам нечем будет платить по счетам.

Я заплатила и направилась было в отдел косметики. Чтобы Джиму не пришлось сегодня краснеть за мой вид, косметику нужно было подобрать качеством повыше — может, «Лореаль». Или даже «Шанель»... И тут возле сияющего тысячько солнц ювелирного бокса моё внимание привлёк высокий изломанный «прототип» — прямо из Джимовых журналов. Прототип неопределённого пола и возраста примерял золотую диадему, усыпанную разноцветными камешками. Может, там были и бриллианты — диадема искрилась и переливалась как на андерсеновой принцессе. Прототип нацепил драгоценную вещицу на свои распатланные волосы, повертелся перед своим бойфрендом и, удовлетворённо кивнув, вернулся к зеркалу. И тогда в ярко освещённом его отражении я вдруг узнала того, кто стоял рядом и выписывал чек. Это был мой хазбенд Джим.

Я не могла поверить: сердце моё колотилось, в горле царапало, как будто там провели наждаком и, спрятавшись за колонну, еле сдерживая предательский кашель, я стала следить, как «сладкая парочка» раскланивается с продавцами и как в ответ те кланяются им. В голове у меня проносились разные предположения. Но как ни пыталась я найти оправдательные мотивы, как бы ни убеждала себя в профессиональной необходимости сего действия для бизнеса, предательская дрожь не проходила. Тем более, что мне ещё ни разу за время замужества не довелось получить от моего измученного долгами хазбенда хотя бы поощрительного поцелуя, чего уж говорить о ювелирном салоне. Тут же на моих глазах произошла многотысячная торговая сделка и её приняли как должное. Прототип даже ухом не повёл, более того: он вышел из салона и сел в наш «Понтиак», как в свой собственный, нимало ни о чём не заботясь. А я, идиотка, экономлю на мокко!

«Я ему скажу всё, что о нём думаю! — в бешенстве накручивала я шанельные педали, пытаясь успокоить себя скоростью и ветром. — Я припомню ему и биологические запахи, и свои джинсы с оборванной бахромой! И запретный велик. Я ему покажу экономню! — твердила я с разгоревшимися щеками, готовая немедленно собирать вещи. — Завтра же подам на развод и... да, отсужу у него половину положенного мне как законной жене, иму...» — предатель-велосипед не дал мне докончить. Он резко скользнул вбок, вывернув колесо, и я грохнулась в какой-то старый фонтан с каменным колодцем. Свёрток с джинсами, косметикой и ещё какими-то мелочами — всё оказалось в цвёлой воде!

— Нужна помощь? — веснушчатая, словно перепелиное яйцо, физиономия широко улыбнулась из-за ветрового стекла и выскочила из-за руля. Это был крепко сбитый паренёк лет двадцати в драных сандалиях на босу ногу. Осмотрев предатель-велосипед, он многозначительно присвистнул и, ткнув в него пальцем, опять предъявил щербатые зубы: 1-0 в его пользу!

Я подобно нашей черепахе из бассейна лишь втянула голову в плечи, по-прежнему не решаясь взглянуть в сторону фирменной ценности.

Он ещё с минуту с интересом понаблюдал, как я вылавливаю из воды облепленные мусором покупки, и, снова присвистнув, сделал вывод:

— Классный лаг! Отыграться придётся нескоро — копыто нужно менять. — Куда ехать-то?

Я как-то ещё не придумала, куда. Но выбирать было не из чего — в моём виде был смысл ехать куда угодно, но не оставаться тут. Я по-прежнему не решалась повернуть глаза к Шанепеду — впереди были жуткие объяснения с Джимом.

— Можно в колледж, — в тон, но хмуро произнесла я, брякаясь на заднее сиденье.

— Уже едем! — понимающе кивнул паренёк, пристроив Шанепед в своём багажнике и протягивая мне обе открученные от него сумочки. В одной из них оказался сюрприз: фирменная косметичка «Chanel»! Парень, взглянув на мой мокрый мобильник, выгашил из кармана свой.

— Попроси, чтоб тебе принесли переодеться. И — прямиком в данж. — Он явно принял меня за студентку — в университете так называли бассейн.

Он опять покатился со смеху, разглядывая меня в зеркало дальнего вида.

— Хай, Власта! Притащи мне в бассейн джинсы и футболку, плиз, я вся мокрая! Потом объясню, — сбросила я на автоответчик.

— Ты вот что, — высадив меня, предложил спаситель. — Оставь велик у меня и скажи мне свой номер. Мой — вот. Я почию и созвонюсь.

– Идёт, – машинально улыбнулась я. И назвала цифры. Потом цифры Властиного мобильника – мой промок настолько, что отключился.

– Может, уже завтра позвоню. Как звать?

Я назвалась. Он тоже. И мы расстались.

Плавательный бассейн располагался под зданием общежития и был стилизован под морской залив. Схожесть усиливал большой макет парусника, деливший воду на две части: глубокую – для любителей плавательных стилей, и мелкую – для тех, кто занимался водной аэробикой. Корабль дрейфовал вдоль середины бассейна. Там мы и встретились с Властой.

Она примчалась почти сразу. Во-первых, потому что была её смена – Власта недавно ушла из слишком тихой для её деятельной натуры библиотеки в бассейн – в спасатели. А во-вторых – узнать, что случилось у замужней приятельницы, которая держит дом на запоре даже от лучших подруг. Будущему психологу это казалось делом первостепенной важности.

– Всё хорошо. Всё спокойно, – словно убаюкивала она меня, зорко следя, чтоб никто нас не подслушал. Она выставила на корме табличку «закрыто» и сохраняла свой пост с немалым усилием, отгоняя то одного, то другого претендента. Этот корабль в студенческой среде давно стал модным – желающие могли забраться туда для свиданий или просто отдохнуть: полистать журналы, выпить чаю из электрического чайника, что стоял в кубрике. Но Власта уверенно держала оборону, не забывая при этом слушать и меня. А слёзы опять душили меня. Казалось, что боль, которую сейчас опять чувствую я – это последнее из чувств, на которое я вообще способна. Только когда всё разочарование, все скопившиеся обиды я, наконец, выплеснула, мне стало вроде бы легче. Но натура Власты, вероятно, и тут не была способна полностью замкнуться только на мне. И это задевало. Похоже, ей не казался таким уж драматичным мой рассказ. Она-то не отключала от меня внимания, но её окрики типа «Закрыто! Ремонт!» или «А ну, в сторону!» показывали, что она относится к рассказу не так, как я. Я-то выкладываю душу, я исповедуюсь перед ней как на духу, а она смотрит на меня как шкодливая девчонка – уголки губ ползут всё выше! Тоже мне – психолог! Я пошла к сходням и с сердцем плюхнулась вниз. Выплыла почти через минуту и обиженно улеглась на спину, стараясь не шевелиться.

– А я тебе скажу так, – всплыл рядом её чуть приглушённый голос. Значит, она-таки поставила свой диагноз и теперь жаждет его озвучить. Ну-ну, послушаем.

– Вся беда в том, что ты бежала от правды. Ты хотела верить в сказку, которую придумала сама, – уже снисходительно сообщила Власта и шутливо плеснула в меня водой. – У вас воспитывали на сказках – о коммунизме, например. О говорящих Патрикеевках и Михал Потапычах, о всяких каретах из тыквы и добрых волках. Вы всё время стремились верить в то, чего сами и хотели. На самом деле всё было не так. – Она повернула ко мне смеющееся мокрое лицо. – Перемени декорацию, вернись – и всё. Ничего страшного не случилось.

– Ничего страшного не случилось, – повторила она, потому что не услышала ответа. – Если так хреново – вполне можешь вернуться назад. Ведь вы поженились только потому, что закончились курсы, и тебе нужно было уезжать. Он сделал тебе не предложение, а одолжение, и посчитал это веским основанием для того, чтобы относиться к тебе свысока.

«Неправда, мы поженились, потому что влюбились друг в друга!»

– И потому он даже не купил обручальных колец, а просто отдал тебе старое, завалившееся от первой женитьбы.

«Но-но-но я-то в него влюбилась, это уж точно!»

– Конечно, ты в него влюбилась: он мог дать тебе то, что не дал бы никто другой. К тому же, он не урод и не старик.

«Караул!» – пронеслось в запылавшей голове...

– Пошли в раздевалку, я дам тебе таблетку. Выпьешь – и всё пройдёт. Только не глотай на сухую, запей тоником. Вообще-то надо запивать водой. Но тоник вкуснее. Вода у нас тут не очень. – Она опять метнулась на корабль и помахала оттуда мне электрическим чайником с открытой крышкой: – Смотри – электроды взялись зеленой.

– У меня от этой воды почки просто отваливаются, – как ни в чём не бывало, болтала она, смывая в душевой хлорку бассейна. Просто удивительно, как легко Власта переходила на бытовые темы. Будто выключателем щёлкала. Может, и правда, потому, что не воспитывалась, как я, на Андерсене и братьях Гримм?

– Я периодически бываю на Ист-Сайде, набираю там воду в бутылки. Там вода прямо из скважин. А здесь... – Власта красноречиво закатила глаза. – Там «Боинг», «Майкрософт», там живут всяческие биллы гейтсы, другие важные люди, а мы – кто? Пока никто. Вот уж попадём в «золотой миллиард» – будем пить воду айсбергов. Чистейшую. Будут у нас огромные дома на пляжах, яхты и вертолёты. И мужики будут у нас в ногах валяться. – Власта опять хихикнула, представив, наверное, как мы с ней проталкиваемся в этот миллиард, к влюблённым мужикам. – Ну, всё? Глаза и нос в порядке? И правильно. Подумаешь – Джим! Да плевали мы на всех Джимов вместе взятых!

– Что такое человек? – уже в раздевалке трепалась она, не останавливаясь ни на минуту. – Двунюгий зверь без перьев, как шутил Платон. И ведь по сути-то он прав! Не усложняй то, что несложно. И всё.

Что значит – чешка! Хотя их страна тоже относилась к посткоммунистическому лагерю, и сейчас грешила проблемами ненамного меньшими, в отличие от меня этой девчонке палец в рот класть не



стоило: всё, что было не в её интересах, она в расчёт не брала. Впрочем, может здесь сказывались и африканские гены.

Власта натянула футболку на своё мощное, как у пловчих и регбисток, смуглое тело и принялась за меня снова.

– Ты слишком серьёзно относишься к его персоне, на которую нужно просто плюнуть. Поняла? Вот и плюнь. И не думай. Чем меньше думаешь, тем больше единомышленников – а в стране не без народа!

Она хихикнула и бросила мне пакет с одеждой. Её футболка и джинсы повисли на мне как на вешалке – Власта была размера на три крупнее. Впрочем, это её нимало не озаботило. Будучи вполне осведомлённой в механике жизни, она не считала, что внешние атрибуты имеют большой резон. Так что кто-кто, а она запросто могла бы в таком виде ввалиться и на папи.

– Это всего-навсего твоё собственное дозволение принять условия игры или нет.

Чихнув мотгором новенького «Мини-Купера» (мы окрестили его Брэдли – в честь Брэдли Купера из «Мальчишника в Вегасе»), она жестом пригласила меня на переднее сиденье. Сырой пакет с новыми джинсами небрежно пролетел возле моего уха на заднее. – Твой алиментщик на работе? Вот и отлично! Сейчас отвезу тебя домой, выпьем кофе да... покумекаем.

Власта любила вставлять всякие этнические перлы. Наверное, это настраивало её на одну волну с пациентом.

На машине путь оказался совсем короткий, и не прошло десяти минут, как мы были на месте. Бесстрашно потрепав за ухо оторопевшего Сиенну (конформист Сиенна при этом слегка улыбнулся и забил хвостом, тайком поглядывая на меня), Власта вывалила на стол виноград, яблоки и огромную бутылку золотистого вина в плетёном корсете. Это был тедж – знаменитое эфиопское медовое вино. Осмотревшись по сторонам и задержав глаза на нашем брачном свидетельстве рядом с малиновым закатом и каким-то странным пауком, что затаился в паутине возле самой Джимовой подписи, она заплясала от возбуждения. – Ага! Так он у тебя компьютерный дизайнер! – Тогда всё точно! Ставь бокалы! И не парься – компьютерщики все того... – она выразительно покрутила пальцем у виска. – Придурки, мнящие себя гениями. Не стоит из-за них портить кровь. Наливай! Медовое вино кровь восстанавливает!

После двух бокалов, осушённых нами почти залпом, она уже довольно серьёзно, как доктор, посмотрела на меня, определяя, готова ли я к разумному анализу. Впрочем, в этом взгляде и ответ читался отчётливо: конечно, не готова.

– В общем, так, – кидая спортивную сумку под стол и забираясь (о, Джим!) на диван прямо в кроссовках, провозгласил мой психолог: – Твой вурдалак работает с компьютерными моделями. Откуда тебе знать, в какую статью расходов попадают его траты. Они же, эти фьюи, – она опять покрутила возле виска – имеют всякие веб-кошельки, что-то продают, сальдо переводят в ВМЗ и получают в пять-десять раз больше. Там такая схема, что не разберёшься! У нас ребята в колледже тоже этим грешат – и как у вас говорят, на молочишко хватает. Это же не стёкла мыть в офисах – они за пару часов из железа выжимают максимум. Ты когда-нибудь работала с моделями? И я – нет. Вот и думай – может, у них так положено, может, на это вообще отпускаются деньги. Реклама! Фотосессии! Это в-первых, – Власта загнула тёмный палец с ещё более тёмным лаком на ногте и трянула золотым барашком волос. – А во-вторых, – она с тайным пониманием наклонилась к моему уху, – пока ждешь грин-карту – не рыпайся! Себе дороже. К тому же, хочешь что-то отсудить – нужен стаж не в месяцы, а в годы. Тем более, если контракт. Если контракт, нужен стаж – лет десять. И то. Сначала проверь, что там написано. Ты ведь когда подписывала, не проверяла? Во-о-от. А говорится: доверяй, но проверяй! – Она походила по кухне, тоже увешанной Джимовыми творениями. – У вас, у восточных славян, ведь как: влюбилась – помчалась – рай и в шалаше. А лето кончилось – шалаш протекает, холодно в нём... – Она смотрела на меня, будто взвешивала в каждой руке что-то очень существенное и не могла решить, что же выбрать. Власте явно не доводилось быть в моей шкуре – свою-то она уж точно знала бы, как защитить. Разность менталитетов, несмотря на их славянскую схожесть, сбрасывать со счетов не приходилось и это смущало подругу. Она с любопытством перебирала страницы журналов с моделями и смотрела то на них, то на меня, то на его картины. Понимание ускользало, пока мы не налили по третьему бокалу.

– Истина в вине! – наконец ударила она себя по лбу. – Как это я сразу не догадалась? Его картины! Всё ясно! В душе этого человека хаос! Отсутствие связи между всеми частями личности. Вот в чём дело. Клиника! А кто ещё в компьютерщики идёт? Кто мнит себя гениями? Каз-з-з-льыи!

Уголки её губ снова задрались почти до уголков глаз. Психолог она пока была никакой, и сформулированный диагноз её радовал, как высокий балл на экзамене.

– Ты придумала его образ, он – твой. Он пытался спастись от своего хаоса тобой! А ты от вашего хаоса – им! – вешала моя Кассандра. – А ты – дура. Как все ваши бабы!

Пьяную Власту несло потоком вдохновения и, если бы я не знала её, я бы в точности решила, что с ней тоже что-то не так.

– Ты что так смотришь? – веселилась она, заливая по-пражски кофе крутым кипятком. – Шас ещё кирнём, а это пока отстоит. Знаешь, у нас глинтвейн пьют прямо из бочки на улице, а потом запивают чашкой кофе и – можно начинать по-новой!



– Ой, уморила! – продолжала она. – Страдает из-за компьютерного придурка! А чего? Вы ведь живёте каждый по устоявшейся схеме – и всё заранее расписано, как роли. . . Здесь так живут многие. Их устраивает. – Она смотрела на меня круглыми, как две спелые виноградины глазами – на её смуглом лице они смотрелись неожиданно, как чужие и, попивая из бокала, резонёрствовала с наслаждением. – Компьютерщики привыкают к своей компьютерной жизни так, что невозможно жить в реале у них атрофируется начисто. Вы придумали друг друга. Да, придумали, и каждый исполнял свою роль. . .

– Но на него мне плевать, – разливая уже отстоявшийся напиток по чашкам, добавила она озабоченно. – Его роль – его проблемы. А вот ты. . . В жене, играющей жену, есть опасность отстранённости. А потом отчуждения. Это как в семьях моряков. Бабам их на фиг муж не нужен. Они с ним устают! Они ждут не дождутся, когда он опять отчалит. По сути, можно ведь жить и так. Рацио. Но вы любите сказки. Вот и бухаетесь в них как в омут. У славян это вообще пунктик. Моя мама тоже бухнулась в папу. А теперь что? Теперь одна. Не ехать же ей к пирату. Но выбор за тобой.

Власта, прицелившись яблоком в свидетельство, вместо него сбила со стены малиновый закат. Он грохнулся, свалив ладью с плававшими в ней свечами. Хорошо ещё, что мне не вздумалось их зажечь. Но Власта и внимания не обратила на созданный ею разгром, вся поглощённая неожиданным для себя спектаклем, где дебютировала в главной роли. Она и не собиралась опускать тяжёлый малиновый занавес.

– Хочешь любить – предпочти узнать в нём человека. Может, он и стоит любви. А может – нет. . . Узнай. А уж тогда решишь, как быть. – И грозя пальцем, рассыпалась колокольцами – смех у неё был такой. – Это ловушка. Лучше реши наоборот – Джим как трамплин.

Власта выбралась, наконец, из роли Кассандры, в ней уже взяло верх её неистребимое рацио. – Короче, если возвращаться не собираешься, значит, нужно ждать гражданства! Замужем за американцем – три года ждать, а не замужем – пять или больше. Решай сама. Притворство или одиночество – вот в чём вопрос.

Она посмотрела на меня испытующе.

– Впрочем, одиночество – понятие относительное. Всегда найдётся, кого взвалить себе на плечи! Потому – не лучше ли ничего пока не менять? Гражданство чего-то стоит. В зоопарке тоже свободы нет, но. . . средняя продолжительность жизни обитателей выше. И пока, если хочешь, это главное!

И хоть я ещё ничего не решила, возникшее молчание стало как бы клятвой заговорщиков.

Мы понемногу допили, и жизнь показалась просто замечательной. И, чтобы Власте не попасть в лапы полиции – в Штатах за вождение в нетрезвом виде грозит нешуточная кара – мы двинули теперь уже в Джимов бассейн. Власту несколько не смущала его негигиеничная заброшенность, тут в ней явно сказались дикие африканские гены – и она с шумом бухнулась в тепловатую воду, нимало не заботясь ни о черепахах, ни о пауках, что сплели свои сети прямо на сходящих: леди и джентльмены, мир тесен. Подвинуйтесь!

Мы так орали от удовольствия, что мне, привыкшей к тишине и сдержанности, было поначалу неловко перед соседями.

– Ну, так это всё твой Джим! – отмахивалась подруга. – Это он тебя выдрессировал. Если ты будешь смеяться, он не сможет думать, что твоя судьба в его руках. А двое в одном лице – разве не экономия? Ещё какая экономия! Тоже мне, нашла загадочного муженька! Загадочнее кота в мешке может быть только кошка! Только склеротики влюбляются без памяти! – всё ещё загружала она моё отсыревшее сознание.

– Вот почему вы, русские бабы, так зациклены на мужике?! Ты приехала в новую страну, а жизнь чешешь той же старой гребёнкой! Почему вы все подгоняете себя под одни и те же персонажи? Так тебя учила мама? Ну, так и пусть она живёт свою жизнь. А ты – свою. Знаешь, в восточных учениях говорится – когда человек приходит к грани миров – верхнего и среднего, где мы живём, в зависимости от накопленного опыта небесные владыки отправляют его или в верхний новый. Или назад в старый. Чтобы он опять переживал то, что не успел осознать. И так до тех пор, пока не осознаются и не изживутся прежние заблуждения. Такая вот перспективка.

– Хорошо, что мы, к примеру, не афганки! – согласно плеснула я в сторону Власты и она, хохоча, стала тоже громко бить ладонями по воде.

– Мне совсем не хочется талдычить пройденное.

– А повторенье – мать ученья, – ответила вполне довольная своим профессиональным дебютом Власта. Она натягивала футболку на мокрое тело, в последний раз являя мне свой могучий торс. – Так ведь у вас говорят? Но нам до того часа далеко. Если б даже мы были афганками. А потому будем пить и петь! Завтра же дам объявление в инете, что мы, две иностранные студентки, ищем партнёров, чтобы пить, гулять и веселиться!

– Так создан мир, мой Гамлет, – уже из машины кричала эрудитка Власта.

– Так создан мир! – поддержала я её.

– Абсолютли! – шлёпнули мы друг друга по ладоням на прощанье. Жизнь была прекрасна и удивительна!



Будильник сработал. И я разлепила глаза. Оказалось, вовсе не будильник, а мобильник. Ещё не понимая, почему я в гостиной, а не в спальне, я потянулась в сторону звука и обнаружила там Джима в очках и с блокнотом. Он мрачно ходил по комнате, что-то записывая, и, казалось, был с головой погружён в работу. Но увидев, что я проснулась, ледяным голосом процедил:

– Так, потрудись объяснить, что произошло. И не трогай мобильник.

Я не послушалась и схватила трубку.

– Наконец-то! – услышала я торопливый голос Власты. – Тут мне какой-то хмырь звонит, говорит, что по твоему номеру отвечает какой-то мудака. Просил передать следующую новость: «велик готов». И интересовался, куда доставить.

Я не успела ответить, Джим молча отобрал у меня трубку, послушал и нажал кнопку сброса.

– Кто звонит и сбрасывает, когда отвечаю я? Что случилось в моё отсутствие? И, пожалуйста, объясни, куда делся мой велосипед?

Мне нечего было сказать. Ответ был ясен. Даже не говоря о пострадавшем Шанипед! Сброшенные со стены картины, опрокинутые стулья. Диван – в кофейной гуще и винных пятнах. По всему полу – мокрая одежда и яблоки – целые и надкусанные... Под столом на боку, как русский Ваня, огромный пустой бутыль – скандал! Значит, мы выкушали, считай, три литра на двоих!

– Па-ра-ске-ва! – забыв о магометанской неблагозвучности моего имени, прочеканил Джим. – Ты играла в пинг-понг? – Джим брезгливо подбрасывал одно из яблок в руке.

Я тупо следила за его движеньями. Да, жизнь – штука сложная. Чтобы всё в сиропе – не получается. Так было здорово вчера и вот – пробуждение.

– Не слышу ответа.

Казалось, с лица хазбенда ластиком стёрли выражение. Оно не выражало ничего. Во всяком случае, можно было лишь предположить, что кому-кому, а Джиму есть, что сказать по этому поводу. Но он безмолвствовал. Он продолжал инвентаризацию с тем же непроницаемым видом.

– Так что, будем отвечать мне или моему адвокату?

Его тон не обещал ничего хорошего. Моим намереньем было вообще-то поскорее избавиться от боли в голове. Она сковала как обруч, а от слов хазбенда, словно бы ещё и винтик поджали. Я молча нагнулась – убедиться, что в бутылке уже не осталось ни капли золота. Да, так и есть. Пронёслась на кухню, повернула вентиль плиты. Джимова плита не имела горелок – на блестящей, чёрного агата поверхности обозначены лишь окружности, указывающие места для сковородок и кастрюль. Я поискала глазами пакетик с кофе – он, полурассыпанный, валялся у ножки перекинутого стула. Я подняла пакет. Джим молча, с долей брезгливости наблюдал за моими действиями.

Засыпав кофе по рецепту подруги, я подождала, пока золотисто-коричневая пена достигнет края чашки и накрыла её, чтобы гуща осела. Сама же тем временем подбирала слова для объяснения. Слов по-прежнему не находилось, может, они разбежались от боли в голове.

– Я жду ответа, Пэри, – продолжал нудить он, тщетно доискиваясь моих глаз и, вероятно, вкладывая в слова что-то своё – в его тоне теперь звучало явное предостережение. – Ты взяла без разрешения дорогой велосипед. Ты не явилась на важную для меня пати, на которую я был приглашён с супругой!

Пати, ёлки-палки! Я начисто забыла о пати! Даже с Джимовой точки зрения этот факт говорил сам за себя: случилось нечто из ряда вон выходящее.

Мне опять нечего было ответить, потому что я всё ещё решала, как после вчерашних событий поступить с нашей семейной жизнью. Это было состояние абсолютной внутренней неопределённости. Мне явно не хватало Власты с её бесцеремонной решительностью. И тот самый выбор, который она вчера ещё предлагала сделать, сегодня мне почему-то был не по плечу. Хотелось, чтобы всё решилось само собой, без моего участия. Вот ведь беда – если бы из меня получилась настоящая торговка, я уже нашла бы, что ответить. Но за моей спиной куча интеллигентствующих подруг и лишь одна рыночная. Да ещё несколько курсов консерватории – подготовка, ничего не давшая в нынешней моей жизни.

Напряжение, повисшее в воздухе, я чувствовала прямо физически. Наверное, Джиму было достаточно и этого затянувшегося молчания, потому что он вдруг развернулся и аккуратно захлопнул блокнот.

– Стало быть, ты не намерена отвечать, – констатировал Джим. – Но хотя бы можешь объяснить, с кем ты была?

Тон хазбенда по-прежнему не предвещал ничего хорошего и я, всё ещё не решаясь на откровенную стычку, еле слышно выдавила из себя:

– С Властой... .

Наверное, Джим ожидал чего-то другого, он оторопел, даже нацепленные очки слетели с его носа.

– Так вот оно что!.. Ты, ты, ты любишь женщин!.. – вдруг воскликнул он и поспешно скрылся в своём кабинете.

Вот так – ни за что ни про что, без драки – в забияки! – озадаченно ухмыльнулась я, слушая, как Джим «топчет батонь» вперемешку с шелестом газетных листов.

Кофе обжигал, но несколько не снимал головную боль. И почему-то не хватало духу выложить Джиму начистоту всё, что я думаю о нашей жизни, о его «прототипе» с дорогой диадемой на засаленной башке. А заодно о его дурацких подозрениях, не имеющих ко мне никакого отношения. В нашей стране такие вывихи ещё не достигли даже малых вершин. Так, среди шоу-бизнеса, да и то не везде, в основном этим грешили для рекламы и пиарили такое самые незначительные и самые невзыскательные красотки из «Дома-2». Для этого нужно сначала стать такими же сытыми и ухоженными, как их грёбаные америкосы, которым вовсе не надо бросать консерваторию, чтобы выжить.

Я покосилась в сторону Джимовой двери. Заперта. Что ж, люблю женщин, значит, люблю женщин. Даже проще – ничего не надо выдумывать, сам подсказал! И я позвонила Власте.

– Можешь заскочить за мной? Ага, прямо сейчас. Есть потрясающая новость!

Подруга не заставила себя ждать, и минут через десять её «Брэдли» любовно урчал возле моих ворот. Ещё раз кинув взгляд на вчерашний разгром, я выскочила из дома. Я уже поняла, что произошедшие события выстроились в причинно-следственную цепочку, и одно звено как бы указывало другому, как закручиваться дальше. Может и моя цепочка диктовалась генами – мама музицировала, папа копался в старинных фолиантах, и оба равным счётом ничего не смыслили в новой обрушившейся на них жизни. Прежде-то она текла сама по себе...

– Вещи забирать не будешь? – вырulingая на фривей, уточнила Власта, никак не отреагировав на мою «потрясающую новость».

– Пока нет, – озадаченная, ответила я ей.

6

«Что тебе надобно, старче?» – спросила бы у меня Золотая рыбка, если бы я была мужчиной. Но я родилась женщиной. И для Америки это было гораздо лучше. Потому что у женщины в Америке куда больше возможностей устроить свой быт. Можно наняться бэби-ситтером, присматривать за чьим-то дитятей, с жильём или без, как удобнее. Это – от десяти долларов в час. Можно пойти ухаживать за дедушкой – помогать им доковылять до унитаза. Тоже не меньше заплатят. Можно пойти в бассейн спасателем, что любому олуху по плечу и тоже что-то капает. Можно в официантки. Молодым женщинам заработать себе на жизнь – не проблема. Но нужна грин-карта, которой у меня ещё не было. И машина. В Америке без машины – никуда. И если на грин-карту я, как жена американца, ещё надеялась, то машина была чем-то совершенно недостижимым. Потому что денег на машину ждать было неоткуда. И потому рыбка нужна была именно мне, а не какому-то старикану с рваной сетью. Мне бы от Золотой рыбки нужно было исполнения всего одного желания. Потому что от машины далее зависели все необходимые разумному человеку блага – здоровье, богатство, интересная работа и вообще жизнь.

– Так в чём проблема? – изумился Ник, стаскивая благородный велосипед с багажника без всякого почтения к марке и, как в прошлый раз, светя широкими, похожими на тыквенные семечки зубами. – Зайди на Крэгз-лист, выбери колёса и закинь мыло...

– ?!

– Крэгз-лист – это сайт типа рекламный, – прыснула Власта. Ей тоже показалась смешной моя неосведомлённость. Она-то купила машину именно так, причём сразу по приезду. Но то чешка Власта, её субсидировал папа, и подрабатывала она тогда в университетской библиотеке, и что-то подбрасывали многочисленные бойфренды, возможно, претендовавшие на её... руку и сердце. Другое дело – я.

– В деньгах дело, – хмуро бросила я, разглядывая новенькое колесо велосипеда. От вчерашней аварии осталась только небольшая ссадина пониже руля. – Мне их негде брать. Так что и за ремонт мне тебе заплатить нечем.

– У тебя же вроде хабби есть – или он что, индиджент?

В переводе на нормальный язык это означало: мол, возьми у мужа, или он что, неимущий?

– Он у неё думер. Разве она крутила бы педали, если бы был нормальный?

– А что, нормального не нашла? – опять изумился Ник. Наверное, по его разумению, нормальных в Америке было хоть косой коси.

– Хотела стать принцессой, потому искала Принца.

– Все вы сначала овечками прикидываетесь, – собрал на носу веснушки всезнающий Ник и, распахнув зубы до отказа, рванул из кармана платиновый «Американ Экспресс».

– Кутим?

– Ещё как! – тут же разухарилась и Власта, выбросив вперед руку с таким же...

А у меня еле набралось пятьдесят центов.

7

В здешних ресторанах я ещё не была – как ни стыдно это признать. До замужества я питалась в университетском кафетерии, а после – несколько раз побывала в так называемых «буфетах». Это когда за шесть-семь долларов можно есть всё до отвала. Только с собой ничего брать не разрешалось. А на месте – сиди и лопай хоть до вечера – никто слова не скажет. Наоборот, официанты ходят и бесплатно подливают воды со льдом. Или кофе.



Было странно, что никто не засиживался: поели – и побежали дальше. У америкосов еда не проблема, главным было не потерять работу. Если есть работа, бабки приходят регулярно – можно жить. У нас, у русских, обилие еды за малые деньги никак не вписывалось в планы пищевиков, а здесь, среди обилия дешёвых лобстеров и куриных окорочков был сущий Эдем. Только к яблокам – розово-щёким и крупным, покрытым прозрачным, но толстым слоем воска, лучше было не прикасаться.

Итак, мы отправились в ресторан. Посовещавшись, мои друзья выбрали монгольский. . .

– Сначала хорошо подкрепимся, – пояснила мне Власта, небрежно кивнув молодому человеку с раскосыми глазами, встретившему нас на входе широкой улыбкой. Зубы в этой стране скалили по любому поводу, даже просто встретившись глазами.

Он повёл нас к большому, под красный гранит, столу, в центре которого, как позже выяснилось, располагалась газовая жаровня, на открытом огне которой посетители сами себе жарили овощи и мясо, нарезанное прозрачными пластинами и завернутое наподобие раковин мидий. Чуть позже не менее раскосая, но с неожиданно белой, будто фарфор кожей, монголка привезла тележку, уставленную многочисленными мисочками, тарелочками, блюдцами и блюдами со всевозможными соусами, подливами, специями и травами непонятного мне назначения, но выглядевшими будто райский сад с различной величины озёрами и болотцами. Я даже посмотрела, не осталось ли в тележке ещё и крохотных уток, которым бы полагалось плавать в этих водоёмах. Но нет, вместо них на огромном блюде румянились крупные, с детскую ладонь, креветки. Или, может, их называют в этих местах иначе – океан всё-таки. Какое отношение к монгольским степям имели эти продукты, я не поняла.

Ещё большее замешательство вызвала у меня сумма, обозначенная в итоговом счете: тридцать пять долларов и сколько-то центов. Это на троих!

– Тут жить можно! – ухмыльнулась я, даже не прислушиваясь к болтовне друзей, которые уже обсуждали, какую лучше машину мне выбрать.

– Лучше всего – гибрид, – убеждала прагматичная Власта. – Гибрид, в конце концов, обойдётся дешевле, с такими-то ценами на бензин. И габариты у него маленькие, легко будет на любом паркинге вписаться. – «Мерседес»? А что в нём хорошего, кроме названия? Корейский «Хёндай»? Ну, на «Хёндае» Принца точно не найти. Принц на «Хёндай» даже не взглянет.

Ник выразил полное недоумение: на кой мужику «взглядывать», на какой машине ездит понравившаяся ему девушка? Он же не сама девушка – избранников по маркам машин выбирать.

А мне было безразлично. Отяжелевшая от вкусной и обильной пищи, я не хотела ни о чём думать. Кроме того, делить шкуру неубитого медведя смысла не имело. Тем более что путь наш лежал в ночной клуб. Настоящий ночной клуб-казино «Emerald Quinn»: в вольном переводе «Королева Эсмеральда», а в буквальном – «Изумрудная Королева». И к ней стекался чуть ли не весь город, чтобы отдохнуть от насыщенной рабочей недели.

Её Величество расположилась на расщеченном флагами и огнями белоснежном судне, пришвартованном к берегу океанского залива. Судно слегка покачивалось в прибое, оглашая всё вокруг громкой музыкой и взрывами смеха. Думаю, пляжу с его жёлтым песком и белой галькой такое соседство было не по вкусу – он как бы намеренно отодвинулся от шума, что нарушал его тихую сосредоточенность. Ведь у ночного пляжа в отличие от ночных клубов всегда есть собственная, полная шёпотов и тайн скрытая жизнь. Она и сейчас как ртуть мелькала в лунной дорожке и фосфоресцируя, рассыпалась. И нельзя было понять, чем же она дышит. . .

В казино мы проиграли кучу денег. И кучу выиграла, обналичив в окошечке жетоны выигрыша. Перепробовали разные коктейли. Я остановилась на самодельном «Кровавом рассвете». Кроме меня это пить не мог никто, отчего не было опасности, что, пока я танцую, кто-нибудь присосётся к моему бокалу.

Мы по обычаю чокались бокалами с весёлыми людьми, то и дело подходившими к нашему столику. И с ними вместе чокался какой-то худощавый американец, основательно расположившийся рядом. У него было странное имя: Зэк. С правой стороны его лица землисто проглядывалось большое родимое пятно. Зэк, как нам признался, сейчас безработный и любит зайти сюда поиграть – попытать фортуны. По-русски проще было бы сказать – попытать фарт, но по-английски слово «фарт» означает совсем не удачу, а – как бы это покультурнее – выброс газообразных продуктов жизнедеятельности кишечника. Видимо, как раз сегодня у Зэка был фарт, потому что он то и дело приносил новые порции пива, пытаясь всех угощать. Везде гремела музыка и звякали фужеры, и создавалось удивительное чувство близости со всеми, хотя я понимала, что это иллюзия и всем на меня также глубоко наплевать, как и мне на них – вот сейчас мы здесь, мы – рядом, а потом все как один сядут в свои автомобили и укатят кто куда. . .

И всё равно я ощущала, что стены, которые сдерживали меня, как бы раздвинулись. А может, вообще разрушились, и я, недавно всего лишь пленница собственной робости и нерешительности, вдруг обрела свободу и теперь могу погрузиться в присущую всем радость и способность жить, как хочется. То, что проступало в каждом жесте окружающих меня людей. Даже у меченого родимым пятном безработного Зэка.

– Это к удаче, – потирал он правую щёку и смеялся, – на счастье!



– И много счастья было?

– Счастья? Мно-о-о-о-го... Я ведь моряк. Плывёшь себе в этом серо-голубом никуда, – он кивнул в сторону окна, за которым таилась темень, слегка разбавленная большой жёлтой луной. – Звёзды вверх, звёзды вниз. А ты между ними. Плывёшь, плывёшь... А потом – р-раз. Порт. И – счастье!

Недавняя я растворилась в насыщенности пахнущего океаном и магнолиями разноцветного сегодня.

– Сегодня вот вас встретил, – серьёзно сообщил моряк, глядя мне в глаза. – Счастье. Разве нет? – Он повернулся к притихшему было Нику.

– Йес! – согласно тряхнул головой папан и с готовностью распахнул в улыбке рот. – Гуд лак!

А я вдруг испытала подсознательную потребность убедиться, что всё это действительно происходит. Наяву, а не во сне. Или и сон, и явь – всё это стало сейчас одним целым. Наверное, в ночной жизни океанского городка, за тридевять земель от моего настоящего дома, пульсация новой жизни особенно ощутима: даже мои друзья – Ник и Власта – на меня смотрели понимающе и подбадривающе...

Краем глаза я заметила, что сверкающий крупными зубами клавиш рояль наконец освобожден. До этого к полному восторгу Власты за ним наяривал какой-то темнокожий. Я встала... Нет, я не встала, потому что я оказалась словно накрепко привязана к барному стулу. И хоть голова моя была ясна и свежа, как никогда, тело меня совершенно не слушалось. Оно отказывалось подчиняться приказам. Оно не хотело сдвигаться с места – и всё тут!

– Это всё «Санрайз», – смеялся Зэк. – Мексиканская водка с апельсиновым соком. Текила и сок, – повторял он, помогая мне добраться до рояля, – бывает, так действуют – голова свежая, а ноги не ходят! Это пройдёт скоро. Ничего. А если текилу закусить лимоном или подсолить – утром даже голова не болит. Текила – вещь классная!

Смеялся он, смеялись Власта с Ником. И те, кто нас видел, тоже смеялись. И смех этот был чист и доброжелателен.

Я ударила по клавишам и удивилась. Пальцы мои, столько времени не прикасавшиеся к инструменту, ничуть не задеревенели. Им не повредила даже торговля на холодном рыночном ветру. Пальцы порхали над белыми и чёрными прямоугольниками легко и свободно, будто птицы, наконец выкормившие птенцов.

Мощные звуки заполнили всё вокруг. Они то взмывали вверх, пробиваясь сквозь пластик потолка к самым звёздам, то распространялись вширь и через пространственные порталы уходили куда-то дальше, в четвёртое измерение. И таяли там, превращаясь в крохотных, прозрачных как иллюзия светлячков. А то вдруг снова накатывали – уже как пьянящая страсть, как сжигающая себя необузданность, через мгновение рассыпаясь кружевной пеной. И качали, и баюкали в тамаке океанского прибора шорохом чешуйстого хвоста уходящей волны... Кофейные, смуглые, белые лица – все словно замерли в этих звуках, как если бы кто-то скомандовал всем вдруг – «замри». И только вздохи стихии за окном повторяли вздохи педалей под моими ногами...

– Я и говорю – счастье, – когда я вернулась, серьёзно проговорил моряк и спросил. – Вы здесь часто?

– Впервые. Я – впервые, – поправила я. – Мои друзья, наверное, бывали раньше. А я – впервые.

– Приходите ещё. Я хочу вам что-то подарить. На память. Но сейчас у меня этого с собой нет. Я здесь теперь часто бываю. Корабль всё-таки.

– Придём, – уже ему в спину пообещала за меня Власта, тоже серьёзно. А я подняла брошенную им на стол монетку. На счастье. Потому что мне захотелось оставить себе от этой ночи что-то вещественное. Чтобы утром не казалось, что это был просто сон. Сейчас, когда стрелки близились к полуночи, сказочная карета вот-вот могла превратиться снова в тыкву, как это чаще всего и бывает в реальной жизни.

– Искупнёмся и поедем, – успокоила меня Власта с одобрения готового на любые авантюры Ника. Ему совсем недавно исполнился двадцать один – и теперь он всюду спешил приобщиться к взрослой жизни. Наша компания его вполне устраивала.

– Ну да, пляж ведь, – сказал он и пошёл расплачиваться – заслушавшись Дебюсси, бармен начисто забыл про счёт.

На пляже разравнивал граблями песок и гальку мускулистый парень эбенового цвета. Когда Власта, сбегав по трапу, попыталась стянуть с себя футболку, он покачал головой и запрещающе перекрестил руки, мол, нельзя, мэм, не положено. Мы с Ником остановились, Власта всё ещё препиралась в надежде уломать строгого смотрителя. Но темнокожего парня нашему психологу уломать не удалось. Он охранял покой пляжа свято, как если бы это был покой брата.

Ну, а Ник всё равно плюхнулся в воду, только чуть подальше от того места.

И вот уже я стою перед дверью своего дома и не могу понять, что же всё-таки я скажу Джиму и как поведу себя. Как-то так устроен мозг у человека – он буксует, он не способен напрячь себя в вещах, которые ему нужно постичь самостоятельно. Более того, он каким-то образом, совершенно



автоматически начинает жевать ненужную белиберду, которая уже расфасована кем-то по отдельным пакетикам с бирочками и ярлычками на все случаи жизни. Ему почему-то страшно и муторно принимать самостоятельные решения, и ориентируется он чаще всего на кого-то другого. Хотя тот, другой, в его шкуре не был и никогда не будет. Хотя бы потому, что у него есть своя. И с ней тоже проблемы.

Короче, я, как страус, спрятала голову в песок и вступила в этот постылый дом, как на плаху.

Продолжение повести читайте в следующем номере...

ЕЛЕНА РЫШКОВА

РОЖДЕНЬЮ ПОДОПЛЁКА

ПОТЕРЕЙ

в чашке чая растворяю сон, головную боль превозмогая,
утро отрывается в обгон, по-кошачьи когти выставляя,
и скрипит на поворотах день, подвывая тормозом на склоне,
я несусь от хищника потерей,
всё равно сегодня —
не догонит.

БЛАГОВЕСТ

весна, неизгнанный покой
ещё неузнанного сада,
и солнца невод золотой
на дно заброшенный когда-то,
чтоб уловить созвездье рыб,
плывущих тихо к благовесту,
где в руку мне толкнётся стих,
и яблоко сорвётся к месту.

СУЩЕЕ

я зиму встретила молчанием убогим...
среди ополоумевших недель
лежит в снегу благословеньем бога
мышинное факсимиле.
и белый лист, истоптанный стихами,
в январскую корзину полетит,
так холодно, что хочется растаять
и слово под ногами напоить.
вода к воде. и наводнение низко
резинкой грязи сущее сотрёт —
где прорастает в корневища близкий,
змеящийся туманом небосвод.
но высохнет не по погоде сердце,
в углах морщины сложатся в плиссе
и где-то вспыхнет новенькое детство
в зелёном по-младенчески листе.

ПУСТОТА

нас обнимает пустота, врачуя и переполняя,
так родниковая вода чиста незнанием влияний,
так смыслы не подходят дню, когда он ранний и хороший,
забывчивость календарю, снег седины, любовь прохожим.



в ней скрыто всё, поглощено, утоплено и ждёт рожденья,
 пустым покажется окно, открытое воображенью,
 но сколь наполнена пустынь грядущим преобразованием,
 лишь просит — толику возьми и будет мир твоим созданием.
 боюсь, как прежде — высоты,
 её привязанности к точке
 и усечённости косых на памятнике междустрочий,
 а пустота врачует страх перед конечностью полёта,
 в ней есть начало — нет конца,
 она рожденью подоплёка.

АВТОРУ

но остаются там ряды пустыми,
 где автор ищет скорого суда.
 в амфитеатре неба выгнув спины,
 гимнастами застыли облака
 и зритель, опрокинувшись на землю,
 локтями опираясь о траву,
 услышит, как светло и бесполезно
 гармония сочувствует ему.

САН СУСИ

французский парк черёмухой пропах,
 а соловей акцент нижегородский
 рассыпал бисером по мраморным уродцам,
 держащим своды мира на плечах.
 весна, увы, не вырвалась из плена
 изысканных и строгих галльских форм,
 прямолинейности и узости пленэра,
 стригущего под ноль.
 король пытался жизнь устроить кучно,
 распорядившись трезвостью ума
 настолько, сколь ему чужда весна
 и страшен случай.
 ах, не мучай
 себя, соловушка, и трели не мечи,
 здесь славные тевтонские мечи
 всё знают лучше.

ОДЕССКАЯ ЦИКУТА

обрастаю ракушкой.
 волна налипает и тянет
 выбирать мелководье и чаще о берег тереться,
 где упрятано время в густой, подмороженный тальник,
 и за пазухой утра пригрелась гранитом Одесса.
 здесь по глинистым склонам сползает французская накипь
 прямо в чашу залива к начищенным солью причалам,
 в этот город заморский с чутьём беспородной собаки
 на размах перемен и на голос народа фискальный.
 он не любит меня, словно гостя холённый хозяин,
 наши встречи всё реже, чернее молчания чаща,
 выбираю цикуту с реганом на новом базаре,
 чтобы вспомнить о доме и чаше,
 и дальше, и
 дальше...

ОПАСНОЕ ЗАНЯТИЕ

с любовью расставаться не смешно.
с любовью расставаться не опасно.
забывшим родословную снежком
залепит март окрестное пространство.
и перекрестит спину проводник,
он знает толк в неразрешённых встречах,
где цвет румянца бархатом приник
к ложбинке между поводом и речью,
и оголяет вечер провода.
но в лете между небом и землею,
вальдшнепом всхлипнет посланное «да!»
и пылью упадет пороховую.

НАТАЛИЯ ТАРАНЕНКО

ВО СНЕ

ГОРИ!..

Мы сможем боль переболеть
И разорвать глухую клеть!

Я изо льда. Я из огня.
Все стрелы целятся в меня,

И отражает снов заря
Горящий парус сентября.

Как заклинание в крови –
Не поддавайся злу, живи!

Держись, сожми кулак сильней!
Не останавливай коней!

Не правь строку, не говори...
Гори, гори, гори, гори!

Я НЕ ЛЮБЛЮ...

Нет, я любить не тороплюсь,
Я у любви прошу прощенья
За то, что слишком часто злюсь
И так объята жаром мщенья.

Когда отравлен ложью мир,
У смерти я прошу совета,
Как с болью вынести в эфир
Чуть-чуть любви – в оправе света.

Кладя на строчек полосу
И страсть, и ненависть, и душу,
Я что-то, может быть, спасу,
И что-то, может быть, разрушу.

«Любовь» – лишь слово. Кто вы, те,
Кто смог ни в чём не усомниться?
На нарисованном листе
Опять ожили чьи-то лица,

И стало целым наяву
То, что разбито сном на части...
Я не «люблю», я так живу –
Любовью называя счастье.

СТАРИК

Иссушенное временем лицо,
Обрывки тьмы, заполнившей пустоты.
Дробится боль. Плюется дождь свинцом.
Играет вальс. Я слышу его ноты.

И дом как дом, но что-то в нём не так,
Он отражён кривыми зеркалами.
Излом в стене, потрескавшийся лак,
Шаль тишины, залатанной стихами.

Предчувствуя обратный ход часов,
Мир движется привычно по спирали,
Слабеет притяженье полюсов,
И крутятся беззвучные педали.

А где-то берег, солнечный, как сон,
Высокий мост над речкой служит крышей,
Чуть слышно по воде скользит весло,
Ленивый ветер камыши колышет.

Пока твой мир на части рвёт гроза,
Дождь-виноград в ладони ловит вечер,
Мир новый сквозь закрытые глаза
Спешит шагами вечности навстречу.

Недопит чай, незастлана кровать,
И чьи-то письма долго ждут ответа...
Но их тебе не хочется читать —
Ты там, где лодка, камыши и лето.

АРКАИМ

Со мной опять тревоги и дожди,
С реальностью воюю, ссорюсь, спорю,
И только сну шепчу: не уходи! —
Иллюзии внимаю, верю, вторю...

Жемчужный остров превратился в дым,
Он тает, поднимается всё выше.
Мистические звёзды. Аркаим.
Тот, кого нет, — всё знает, видит, слышит.

Свинец всепобеждающей тоски
Простреливает радуги-мгновенья.
Я на палитру дня кладу мазки —
Бой продолжаю с бесконечной тенью.

Война не оставляет права жить.
Война — незаживающая рана.
Но в красках неба можно различить
Руины звёзд и кратеры тумана...

ИНЬ И ЯН

Дома, вокзалы и мосты,
И где-то — линия разрыва...
Ты — это я, я — это ты
В прицеле микрообъектива.



Перспекты догоняют день,
Почти бесчувственная ясность,
Как примирения ступень –
Ко всем событиям причастность...

Мы растворились в этом дне,
Мы – отражения друг друга,
Ты воплощаешься во мне
На дне магического круга.

Не нужно ничего искать.
Всё здесь. Запреты иллюзорны.
Два цвета – вечности печать –
Два – чёрный в белом, белый в чёрном.

ПОВЕРЬ...

По отдельности проснуться
Мы не сможем, мы не сможем,
Задохнутся, задохнутся
И душа, и даже кожа,

И осыплются листвою
Все стихи и все надежды.
Может, лучше мы с тобою
Сбросим памяти одежды?

И поверим, и поверим
В миф о вновь рождённом боге,
И откроются все двери,
И сольются все дороги.

Я НАЧИНАЮ ЖИТЬ...

Я начинаю жить сейчас,
Я начинаю жить!
Как в первый раз, как в первый раз –
Любить, гореть, дарить...

Я красной ниткою строки
Спиваю города,
И всем запретам вопреки
Священна кровь плода...

Кузнечик на виду у всех
Куёт весны мотив;
Природы первозданный смех,
Паренье и... обрыв.

Век можно отложить с утра,
Вернув курсор назад,
И вновь берут разбег ветра,
Будя живой азарт.

И вновь, как угли, жгут слова.
Как в руны их сложить?
Пока любовь в крови жива,
Я начинаю жить!

Капель разбудит тишину,
Стрелу отпустит лук...
Любите каждую струну,
В которой дремлет звук.

МОРСКАЯ КРАСКА

Тепло последнее лови,
Подставь ему ладони, щёки,
Свет солнца мягкий, не жестокий,
В нём жизнь, в нём искорки любви!

Как много лет, как много зим
В песчинке, камешке, ракушке!
Цвет моря невообразим,
У берега – прибой стружки.

Лучи – как нити. Завернусь
В их золотой прозрачный ветер,
Стряхну с ресниц, как пепел, грусть –
Всё относительно на свете!

Я выпью день, я в сон нырну,
И ум, и сердце успокою,
Забвенья снежную волну
Смешаю с краскою морскою...

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ВЕРНИСАЖ

абзац-поэма

Ухожу в темноту до того, как она наступила.
Темнота подошла. Посмотрела в глаза.
И мне на ногу наступила. Потопталась вокруг.
Превратилась в хоккейную биту.
Я попала в ловушку Малевича.

Тема будет закрыта.

Как стреляют по воробьям
из небесной рогатки коряво,
так подранком взвилась
и в квадрате захлопнулась алом.

Ало в чёрном, внутри мирового пространства
мой зрачок заключён.
С неподвижным, в веках, постоянством
зрит ночное биение пульса на жилке глубокой.

Там, в провалах ночных, набухая опасной осокой
среди вод неподвижных, среди луговины просевшей,
опрокинут в тугое болото мой взгляд безутешный.

Вернисаж затаился.
И шарканье ног превратилось в тишину над бедняжкой,
что в звёздах ночных утопилась.
И покоится, робко прижавшись к бесплотной руке,
за картинною рамою, с литерой «П»¹ в уголке.

Там свисают с небес белоснежные детские руки.
Это ангелы падшие под иерихонские звуки
притворяются мрамором в парках и длинных аллеях.
И стоят истуканами, и ни о чём не жалеют.

Я иду и не вижу, и вовсе бояться мне нечего –
это светит в ночи кто-то жёлтеньким серпиком месяца.
Я не вижу его, только слышу бряцанье монеток –
научают старухи своих убывающих деток
звякать медью в карманах, а лучше бренчать серебром,
и молчание-золото будет за это – потом.

Убывают они, и врастают в морозные дни,
и недаром зима так страшит завихрухой надменной.
Это ангелы вновь оживают в квадрате вселенной,
вырываясь за раму картины, написанной мелом
(на бессоннице чьей-то) рукою пока неумелой.



Но художник – не друг и не враг, а надсмотрщик угрюмый.
Нарисует их всех, заключая в квадрат безлунный.
Я не вижу его, я уже ничего не увижу.
И квадрат, нарисованный чёрным, всё ближе, всё ближе.

Белый-белый, белее, чем школьный крошащийся мел.
Кто не ведал, когда этот ужас вселенский презрел,
кто не верил? Кто слепо водил по глазам пустотой?
Молчаливый квадрат – он Малевича. Только.
Не твой.
Уходи же скорей в мир бродяг и шальных голубей.
Уходи, и как дети, о прошлом своём не жалеи.
Засвисти! –
и как только услышат пронзительный свист в небесах,
смоют ливни твой след, и заглушит громами твой шаг.
Не пугайся ночи, не пугайся рассвета во тьме –
Это голубь с оливой уже подлетает ко мне.

С ним взлетим.
Пролетим над созвездием крыш.
Посмотри – просыпается юный Париж.
Там Пикассо свой кофе без сахара пьёт.
Вернисаж.
И народ на «Голубку» Пикассо идёт.

Все спешат.

¹ с литерой «П» – картина В.Г. Перова «Утопленница»

Из цикла «Поосторожней со мной»

ПАМЯТЬ

Ещё я рассказать тебе хочу,
как оторопь по звёздным пляжам рыщет,
как ветер свищет вслед холодному лучу,
а месяц половинку серпа ищет.
Ревун кричит. Медведица рычит.
По Млечному Пути сбегают в море
созвездия, и молится Господь.
Он докторской иглой врачует Запад,
неизлечимый северный озноб
переливая в южную нирвану.
Он лечит горе, одинок и древен,
как европейцами не познанный Восток.
Ни друга нет, ни женщины, ни равных.
... Античности разверзнутые раны
являют мрамора и патину, и блеск.
Спит Атлантида. Зевс младенцев ест.
Нет, ест детей Сатурн. А Зевс плывёт.
Он – Бык. Морской бурун вспорол рогами.
Вообразил Европу недотрогой
с девичьими и робкими ногами.
Плывёт, косит на нас влюбленный глаз.
Пусть жемчугами обовьют рога
Быку Стрелец, и Водолей, и Дева,
пусть радуются силе, красоте...
Но – мы другие. Но – века не те.
На что нам Бык с жемчужными рогами?
Земля лукава, и смертей не счесть.
Зачем нам нужен миф, коль Бог не спас!



Рога Быка – штурвал, достойный нас.
 Живём, плывём... Куда плывём – не помним.
 Крутлеет месяц, как живот любимой,
 скрывающий до времени угрозу.
 Какое счастье – ночью дети спят.
 И умирая, спят. Плывут и спят.
 Все множатся созвездия. Их свет,
 не согревая, освещает путь.
 О, как они прекрасны, красны, красны
 и солонь! А рядом кто-то рыщет
 с обломком острым и кого-то ищет.
 И мир летит по чёрному лучу.
 И красный ветер над снегами свищет.

УЖАС

Лежит листочек под веткой.
 Бежит муравей по ветке.
 Гром и молния далеко.
 Скоро город уснёт от жары.
 И начнётся гроза. Она
 с юга идет на запад,
 а должна на восток и за...
 Не пишите писем в стихах.
 Вышивайте бисером картины.
 Не рифмуйте смыслы и чувства.
 У последствий свои причины,
 но затеряны в веках...
 Написали номера на руках
 в гетто сорок второго года.
 На худых девчачьих руках,
 словно на деталях завода.
 А потом прошла целая жизнь
 и когда уснула старуха –
 по трем двойкам, семёрке,
 девятке, по ещё одной –
 побежали две мурашки
 и одна муха.
 Так её и уложили в могилу.
 Но не плакали при этом,
 а пели: «Аве, Мария, Аве»!
 Только поздно, сказали, петь-то,
 лучше молчать, когда
 люди уходят туда.

СУМАСШЕСТВИЕ

Безумие растёт из проруби декабрьской:
 вдоль узкой полосы мой взгляд скользит с опаской.
 Загорский горизонт двулик, как птица Феникс:
 вот клюв её горчит от перечневой мяты,
 вот клюва прах летит, как пух перин пархатых...
 Освенцим вновь грядет? Луна грозит стилетом?
 Он спрятан в волосах подружки, Генриетты...
 О, странная моя, не пионерка вовсе,
 девчонка без косы, во взбалмошном начёсе!
 Так где же твой стилет, когда ты – безволоса,
 сгоревшая в печах после ночей допроса...
 О, славная моя, подруга во Вселенной
 безлика, как пятак последний, неразменный.
 Среди лиц таких же круглых... с гербом, серпом...
 На слом.



Пятак твой незабвенный...
как девочка с веслом...
в последнем парке зимнем...
в Загорске...
У ручья – кого спросил монашек:
«Пичуга, чья ты, чья?»
Ответила устало седая Генриетта:
«Я – пепел птицы Феникс, развеянной по ветру,
и только искра жизни – у жизни на краю.
Я – только птицы песня. Я песен не пою.
Бесплотно прорастая из проруби реки,
я светом замираю в тени чужой руки».
Монашек очумело глядит на вспышку света
и, шёпотом: «Не верю в историю про это.
Не пророню ни вздоха, спокойствием дыша –
у проруби декабрьской, где узкой полосой»...
Чей след скользит с опаской вдоль линии косой?

СЕМЁН РОСОВСКИЙ

БЕГЛЕЦ В ТЕНИ СОБОРА

Гром разложил тишину
Жуткий бином
На охнувшую сосну
На громыхнувший бидон.

И разбежались в края аллегорического небесья
Точность и нежность моя
Песня...

Завтра как двинется лето
Солнечной мышцей играть
Должен всё это
Я в тишину собрать

Нас мотаает от края до края,
По краям расположены двери,
На последней написано «знаю»,
А на первой написано «верю».

И одной головой обладая,
Никогда не войдёшь в обе двери.
Если веришь, то веришь, не зная
Если знаешь, то знаешь, не веря.

И своё формируя сознание,
С каждым днём от момента рожденья,
Мы бредём по дороге познания,
А с познанием приходит сомнение.

И загадка останется вечной,
Не помогут учёные лбы:
Если верим – сильны бесконечно,
Если знаем – безумно слабы.

ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ

Хоть время холодов не истекло,
Глашатаи весны трубят до срока.
Прозрачный лёд, как битое стекло,
Крошится в лабиринтах водостока,

И ветер в этой лейке жестяной
 Вдруг обретает саксофона ласку,
 И звуки пахнут талою водой,
 И зеленью, и масляною краской
 Сбегают вниз – сверкает чешуя
 Домов и крыш, прирученные змеи
 На водосточных трубах, может, я
 Сыграл бы, да вот только не умею,
 И, сдвинув шапку и поморщив лоб,
 К ним ухом прижимаюсь, ближе где бы...
 Я через них, как через стетоскоп,
 Весеннее подслушиваю небо,
 В котором крики птиц – далёкий фон,
 А голос ливня – лета адрес точный,
 И, веря в свой небесный телефон,
 Питаю слабость к трубам водосточным.

Я уже по глаза, словно в тине, в косматом кошмаре.
 Утопать в мир иной – всё одно, что в бессрочный запой.
 Кто-то просит сыграть напоследок на старой гитаре,
 Пьяно смотрит в глаза, по плечу бьёт и требует: «Пой!»

На гитаре нет струн, значит нужно натягивать вены,
 Чтоб приладить на гриф и концы затянуть на колки.
 Я, конечно, спою, чтобы рухнули белые стены,
 На которых так хочется выписать кровью стихи...

В Рай дорогу мостят глыбы льдов, душу кутаю в шубы,
 Ангел хлещет коней, их и здесь, торопясь, тоже бьют.
 Улыбнётся Господь (у него ослепительно белые зубы):
 Заждались, мол, родимый, пойдём, ты с похмелья, налью...

МОЛЧАНИЕ

У молчания – привкус горечи
 Расставание – откровением
 На мосту бесконечны поручни
 А внизу – головокружение
 Для прощания с тем, что в памяти
 У молчания нет прощания
 Отлюбившим не ставят памятник
 Отлюбившим – судьба забвения
 Тоньше струн (тех что тронуть боязно)
 Самой горькой наиболее истины
 Этих любящих глаз прорези
 И закат затонувший у пристани
 У молчания – облик горницы
 Где за окнами дождь сутулится
 Да фонарь одиноко горбится
 На застывшей пустынной улице

Для людей почему я живой?
 Улыбаюсь, верчу головой...
 Стоит в лёгкие воздух вобрать –
 И смекают живые: свой, брат!
 А в пути сообщу письмецом:
 Мол, живой я, и дело с концом.



Ну а ежели, ежели впрямь
 Угрозит меня умереть,
 Ты прочти эти строки. Прочтёшь –
 Ты меня за живого сочтёшь
 И подумаешь, вслух перечтя,
 Словно мать про большое дитя:
 «Вот опять сообщил письмецом:
 Мол, живой я, – и дело с концом!»

Кто видел беглеца в тени собора,
 Тот не забудет старого коня,
 Ведущего свой род от мандрагоры,
 Советы древние за пазухой храня.

Всё предначертано дыханием времён,
 Шушанием бумаг, игрой знамён. . .

Кто видел девушку, одетую небрежно,
 Вакхически визжащую, как слон,
 Не сможет возвратиться к жизни прежней,
 Наполненной мерцаньем макарон.

Кто слышал о жестоком каскадёре,
 О челюстях в крови, о древнем зле,
 Тот не найдёт гармонии в фольклоре,
 В напевах о разрушенной земле.

Всё предначертано: дыхание времён,
 Шушание бумаг, игра знамён. . .

Если представить, что двери похожи на стены,
 Можно решить, что сам я ушёл в натюрморт.
 Лювеобильные полунагие сирены
 Чёрным фломастером режут зелёные вены
 И залезают на стол по команде «Апорт!»

Это случится сегодня, во время второго обеда.
 В полупенсне и ермолку будет одета Луна.
 Вместо субботы мы в пятницу празднуем среду,
 Уподобляясь команде, что вновь одержала победу,
 Ключки бросая на лёд и протяжно зевая со сна.

Скачут вторичные кони, блестят на ветру зажигалки,
 Ворон похож на орла, но с немного корявой ногой,
 В очередь к водопроводчику встали четыре весталки,
 Трётся о спину, пытит пухлогрудая девка-мочалка,
 Ветренный пан-растаман снова ложится с другой.

И тогда умирает весна,
 И падает в небо сосна,
 А старый голубь урчит дотемна. . .

ФИНАЛ

Тело раздавленной старушки-проститутки, брезгливое у обочины.
 Сморщенный комок запёкшейся кровавой осени, заляпанный жирной грязью.
 Заплёванные глаза?!.
 Моллюск памяти захлопнул створки раковины.

Где-то снова беременеют почки.
 И пышная зелень задыхается в грубых объятиях Ветра
 (яблони приносят всё больше червивых плодов).
 Ветер-кентавр срывает одежды с Тайн, презируя стыдливость этих хрупких ланей,
 кентавр, иссушающий жадными губами родники знания;
 бросающий к ногам Дианы всех сытых минутными уладами
 дожёвывать надкушенное Адамом яблоко,
 поворачивающий властным дыханием реки, что нащупывают путь
 к ОКЕАНУ ПОЗНАНИЯ, вспять,
 загоняя их хлипкие русла Минувшего.
 Под Луной он гонит пред собой пастись у Алтаря минутных наслаждений
 (сорвав цветок, почувствовать, как увядает, никнет он в твоих руках)
 оленей стадо, с кровью, отравленной укусами взбесившихся собак,
 оленей возомнивших себя владыками Дианы – прикованных к
 короткой цепи её похоти. Он стал Единовластным Богом,
 душа в своих объятиях Языческую красоту.
 Моллюск памяти зарылся глубоко в песок Пустыни.

Над головою всхлипывают, глотая ветер, птицы, прижатые тяжёлой
 синей грудью к вершушкам сосен
 (им беззаботным не летать высоко).
 И реки в неуклюжих объятиях мрачных берегов заснули,
 не узнав могучего прибоя Океана, его всезнающих глубин,
 не слившись с ним, не зачерпнув и горсти жемчуга его.

Распростёртые реки, украсившие грудь свою ожерельями Закатов и Рассветов
 и ускользающей Луной со свитою фальшивых бриллиантов.
 И необъятный ОКЕАН, явивший тысячу лучей, сочавшихся из сердца,
 несущий в недрах сердца неиссякаемый источник Света.

Кровавоглазый кентавр мимолётом раздавил приют моллюска,
 и тот остался обнажённым на раскалённом песке Пустыни.

У многих нет...
 У меня нет смелости,
 У меня нет настойчивости,
 и в себя я не верю.

У меня нет
 красивых надежд,
 и я знаю:
 мой путь нелёгок.

У меня серые дни
 и большая усталость.
 Но у меня есть две руки,
 перо, сердце и музыка.

И я знаю:
 многие бедней.
 У многих нет пера
 (но это и не важно),

у многих нет музыки
 (странно, но так бывает).
 И сердца у многих нет,
 хотя, возможно, они и не знают об этом.

АЛЕКСАНДР МАРДАНЬ

АРЬЕР¹ или Занимательная патология

очень ино-странная пьеса в трёх измерениях /3D/

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

РЕЖИССЁР – 55 зим

АДМИНИСТРАТОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – 50 зим

ВРАЧ – 30 зим

ОПЫТНАЯ АКТРИСА – 45 лет

МОЛОДАЯ АКТРИСА – 25 лет

Действие происходит в наши дни.

КАРТИНА 1

Холл СПА-центра в английском городе. Сюда вынесены тренажёры или их муляжи, мебель, всё расставлено в беспорядке, видимо, в центре идёт ремонт. На стене плакат «Mens sana in corpore sano» мирно уживается с рекламой датского пива Carlsberg, на зелёном фоне которой блестит позолотой королевская корона.

Появляется Администратор, в руках у него пляжный шезлонг и пакет. Пакет он кладёт на пол и начинает организовывать импровизированное место для застолья: выдвигает на середину журнальный столик, разномастные стулья и кресла, подвигает к столику шезлонг.

Берёт бумаги, лежащие на тренажёре, начинает их перебирать.

АДМИНИСТРАТОР. Так, Полоний. Ну где же? Ага. *(Читает)*

Что Гамлет? Так, мальчишка, дрянь. Всё ходит:

«Быть иль не быть»? – Есть иль не есть, пить иль не пить...

У папы деньги, власть, и хочет он

Наследнику образование дать

В престижной школе... *(Пауза)*

Нет, не хочет. *(Делает правки в тексте)* А «должен он»... так лучше, да? Конечно, должен! Вот:

У папы деньги, власть, и должен он

Наследнику образование дать

В престижной школе. Что ж, уехал принц

Учиться в Виттенберг. Профессора

Ему в башку вдолбить едва ли смогут

Проблемы бытия – хоть и не глуп он.

Дальше произносит текст, уже не читая по бумаге, всё больше и больше входя в роль Полония.

Я знаю их, мажоров: кабаки,

Вино да девки. Он девчонок любит.

¹ Арьер (*фр.*) – Задняя часть сцены; команда собаке вернуться назад к хозяину.

Болтают, что не их одних... Ну, впрочем,
 Гамлет-отец набедокурил здесь
 Так славно, что девиц уж не осталось
 И честных женщин тоже. А Гертруда?
 Вот если только Клавдия забыть,
 Меня... Хотя было то давно, молчи!
 Всем жалуй ухо, голос – лишь немногим –
 Закон придворной жизни. Мне ль не знать?
 Враг есть и там, где никого вокруг.
 Что ж Клавдий? Будет королём иль нет?
 Ему хотелось бы, да брат здоров,
 Как боров, и как лис хитёр и мерзок.
 Да вот ещё племянник. Гамлет...
 Он унаследовал неблагодарность,
 Распутство, хитрость и максимализм –
 И крыша едет у него местами,
 Как у отца – тому ночами часто
 Являлся призрак Фортинбраса. Нет,
 Принц Гамлет – это будет не король,
 Он добр – неисправимый грех для принца.

Берёт ручку, делает правку.

Нет, не добр, скорее слаб, да, лучше слаб. *(Откладывает ручку в сторону, продолжает произносить текст)*

Принц Гамлет – это будет не король,
 Он слаб – неисправимый грех для принца.
 Шепнуть отцу, дать денег, и студентом
 До самой старости прокутит он.
 Отец его жесток к себе и людям,
 Но телом крепок он, к несчастью Дании!
 Жизнь и здоровье – в руках Божиих... А вдруг
 Людских? Коль медлит кто, как не помочь –
 Ему спуститься в ад, чтобы согрелся?
 Что ж, всем бы стало легче... Мне, Гертруде
 И Клавдию... и даже принцу. Он,
 Едва ли тосковать за папой станет.
 А дочь моя Офелия... Моя?
 А может Гамлета? Хотя она
 Добра, чиста, наивна, всех жалеет.
 Не вышло бы беды... Её подальше
 Держать бы надо от обоих Гамлетов
 И Клавдия...

Раздаётся телефонный звонок.

... Сюда идут! Смолкаю.
 Держи подальше мысль от языка,
 А необдуманную мысль от действий.

Снимает телефонную трубку.

Алло... Грэйс, что так долго? Форест-драйв, 15. Заезжайте во двор, я вас впущу через пожарный выход.

Складывает бумаги в папку, ищет ей незаметное место. Потом, вероятно, передумывает, и кладёт папку на тренажёр, чтобы была под руками. Идёт за сцену с ключами, гремит замком. Звук подъехавшей машины.

Входят две женщины с цветами в руках, с ними мужчина. В руках мужчины пакеты с продуктами.

АДМИНИСТРАТОР. Добро пожаловать! Пакеты можно отдать мне *(забирает пакеты, ставит их на пол возле стола. Обращается к старшей женщине)*. Грейс, познакомь нас.



ГРЕЙС. Позволь представить: Ричард, режиссёр из Лондона, перед тем, как поставить у нас «Гамлета», поставил в Италии «Отелло». Любит водные процедуры. *(Обращается к Ричарду)* Пол, абориген, любит театр и гостей. . .

ПОЛ. Очень рад.

РИЧАРД. Низкий поклон от Пизанской башни. *(Кланяется, жмёт руку Полу)*

ГРЕЙС *(обращаясь к Полу)*. А это наша прелестная Хейли.

ПОЛ. В жизни вы ещё красивее, чем на сцене и на целый каблук выше.

ХЕЙЛИ. Спасибо. Прекрасный день сегодня, не правда ли?

ПОЛ. Да, конечно. И вечер тёплый.

ГРЕЙС. Спасибо за приглашение, Пол.

ПОЛ. Ну что ты, Грейс, это вам спасибо, что нашли время заглянуть ко мне. Я уже час, как приехал. . .

ГРЕЙС. Извини, после премьеры у журналистов больше вопросов, чем до. . . Потом Ричард заезжал в отель за вещами, а мы с Хейли кое-что купили на ужин.

ПОЛ. Стоило беспокоиться! В оздоровительном центре всегда есть здоровая пища.

ГРЕЙС *(берёт в руки, разглядывает банку паштета)*. С каких пор гусиная печень полезна?

ПОЛ. Это исключение, всё остальное, включая шотландский виски и *(достаёт из свёртка и ставит на стол две бутылки)* французское вино тысяча девятьсот *(смотрит на этикетку)* затёртого года, очень полезно. *(Поворачивается к Ричарду, который ходит по салону, пытается включить один из тренажёров)* Не обращайте внимания на беспорядок – перестройка, время перемен. Может, переставим столик, вы не против? Помогите, пожалуйста. *(Вместе с Ричардом переносят столик ближе к креслам)*

ХЕЙЛИ. А почему вы ничего не говорите о нашем спектакле? Грейс сказала, что вы были в зале.

ПОЛ *(ставит на полпути столик)*. Простите великодушно, поздравляю с премьерой! Я хлопал громче всех и первым крикнул «браво».

РИЧАРД *(вновь берётся за столик, недовольно)*. Это правда, я Вас узнал. . . По голосу. . . *(Подносят столик к креслам)* У вас замечательная публика.

ГРЕЙС. Потому, что она заметила талант режиссёра.

ПОЛ. Без сомнения!

ХЕЙЛИ. Скажите, как зритель, правда, в сцене похорон я должна быть в колготках телесного цвета?

ГРЕЙС. В современной Англии уже все цвета радуги телесного цвета. Включая голубой. У нас же расовый и моральный плюрализм. . .

ПОЛ. Девочки, накрывайте на стол, а я покажу Ричарду наши владения. Всё работает: бассейн и бани на выбор – соляная, травяная, ледяная, грязевая. . .

РИЧАРД. Грязь ко мне не пристаёт. По крайней мере, в Англии.

ПОЛ. Жаль, в наше время грязь помогает решить многие проблемы. Ладно. . . сэкономим на душе. . . Ещё турецкий хамам, русская парная, ароматерапия, две сауны, for ladies and for gentlemen.

Мужчины направляются к двери, ведущей к баням. Пол оборачивается.

ПОЛ. Девочки, одноразовая посуда в корзине для мячей.

Мужчины выходят. Грейс достаёт пакет с посудой. Хейли открывает пакеты. Женщины накрывают на стол.

ГРЕЙС. Не люблю одноразовую посуду и одноразовых мужиков.

ХЕЙЛИ. А двухразовых?

ГРЕЙС. Это когда в первый и в последний – одновременно? Что за сыр ты купила? Рокфор на сэндвичи не годится. Ладно, сейчас что-то придумаем. А зачем оливки с анчоусами? У него на рыбу – аллергия. Выковыривай. Оставила тебя на минуту одну, результат на столе.

ХЕЙЛИ. Мы тут долго будем?

ГРЕЙС. А ты сама как думаешь? Ты же в Лондон хочешь *(передразнивая Хейли)* «. . . у нас ни ролей, ни гастролей, ни съёмки, а там Хэрродс, Биг Бэн и автобусы с чердаком. . .». Ричард явно не против познакомиться с тобой поглубже. У тебя есть шанс.

ХЕЙЛИ. Я же с ним месяц проработала, он меня как актрису видит, чувствует. . .

ГРЕЙС. Не достаточно глубоко. . ., детка. Вот когда почувствует – твои шансы возрастут.

ХЕЙЛИ *(смущаясь)*. Ну, а как это вообще. . . Вы же как-то с ним, говорят. . .

ГРЕЙС. Ты на меня внимания не обращай. У меня муж, дети. Мне уже сорок лет и много, много месяцев буду здесь доигрывать. Сегодня королеву, завтра ведьму. . . А у тебя всё в перспективе.

ХЕЙЛИ. А где же. . . поглубже? Он же отсюда собирался на поезд, и вещи уже взял.

ГРЕЙС. Это не проблема: все здоровые, там и отдых на широких кроватях. Эта баня – не исключение. У Пола богатый опыт – всё, что надо, организует.



Грейс подходит ближе к Хейли, берёт её рукой за подбородок и поворачивает к себе, пристально рассматривая.

ГРЕЙС. Что это? Секс или асфальт?

ХЕЙЛИ. Бобби не побрился, опаздывал на работу. Я и поехать с вами смогла только потому, что он сегодня на дежурстве.

ГРЕЙС. Робин-Бобби-Барабек! Где ты нашла такого? Врач, а зовут как полицейского. Ты на него тоже внимания меньше обращай. Три года встречаетесь, а с предложением не спешит. Удобно устроился!

ХЕЙЛИ. Перестань, не такой он уже и плохой.

ГРЕЙС. Но не такой он уже и хороший, чтобы ради него упустить удачу.

Грейс открывает банку с паштетом и начинает намазывать его на тосты.

ХЕЙЛИ. Но он же женат.

ГРЕЙС. Бобби?!

ХЕЙЛИ. Ричард.

ГРЕЙС. Его послушать – они давно разъехались. Да какая разница. Тебе нужно, чтобы он тебя на роль позвал или замуж? В чём этика профессии? Режиссёр не должен жить с актрисой, с которой работает. А на самом деле... с кем живут, с тем и работают, и наоборот.

ХЕЙЛИ (*задумывается*). Не всегда.

ГРЕЙС. Но часто. Ты же не хочешь ждать.

ХЕЙЛИ. Терпение – лекарство бедных.

ГРЕЙС. Так ты богата?!

ХЕЙЛИ. Талантом и молодостью.

ГРЕЙС. Тогда ты в нужном месте и (*смотрит на часы*) в нужное время.

ХЕЙЛИ. А иначе в театре карьеру не сделаешь?

ГРЕЙС. Если твоя фамилия «Бернар», а зовут «Сара» – легко!

ХЕЙЛИ. Ну, а вообще он как?

ГРЕЙС. Обрати внимание, сэр Ричард всегда тщательно выбрит.

ХЕЙЛИ. Я читала, что мужчины постарше тратят на секс пять минут в неделю, а на бритвё – пятьдесят.

ГРЕЙС. Это не про нашего. Ты, кстати, Дашку бреешь?

ХЕЙЛИ. Регулярно.

ГРЕЙС. Ему понравится.

ХЕЙЛИ. Не знаю. Я ещё не решила, хочу ли я смотреть на его неприглядности.

ГРЕЙС. Знаешь, как королева Виктория наставляла принцесс перед брачной ночью? «Закрой глаза и думай об Англии».

ХЕЙЛИ. Ты опять издеваешься!

ГРЕЙС. Ну ладно... представишь себе кого-нибудь. Ужастики смотришь?

ХЕЙЛИ. Что, так страшно?

ГРЕЙС. Да нет, я пошутила. Не переживай, справишься. Твоя сверхзадача в чём?

ХЕЙЛИ. Понравиться?

ГРЕЙС. Запомнись! ... Как у французов: «Если вы красивы, вас заметят, если у вас есть шарм, вас запомнят».

ХЕЙЛИ. Я англичанка...

ГРЕЙС. Тогда будь сама собой и не комплексуй: не знаешь, что ответить – улыбнись и поправь лифчик.

ХЕЙЛИ. А что он любит?

ГРЕЙС. Что все любят, то и он любит. Маленькая, что ли?

ХЕЙЛИ. Уже нет... Наверное, не получится. Давай просто посидим и всё.

ГРЕЙС. Ты что, «ку-ку»? Мы зачем сюда приехали? Меня, между прочим, муж ждёт и верит, что я на банкете сижу.

ХЕЙЛИ. А ты что будешь делать?

ГРЕЙС. В шахматы играть с Полом. На поцелуй... Ты помнишь, как ходит королева?

ХЕЙЛИ. Всегда не знала.

ГРЕЙС. Королева идёт туда, куда хочет.

ХЕЙЛИ. Ты Пола давно знаешь?

ГРЕЙС. Прилично.

ХЕЙЛИ. Ближе знаешь?

ГРЕЙС. И так, и не так знаю. Думаешь, важнее – так? Нет, дорогая, совсем наоборот, важнее – не так.

ХЕЙЛИ. А он кто?

ГРЕЙС (*задумчиво*). Музыкант... Автор «Колыбельной на барабане»... Режиссёр... Потом фармацевт, потом директор кладбища... собачьего, потом сомелье во французском ресторане. Успел пару лет посидеть на овсянке...



ХЕЙЛИ. На диете?

ГРЕЙС. На нарах.

ХЕЙЛИ. А здесь что делает?

ГРЕЙС. Напустит пару и чешет гостям спину... Администратор... Таблетки надоели, потянуло на лечебную грязь.

ХЕЙЛИ. А за что овсянка?

ГРЕЙС. Отравление... Помню заголовок в газете: «Фармацевт выписал рецепт на смерть».

ХЕЙЛИ. Убил?

ГРЕЙС. Избавил жену от мучений. Эвтаназия. Ему повезло, доказали только халатное обращение с ядом, который она выпила сама. А что было на самом деле – только Бог знает...

ХЕЙЛИ. Он одинок?

ГРЕЙС. У холостого семья больше, чем у женатого.

ХЕЙЛИ. И он пишет пьесы!?

ГРЕЙС. Одну написал, остальные – не знаю.

ХЕЙЛИ. Это о ней Ричард говорил в машине?

ГРЕЙС. Да.

ХЕЙЛИ. Интересная?

ГРЕЙС. Странная... То колетса, то царапает.

ХЕЙЛИ. Хочет прославиться?

ГРЕЙС. Выговориться. Если с людьми не получается, начинают говорить с бумагой. Кстати, неплохой собеседник, если грамоту знаешь.

ХЕЙЛИ. Так и писал бы дневник... А ещё лучше в ЖЖ, у меня подруга...

ГРЕЙС *(перебивая Хейли)*. Мы познакомились в театральной студии. Не поверишь, он ставил «Гамлета», в котором я играла Офелию... Кстати, Офелия, роль поучи, а то удивила сегодня...

ХЕЙЛИ. Ну сказала вместо «Господи» «господа», никто не заметил.

ГРЕЙС. Это тебе показалось, что не заметили. Ты Богу молишься: «Господи, мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать. Благослови Бог нашу трапезу!». А ты: «Господа, мы знаем, кто мы такие...» Ничего мы, господа, не знаем, *(Грейс обращает свой взгляд наверх)* может только Бог и знает..., и благословит нашу трапезу... *(переводит взгляд на стол)*

Возвращаются мужчины. В руках у Пола упаковка датского пива «Карлсберг».

ПОЛ. О, стол уже накрыт, давайте по чуть-чуть. *(Разливает всем виски)* Мы собрались не для того, чтоб выпивать, а для того, чтобы выпивать вместе.

РИЧАРД. Мне виски на два пальца, не больше.

ПОЛ. Всем по глоточку. За премьеру. *(Все чокаются. Выпивают)* Девочки, пока фуршет не перешёл на банкет, вам тоже надо всё посмотреть и, хотя бы ножкой, водичку потрогать. Купальники взяли?

ГРЕЙС. А зачем? Наша одежда – её отсутствие.

ПОЛ. «Где твой румянец, стыд?» Не заставляйте краснеть меня.

ХЕЙЛИ. Конечно, взяли. А где переодеться?

ПОЛ. Там за дверью – направо. Не забудьте заглянуть в соларий.

Выпровождает женщин.

ГРЕЙС. *(останавливается в дверях, улыбаясь, обращается к Ричарду)*

«Помилостивей к слабостям пера,

Грехи поэта выправит игра».

РИЧАРД. Твоя игра выправит даже кулинарную книгу.

Грейс уходит.

РИЧАРД *(показывает на рекламу пива)*. Это датское пиво вдохновило вас на пьесу о старом Гамлете?

ПОЛ. «Открывая “Карлсберг”, Вы открываете историю»... И пиво тоже. Бывает, гости всю ночь в прятки играют, по банкам прячутся, а утром пиво ищут. Вы к нам, когда в следующий раз приедете, у нас тут полный порядок будет. Кого куда сажаем? Вас, сэр Ричард, во главу стола. *(Передвигает стулья. Берёт папку, лежащую на тренажёре, как бы невзначай бросает её на столик)*

РИЧАРД. Ну, мы же договорились: просто Ричард, просто Пол. Да мне везде удобно. *(Ричард делает вид, что не заметил игры с папкой)* А если просто к дивану подвинуть?

ПОЛ. Не торопись, Ричард, до диванов дойти успеем. А спектакль мне на самом деле понравился. Только Гамлет очень положительный...

РИЧАРД. Восстал против лжи, нравственно опередил время, он – добро с рапирой в руке. Меня больше Офелия смущает, она какая-то странная...

ПОЛ. Так Офелия и должна быть странной, у неё не все дома.

РИЧАРД. На сцене — согласен, но она и в жизни... не знает чего хочет...

ПОЛ. Раз она здесь, то наверно знает.

РИЧАРД. Ты думаешь, она не против?

ПОЛ. Зачем тогда приехали? Загорать ночью? Женщины только снаружи разные, а внутри — одинаковые.

РИЧАРД. А где тут вообще можно?

ПОЛ. Да где хочешь, в соляной, в травяной. Некоторые любят выпить — и в сауну. Так разбирает!

РИЧАРД. Нет-нет, у меня сердце пошаливает. Аритмия.

ПОЛ. Турецкую не предлагаю, там скользко, один упал, уголовное дело завели... Тогда без экстрима, я в комнате отдыха бельё поменял, вещи свои оттуда забрал... Грейс я беру на себя.

РИЧАРД. Я понял, ты с ней дружишь давно.

ПОЛ. Достаточно. Любовница от первого брака. Мы, правда, давно не дружили, но сегодня трянем стариной. *(Наливает себе и Ричарду виски)* Я помню — два пальца. Третий лишний.

РИЧАРД. За успех предприятия. *(Мужчины выпивают)* Я смотрю, она какая-то зажатая.

ПОЛ. Ну, может из-за мужа нервничает.

РИЧАРД. Я про Хейли...

ПОЛ. Ты про спектакль?

РИЧАРД. Да какой спектакль...

ПОЛ. Сейчас выпьет, расслабится. Тебе когда ехать, утром? Вот и будем до утра, кофе есть, в поезде поспишь. Ричард, скажи, ты пьесу мою прочитал? *(Придвигает папку, лежащую на столике)*

РИЧАРД. Прочитал.

ПОЛ. И-и-и?

РИЧАРД. Зажатая она, вот что смущает.

ПОЛ. Да отвлечись, я про пьесу.

РИЧАРД. Пьеса тоже зажатая...

ПОЛ. Подскажи, где. *(Берёт в руки папку)*

РИЧАРД. Может, я не очень внимательно прочитал... *(Отстраняет папку рукой)*

ПОЛ. Ну, так честно и скажи, что не читал. *(Разочаровано кладёт папку на место)*

РИЧАРД. Читал. У тебя старый Гамлет, который король, который потом у Шекспира призрак — нехороший был человек, со всеми плохо себя вёл, и они решили от него избавиться, Клавдий его и порешил.

ПОЛ. А вот и не Клавдий.

РИЧАРД. Кто же тогда?

ПОЛ. Да кто угодно. Может и Гертруда, а может принц Гамлет. Это так и остаётся загадкой.

РИЧАРД. Чего же у Шекспира Клавдий потом каётся? Знаешь, старик, я когда спектакль ставлю, ни на что не отвлекаюсь. Сегодня закончил и внимательно прочту.

ПОЛ. Я знаю, чтобы понравиться сегодня, пьеса должна быть простой и короткой, лучше всего из жизни насекомых. Но у меня так не получается... Мы в школе учим, что он герой. Какой он герой? Над этой издевается, тех предал, того убил. Он почему над Офелией издевается? А я понял — потому что они сводные брат и сестра. Этот старый Гамлет, он же всех, кто двигался... А кто не двигался — подталкивал... Так что и Гамлет его, и Офелия его, потому и Гертруда несчастная, а остальные не дожили. Где жена Клавдия, например?

РИЧАРД. Да... Я как-то не задумывался. Может и так.

ПОЛ. И почему он в аду горит? У Шекспира же есть, что в аду горит.

РИЧАРД. Сейчас уже не узнаем. Да и кто из нас без греха?.. Ты мне всё-таки скажи, чего она такая скованная?

ПОЛ. Да кто её сковывал? Её вначале старый Гамлет-призрак к сожигательству склонил, потом Клавдий, да и на Гамлета молодого у неё виды...

РИЧАРД. А, так она в театре со всеми...

ПОЛ. Кто?

РИЧАРД. Ну кто, Хейли.

ПОЛ. При чём тут? Я про Офелию! Да нет, подожди, она — дело десятое. А вот жена Полония, где она? Почему умерла? Может, её тоже старый Гамлет в могилу свёл? Ведь как-то Полоний стал главным придворным? А Йорика, шута, чтоб язык не распускал, старый Гамлет сам и прибил. Ты же не прочитал, а у меня там есть сцена, когда королю видения являются — убитый Фортинбрас, убитый Йорик. Потом и молодому Гамлету призраки будут мерещиться — это у них фамильное.

РИЧАРД *(раздражённо)*. Слушай, ты думаешь, что сделал что-то особенное? Думаешь, я меньше тебя знаю историй про Гамлета? Да ленивый только его не переименовывал! И психом Гамлет был, и все повально были геями, а Гамлет — любовником Клавдия, которого из ревности и прикончил. Я специально классический вариант выбрал, про гуманизм. Наши дети в интернете столько дерьма видят — пусть хоть в театре им скажут про величие добра и справедливости.

ПОЛ. Какая справедливость?! Он же друзей на смерть отправил, письмо подменив, потому что они у него под ногами путались... «Не суйся между старшими в момент, когда они друг с другом сводят счёт»... А когда мститель за родителя спрашивает «Лазрт, откуда эта неприязнь? Мне кажется, когда-то мы дружили» после того, как его отца убил и над телом надругался...



Входит Грейс в купальном халате.

РИЧАРД. А где Хейли?

ГРЕЙС. Она там что-то включить не может.

В это время в проёме двери появляется Хейли в купальнике.

ХЕЙЛИ. Помогите включить свет в сауне.

ПОЛ. Сейчас помогу.

РИЧАРД. У меня это лучше получится.

Поднимается и направляется к двери. Хейли пропускает Ричарда.

ХЕЙЛИ. Зашла в сауну, а там темно, чуть ноги не поломала. Без нас не начинайте, я уже проголодалась.

Уходит вслед за Ричардом.

ПОЛ (*оценивающе смотрит вслед ушедшей Хейли*). Поломать не поломала, но погнула основательно.

ГРЕЙС. Прекрати, у неё красивые ноги.

ПОЛ. Я без очков, могу ошибиться.

ГРЕЙС. Талантливая девочка с умными глазами.

ПОЛ. Какое благородство! Уступаешь девушке режиссёра? Карьеру помогаешь делать?

ГРЕЙС. А почему бы и нет? Я же королева, могу позаботиться о подданных. Ты действительно в восторге от спектакля?

ПОЛ. Я, как мой тёзка, апостол Павел, готов быть со всеми – всем... Для пользы дела.

ГРЕЙС. Понятно, а как я сегодня играла?

ПОЛ. Королеву? Мне трудно судить. В последнее время она редко приглашает меня во дворец. А мать ты играла... как-то не очень.

ГРЕЙС. В смысле?

ПОЛ. В смысле душевного благородства. У вас же там все борются за гуманизм. Может, объяснишь мне, что это?

ГРЕЙС. Это когда людей любят.

ПОЛ. Людей любить легко, человека трудно. Ты мне скажи, он пьесу читал?

ГРЕЙС. Он и Шекспира, кажется, не до конца прочёл. Великий режиссёр, ему всё можно.

ПОЛ. Что, совсем не читал?

ГРЕЙС. Я попросила, а как там было, не знаю. Может, в трубочку свернул и глянул сквозь неё на мир.

ПОЛ. А что сказал?

ГРЕЙС. Ничего. Сам спрашивай. Затем, как понимаю, к тебе и приехали.

ПОЛ. Ну, приехали не за этим...

ГРЕЙС. Что ты говоришь! Неужели здесь притон, а не центр здоровья? Кто бы мог подумать! (*Показывает на плакат*) «Mens sana in corpore sano!» «В здоровом теле здоровый дух!»

ПОЛ. Это днём, а ночью тут другие духи обитают. Значит, не читал? Ну и чёрт с ним!

ГРЕЙС. Не злись! Стоит ли нервничать из-за пустяков. Мы уже не так молоды...

ПОЛ (*внимательно смотрит на Грейс*). Ты по-прежнему красива.

ГРЕЙС (*смеётся*). Это смотря как свет поставить... Конечно, формы уже не те, но нога, нога... (*вытягивает ногу из-под халата*)

ПОЛ. Останешься на ночь?

ГРЕЙС. Ты хочешь, чтобы я изменила мужу?

ПОЛ. Я же не перечисляю всех, кому собираюсь изменить с тобой.

ГРЕЙС. Я их и так знаю, начиная с трёх жён и дальше по списку.

ПОЛ. Так ты считала?

ГРЕЙС. На калькуляторе, пальцев не хватило.

ПОЛ (*с наигранным сожалением*). А я ещё пригласил тебя на первую свадьбу...

ГРЕЙС. Помню: ты был счастлив, а она – пьяна.

ПОЛ. Потом она относилась ко мне, как к собаке... Требовала верности... Надо было на тебе жениться.

ГРЕЙС. Ты и верность... Хаос и закономерность... И какое бы место я занимала в твоей жизни? Половину постели?

ПОЛ. Не самая худшая позиция... Наверное, я не умел тебя любить.

ГРЕЙС. Как давно это было... А земля по-прежнему вертится.

ПОЛ. В личной жизни этим можно пренебречь. Знаешь, в чём прелесть наших отношений?

ГРЕЙС. Знаю, в их отсутствии.



ПОЛ. И это ты называешь меня злым?

ГРЕЙС. Я подумаю.

ПОЛ. О чём?

ГРЕЙС. О правдивой истории для мужа.

ПОЛ. Поломалась машина.

ГРЕЙС. Он уже шутит, что её собирали в рождественскую ночь.

ПОЛ. Ну... тогда ... Хейли стало плохо на банкете, ты отвезла её в больницу и была там, пока Хейли не стало хорошо.

ГРЕЙС. Два раза.

ПОЛ. Что два раза?

ГРЕЙС. Хейли стало хорошо два раза... Ты в самом деле стал неплохо сочинять.

ПОЛ. Когда-то и я тебя ревновал.

ГРЕЙС. Меня? К кому? К театру? Так успех был недолгим...

ПОЛ. Тогда я любил тебя, как сорок тысяч братьев любить не могут.

ГРЕЙС. Но тщательно скрывал...

ПОЛ (*пытается обнять и поцеловать Грейс*). На ощупь ты выглядишь ещё лучше.

«О благодетельная сила зла!

Всё лучшее от горя хорошеет,

И та любовь, что сожжена дотла,

Ещё пышней цветёт и зеленеет».

ГРЕЙС. Ты ненормальный, как твой Гамлет.

ПОЛ. Гамлет всегда ненормальный, как каждый из нас. Его же все отождествляют с собой.

ГРЕЙС. Все, кроме тебя. У тебя главный герой Полоний. Я же читала. А ты даже не спросил. Почему?

ПОЛ. Почему не спросил или почему Полоний?

ГРЕЙС. Почему не спросил?

ПОЛ. Думал, и ты не прочла... Понравилось?

ГРЕЙС. Ну, как тебе сказать...

ПОЛ. Писатель подбирает правильные слова. Ты считаешь, что Пол подобрал с пола не те?

ГРЕЙС. Полоний, почему он?

ПОЛ. Нестандартный яд, которым один русский шпион отравил другого в Лондоне... Прости за каламбур.

ГРЕЙС. Твой Полоний так всех ненавидит, что кажется порядочным человеком.

ПОЛ. Он из них – самый умный. А ещё он добрый. А потому циничный.

ГРЕЙС. Добрый – и при этом циничный?! Патология какая-то.

ПОЛ. Да... Сегодня добро стало патологией, а ещё патология – то, что мы здесь на чужой случке.

ГРЕЙС. Фу-у-у, что за выражение? Ты опять завёл собаку? Это делают те, кто разочаровался в людях.

За сценой слышен смех Хейли. Появляется Хейли в банном халате, хохочет, за ней – несколько озадаченный Ричард.

ХЕЙЛИ (*кокетничая, заканчивает фразу, адресованную Ричарду*). ...Мне кажется, что вы путаете идею с предложением.

ПОЛ. Ну что, попарились?

РИЧАРД. Наоборот. Хейли ледяной бани захотелось. Отморозилась, одним словом.

ХЕЙЛИ. Ну, ведь здорово же, потрясающие ощущения!

ПОЛ. На входе или выходе?

ХЕЙЛИ. Внутри.

ГРЕЙС. Согреться не мешает... (*Ричарду*) «Король пьёт здоровье Гамлета?» (*Протягивает Ричарду стаканчик*) Ричард, у тебя за ухом сосулька, сними.

РИЧАРД (*проводит рукой у себя по затылку*). Уже растаяла. (*Берёт бутылку и разливает виски всем присутствующим*)

РИЧАРД. Простите, что безо льда.

ПОЛ. Лёд можно организовать...

ХЕЙЛИ. Я вам помогу. Мне там понравилось.

Пол и Хейли уходят.

РИЧАРД (*обращаясь к Грейс*). Мы выпьем так. (*Чокаются. Выпивают. Ричард закусьивает оливкой*) Ты же говорила, что она не против? Я к ней и так и этак, а она – да что вы, да я ничего не понимаю, да я не такая... Какая не такая?

ГРЕЙС. Подожди, она должна к тебе привыкнуть.

РИЧАРД. Что ж она за месяц репетиций не привыкла?

ГРЕЙС. Теперь ты для неё в другом качестве, улавливаешь разницу?



РИЧАРД (*перебивая*). Чего я вообще сюда приехал? Мне ещё два месяца за ней ухаживать? А тут этот, с пьесой. Зачем ты мне её дала? Я вообще пьес не читаю, я их ставлю, (*передразнивает Грейс*) улавливаешь разницу?.. А он тебе зачем?

ГРЕЙС. А ни зачем... по старой памяти.

РИЧАРД. Ты сама её читала?

ГРЕЙС. Странная... Так и он странный... талантливый неудачник, как сорок тысяч его братьев... Всегда ищет правду. Даже в тюрьме.

РИЧАРД. Так он преступник?

ГРЕЙС. Фармацевт... От его лекарства умер человек.

РИЧАРД. Отравитель? Фамилия этого графомана не Медичи?

ГРЕЙС. Не совсем, там было что-то вроде незаконной эвтаназии.

РИЧАРД. Законной эвтаназии не бывает, мы не в Нидерландах.

ГРЕЙС. Да, у нас добро не остаётся безнаказанным...

РИЧАРД. Ну, ты молодец! Куда ты меня привезла? Он нам яду из любви к правде не подмешает?

ГРЕЙС. Не бойся. Это было давно и неправда. А девушку кто хочет? Где я вас сведу? Приглашу на семейный ужин? (*Входит Хейли. У неё в руках пивная кружка, полная кусочков льда. Грейс меняет интонацию*) А вот и наша нимфа. Где страж подземелья?

ХЕЙЛИ. Проверяет затворы. Бдит!

ГРЕЙС. Пусть бдит, у него работа такая, а у нас отдых! Актёры должны уметь собраться и расслабиться. Мы тут собрались, теперь расслабляемся! Хейли, помоги расслабить нашего мэтра.

ХЕЙЛИ. Ну, если сэр Ричард мне чуть-чуть нальёт...

ГРЕЙС. На брудершафт!

РИЧАРД. Брудер – по-немецки «брат»... Никаких братьев. Просто выпьем и поцелуемся.

Грейс начинает напевать известную песню «Битлз».

ГРЕЙС. All you need is love, love, love!

Ричард и Хейли выпивают и целуются. В этот момент входит Пол.

ПОЛ. Совет да любовь! Ноги все помыли, пора за стол.

Ричард и Хейли отстраняются друг от друга.

РИЧАРД. Плотно сжатые губы – национальная особенность англичанок.

Все четверо стоят возле стола.

РИЧАРД. За премьеру пили... Боже, храни Королеву. Предлагаю за неё...

ПОЛ. ...и мать её... вдовствующую! Старушке скоро сто лет стукнет. (*Выпивают*)

РИЧАРД. Дальше можно сидя. (*Все садятся*). А теперь за актёров! Как там, у Шекспира: «Лучшие актёры... для представлений трагических, комических... для неопределённых сцен»...

ПОЛ. И талантливых поэм.

Все выпивают.

РИЧАРД (*обращаясь к Полу*). А тебе понравилось, как играли?

ПОЛ. Особенно, как его зарезали. Да вы закусывайте, закусывайте! (*Накладывает в тарелки еду*)

РИЧАРД. Кого зарезали?

ПОЛ. Принца.

РИЧАРД. А ты кровожадный... Лучше скажи нам тост, борец за здоровье.

ПОЛ. Чтобы бедные не болели, а богатые не выздоравливали!

ГРЕЙС. Фу, ты же не в аптеке... Давай про театр.

ПОЛ. Ещё не готов. Лучше налью. (*Наливает всем*)

ГРЕЙС. Давайте я... За третий звонок!

ХЕЙЛИ. В духовке или в жизни?

ГРЕЙС. В театре. После третьего звонка они остаются в темноте, а мы освещены. Они неразличимы и одинаковы, а мы красивы и удивительны. Они молчат, а мы говорим. И они нас слушают. За третий звонок!

Все выпивают.

ПОЛ. Слушали замечательно, в антракте никто не ушёл.

РИЧАРД. Так его не было.



ПОЛ. Выпьем. За антракт, которого не было, и ничто не мешало цельности. . .

ХЕЙЛИ (*перебивает Пола*). А я хочу поднять тост за зрителей.

ПОЛ. Поднять лучше стакан, а тост можно произнести.

ГРЕЙС. Нет, надо выпить за режиссёра. Во всём виноват режиссёр. Сегодня он виноват в нашем успехе.

ПОЛ (*наливает*). За смелые решения. Вот у вас герои в замке, а замка нет. Дерутся на рапирах, а их нет, вином друг на друга плещут. Вино как кровь, бокалы как спринцовки. Трагедия, а выходит клизма.

ХЕЙЛИ. Кому?

ПОЛ. Да всем, кто не смирился под ударами судьбы.

ГРЕЙС. Ты опять ничего не понял.

РИЧАРД. Не ссорьтесь! Трагедия – дело чистое, верное, она успокаивает. В драме с предателями, закоренелыми злодеями, с преследуемой невинностью, с мстителями, с проблесками надежды – умирать ужасно, смерть похожа на несчастный случай. Возможно, ещё удалось бы спастись. . . В трагедии чувствуешь себя покойно. Прежде всего, тут все свои. (*Ричард обводит взглядом всех присутствующих*) И здесь все свои! Так выпьем за то, что нас объединяет. За театр! Театр – это храм. Кстати, «храм» – это «запрет». Запрещаю сегодня ругаться!

ГРЕЙС. И «гарем» – это запрет. (*Выразительно смотрит на Ричарда*) Только чего?

РИЧАРД. А чужие там не ходят. Уже успели поругаться, а за меня так и не выпили.

Выпивают.

РИЧАРД. Хейли, а ты не допила! Как же так, за режиссёра? Я обижусь. (*Пересаживается поближе к Хейли*)

ГРЕЙС. «Да, уж тут есть магнит попритягательней. . .» (*Пересаживается ближе к Полу*) Ну что, старый друг? Всё-таки в театр тянет?

ПОЛ (*с лёгкой проницей*). Я, конечно, нетипичный зритель, большинство ждало, когда Гамлет познакомится с Джульеттой, потому что «нет повести печальнее на свете», но я-то знал, чем кончится. Хотя, если хорошо поставлено – каждый раз ждёшь, что кончится по-другому. И понимаешь, что по-другому не кончится, но в этом величие трагедии, в её безысходности, неотвратимости, логичности. В сущности, ведь никто не виноват. Не важно, что один убивает, а другой убит. Кому что выпадет. Трагедия успокаивает прежде всего потому, что знаешь – нет никакой надежды, даже самой паршивенькой: ты пойман, пойман, как крыса в ловушку, небо обрушивается на тебя, и остаётся только кричать – не стонать, не сетовать, а вопить во всю глотку то, что хотел сказать, что прежде не было сказано и о чём, может быть, ещё даже не знаешь. . . Ну как, Ричард, я помню Жана Ануя не хуже, чем ты?

РИЧАРД (*слегка смущаясь*). Да, Пол, не хуже, чем я. Ты продолжаешь меня удивлять.

ПОЛ. Жаль, так хотелось тебя растрогать. Ну что ж, выпьем за неотвратимость, за трагедию.

ГРЕЙС. Её прелесть в том, что каждый считает справедливым, что другому хуже, чем ему.

ХЕЙЛИ. Сколько можно о трагедиях! Давайте что-то весёлое!

ГРЕЙС. Да и без музыки сидим. . .

РИЧАРД (*поднимается*). Ну. . . выпьем. . . (*глубоко вдыхает в себя воздух*)

ХЕЙЛИ. Видимо, за искусство.

РИЧАРД. Не перебивай старших.

ГРЕЙС. Чтобы заставить актрису замолчать, ей нужно дать роль.

ПОЛ. Ри-и-ичард, ну дай Хейли ро-о-оль.

РИЧАРД. С огромным удовольствием.

ХЕЙЛИ. А какую?

РИЧАРД. Поживём – увидим.

ХЕЙЛИ. Лучше наоборот – сначала увидим, а потом поживём.

РИЧАРД. Договорились.

ГРЕЙС. Хейли, учи текст.

РИЧАРД (*выпивает сам, протягивает стакан Полу, тот наливает в него виски. Ричард смотрит по очереди на Хейли и Грейс. Снимает с себя пиджак и набрасывает его на один из тренажёров*). Театр и женщина появились на свет одновременно. За нас, за девушек, за!..

ГРЕЙС (*перебивает Ричарда*). Я вообще-то замужем.

РИЧАРД. Чужая жена – всегда девушка. . . Вы сбили меня с мысли. . . вашей красотой. За что же я хотел выпить? Вспомни! За те части вашего тела, которые никогда не загорают. . . За ваши красивые глаза!

ХЕЙЛИ. Ой, и вправду.

Все выпивают. Количество выпитого осязаемо переходит в качество. Ричард садится, приобнимает Хейли за плечи и что-то шепчет ей на ухо. Пол поднимается, подходит к выключателю и приглушает свет в холле.

ХЕЙЛИ. Перестаньте, вы не только говорите глупости, вы ими ещё и толкаетесь. (*Хейли отодвигается от Ричарда, встаёт*) А мы пойдём в солярий?



ГРЕЙС. Обязательно. Но перед этим я хотела бы выпить вина.

ХЕЙЛИ. А вино после виски, как?

ПОЛ. Так же, как и до. Кстати, это замечательный эксклюзивный напиток, из старых запасов, для лучших гостей. *(Берёт бутылку вина, стоящую на столе. Наливает Грейс)* Это вино урожая нашей юности. Пролегустируй. Восхитительное, невероятно гармоничное, с сильным характером. Сбалансированный букет с оттенком миндаля и нотой распустившейся розы. К сожалению, нет возможности его аэрировать и декантировать... *(Все смотрят на Грейс)*

РИЧАРД. Что там про миндаль? «Не пей вина, Гертруда!»

Пол наливает всем вино.

ГРЕЙС. За твой успех пьёт королева, Ричард! Пью стоя за премьеру и аншлаг!

Выпивает, замирает, хватается двумя руками за горло, как будто бы ей не хватает воздуха. Пошатывается. Делает несколько шагов по направлению к дверям. Сгибается пополам. Опускается на колени и падает на пол. Все застыли от удивления и неожиданности. Хейли визжит, Ричард и Пол наклоняются к Грейс. Пол пытается привести её в чувство.

ПОЛ. Давайте её сюда, на шезлонг. *(Мужчины переносят Грейс на шезлонг)* Принесите воды, здесь душно.

РИЧАРД *(угрожающим тоном)*. Душно? Что ты ей налил? Ты отравил её?

Гертруда вскакивает с шезлонга, хохочет.

ГРЕЙС. Здорово я вас разыграла? Кто скажет, что я не талантлива? Испугались? А ты, Ричард, поблдепел. Больше всех струсил.

РИЧАРД. Ну и шуточки у вас, девушка! Ой, сердце схватило от твоей импровизации.

ХЕЙЛИ. Грейс... *(Обнимает её)* Как ты так можешь, все и вправду поверили, что тебе плохо!

ПОЛ. А ей всегда хорошо. Актёры любят умирать на сцене. Выпьем за твою долгую, прости, яркую жизнь в искусстве!

Хейли, Ричард и Пол выпивают.

ГРЕЙС. Не хочу больше пить. *(Слегка распахивает халат)* У нас тут прямо «Ужин на траве» Эдуарда Мане. Мужчины в комифо и дамы в неглиже. Только травы не хватает.

ХЕЙЛИ. В смысле – травки? Я не против.

ПОЛ. Нет, девушка, у нас тут полиция бывает, травки не держим.

ХЕЙЛИ. А так хотелось чего-то возвышенного.

ПОЛ. Легко, у меня для вас сюрприз. Из формулы «секс – наркотики и рок-н-ролл» убираем наркотики.

Из-под ближайшего тренажёра достаёт кассетный магнитофон. Включает кассету. Громко звучит известная песня «Битлз» «Can't buy me love» (известная зрителям старшего поколения по телепередачам об Америке Валентина Зорина).

Can't buy me love oh love oh
 Can't buy me love oh
 I'll buy you a diamond ring my friend
 If it makes you feel all right
 I'll get you anything my friend
 If it makes you feel all right
 'cause I don't care too much for money
 For money can't buy me love
 I'll give you all I got to give
 If you say you love me too
 I may not have a lot to give
 But what I've got I'll give to you
 'cause I don't care too much for money
 For money can't buy me love
 Can't buy me love oh everybody tells me so
 Can't buy me love oh no no, no!
 Say you don't need no diamond rings
 And I'll be satisfied
 Tell me that you want the kind of things

За звон монет, нет,
 За звон монет...
 Куплю кольцо тебе, мой друг,
 Если хочешь ты его,
 Достану всё тебе, мой друг,
 Если хочешь ты того.
 Ведь, всё равно – и с кучей денег
 Я не куплю любовь.
 Отдам всё, что смогу отдать,
 Жду любви в ответ лишь слов.
 С меня немного можно взять,
 Но всё, что есть, отдать готов.
 Всё равно – и с кучей денег
 Я не куплю любовь.
 За звон монет не купить любви мне, нет,
 За звон монет, нет-нет-нет, нет.
 Скажешь, что кольца не ждёшь –
 И ближе станешь мне,
 Скажешь, что за деньги не найдёшь,

That money just can't buy
'cause I don't care too much for money
For money can't buy me love
Can't buy me love oh love oh
Can't buy me love oh

Что нам всего нужней.
Всё равно — и с кучей денег
Я не куплю любовь.
За звон монет не купить любви мне, нет,
За звон монет, нет-нет-нет, нет.
Скажешь, что кольца не ждёшь —
И ближе станешь мне,
Скажешь, что за деньги не найдёшь,
Что нам всего нужней.
Всё равно — и с кучей денег
Я не куплю любовь
За звон монет, нет, за звон монет, нет.

Все участники застолья начинают танцевать рок-н-ролл. Хейли достаёт из кармана халата солнечные очки и танцует в них. Грейс — развязывает пояс на банном халате и повязывает его вокруг головы через лоб, на манер хиппи. Ричард снимает с себя галстук. Посередине танца Пол из-под тренажёра достаёт барабанные палочки, садится за стол, пока остальные танцуют, сопровождает их танец, отбивая ритм палочками на столе, как на барабане. Грейс в танце подходит к нему, вытаскивает его из-за стола и они снова танцуют четвером. Кажется, что во время танца мужчины и Грейс молодеют лет на тридцать-сорок, оказавшись в семидесятых годах прошлого века. И всё, что с ними было потом, куда-то исчезло... Когда музыка заканчивается, обессиленные они возвращаются за стол.

РИЧАРД. Теперь угощать буду я. У меня в сумке бутылка сорокалетнего коньяка. Я хочу, чтоб мы выпили за нашу молодость. За то, как мы визжали от восторга на концертах «Битлз». Пол, помоги мне принести сумку.

ГРЕЙС. Ричард, на улице туман ты можешь простудиться. Пол, пошли, а они пока обсудят поздний ренессанс.

Грейс и Пол уходят.

РИЧАРД. Давай всё-таки допьём. *(Подвигается ближе к Хейли. Влияние алкоголя усиливается, говорит сбивчиво)* Я вырос в бедной семье. В детстве думал, что меня зовут Отстань. Потом я, правда, получил диплом портного, но без права пошива пиджаков. Тогда у меня была девушка. Встречаться нам было негде. Однажды зимой в парке, в туман, на какой-то скамейке, мы так любили друг друга... *(Ричард и Хейли выпивают)* А потом того, что было тогда в снегу, той радости, того вкуса, запаха, ощущения, той мелодии... И страшно было, что уже никогда не будет. А сегодня, мне кажется, я снова нашёл её. Я нашёл тебя, Хейли, и не хочу потерять. Сегодня меня зовут Везде! Завтра в Лондон, потом в Сингапур. Но хочется повести по этому пути тебя. Давай ещё нальём и...

ХЕЙЛИ. Я, правда, очень стараюсь. Я думала, вы меня на Офелию не назначите.

РИЧАРД. Как можно? На тебя на улице оглядываются.

ХЕЙЛИ. И ещё я импровизаций боюсь.

РИЧАРД. А я люблю... джаз в неформальной обстановке.

ХЕЙЛИ. И с кем у нас импровизировать? С Грейс? Но она в жизни добрая, а на сцене...

РИЧАРД. Она же твоя наперсница, хотя понимаю, лучше не нашлось...

ХЕЙЛИ. А мужчины наши... Да вы же знаете, играть не с кем. И интендант меня недолюбливает.

РИЧАРД. Да нужно тебя отсюда забрать, да в хорошие руки. Такие, как мои. Смотри, какие они добрые. Ты умница, давай что-то вместе сыграем. *(Дышит в ухо Хейли)* Прелесть моя, зачем я сюда приехал...

ХЕЙЛИ. Вы уедете и всё забудете.

РИЧАРД. Чтобы режиссёр забыл о талантливой актрисе?! Уже через месяц я буду дома, в Лондоне, там увидимся и всё вспомним. Нам будет, что вспомнить?

ХЕЙЛИ. Конечно, сегодня замечательный вечер и мы вместе.

РИЧАРД. А вот это правильно. «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть». *(Привлекает Хейли к себе)*

Появляются Грейс и Пол. У Пола в руках дорожная сумка.

ПОЛ. Да ладно, не стесняйтесь. *(Ставит сумку перед Ричардом)*

РИЧАРД. Отлично! Где он тут у меня? *(Достаёт бутылку коньяка и ставит её на стол)*. Вот что нужно пить королевам и принцессам!

Ричард кланяется по очереди Грейс и Хейли. Пол берёт со стола бутылку и открывает. Читает этикетку. Хейли и Грейс разыгрывают церемониальную пантомиму. Пол наполняет стаканы.



ПОЛ. Коньяк янтарного цвета с золотистым оттенком. Вкус щедрый, мягкие дубовые тона уравновешены ванильными нотами. Послевкусие длительное, насыщенное.

РИЧАРД. За дам! За их щедрость...

Все выпивают.

ХЕЙЛИ. Пол, а сколько у вас детей?

ПОЛ. *(после короткой паузы)*. Вообще я женился поздно.

ГРЕЙС. В третий раз...

ПОЛ. У меня два сына.

ХЕЙЛИ. Это замечательно.

ПОЛ. Ричард, ну скажи, какие у нас замечательные актрисы.

РИЧАРД. Пластичные, тактичные...

ПОЛ. Тактичные, пластичные... Надо им почаще у меня в зале бывать. Девушки, будет время – приходите запросто, без денег, поплавать, размяться.

ХЕЙЛИ. Французы говорят: le sport est la mort – спорт это смерть.

ПОЛ. Глупости.

ХЕЙЛИ. Не совсем. Какой самый сильный зверь?

РИЧАРД. Лев.

ХЕЙЛИ. Лев же не качается, на тренировки не бегает. Что он делает? Он потягивается. И собаки потягиваются, и кошки. И я йогой занимаюсь.

ПОЛ. И что ты можешь?

ХЕЙЛИ. Разное.

РИЧАРД. Ладно, сейчас выпьем – покажешь.

ХЕЙЛИ. Ещё как покажу.

ПОЛ. Не хвастайся. И вообще брось это. Что я заработаю, если все будут потягиваться? Пусть на тренажёры ходят. Вон их сколько накупили. А все эти йоги, индийцы... Знаешь, кто такие индийцы? Это цыгане, которые тогда не ушли из Индии, а сейчас понаехали в Англию... Так что бросай йогу и приходи качаться.

ГРЕЙС. Конец рекламной паузы. Лучше анекдот расскажи.

ПОЛ. У меня только солёные.

ГРЕЙС. Фу-у-у, а малосольные есть?

РИЧАРД. У меня есть малосольный – про ирландцев. Ирландцев здесь нет? Никто не обидится? *(Ричард встаёт, проходит по сцене, всматривается в зал)* И здесь ирландцев нет... тогда рассказываю. *(Поворачивается к собравшимся)* В Ирландии начались волнения, после того, как снизили цену за проезд в общественном транспорте.

ХЕЙЛИ. Снизили или повысили?

РИЧАРД. Снизили, а волнения, потому что раньше, проехав зайцем, они экономили тридцать пенсов, а теперь только десять. *(Все смеются)*

ПОЛ. Будем гулять до утра. Кофе есть.

ГРЕЙС. Кофе пьют, а не едят.

ПОЛ. А мы будем его жевать.

РИЧАРД. Ох, хорошо посидели. Теперь бы отдохнуть немного. Там где-то комнаты отдыха, а мы их не видели. *(Подает руку Хейли, приглашая её с собой)* Продолжим экскурсию по этому Элизиму, фрукты захватим и вино...

ХЕЙЛИ. Подождите, дайте же мне показать! Всем можно, а мне нельзя... Я тоже кое-что умею, чего другие не могут.

ГРЕЙС. Да пусть напоследок покажет, растяжка у неё на уровне!

Хейли делает акробатический этюд, замирает в сложной позе. Аплодисменты. Становится на ноги...

ХЕЙЛИ. Сэр Ричард, ваша помощь!

Тянет за руку Ричарда, совершает сложное движение с его поддержкой.

ХЕЙЛИ. Здесь главное – задержка дыхания. Читайте!

Покачнувшись, падает на пол. Режиссёр пытается подхватить её, но она ударяется головой и остается лежать на полу.

РИЧАРД. Раз, два, три, четыре... Ну хватит. *(Начинает трясти Хейли)*

ПОЛ. У меня знакомый всю жизнь прожил, затаив дыхание.

ГРЕЙС. Настоящие йоги могут не дышать сутки. Эй! Ну же, девочка, ты что? Ну всё, хватит нас разыгрывать. Второй раз один и тот же фокус не показывают. Ричард, хватит её трясти. Да ладно,



ладно, верим мы тебе, ты тоже хорошая актриса. Смотрите... она ударилась головой, по-моему, сильно.

ПОЛ. Подожди, нельзя резко выводить из транса.

ГРЕЙС. Из какого транса? Да она упала, вы что, не понимаете? Она и вправду без сознания!

РИЧАРД. У вас тут что, старинная английская игра в покойника? На вылет? То Грейс нас пугает, то Хейли...

Пол брызгает водой в лицо Хейли. Никакой реакции.

ПОЛ. Я сейчас принесу нашатырь.

Выбегает.

ГРЕЙС. Она в обмороке. Ситуация паршивая.

РИЧАРД. В смысле?

ГРЕЙС. В смысле последствий...

РИЧАРД. Что же делать?

ГРЕЙС. Вот чёртова кукла!

Появляется Пол. Подносит к носу Хейли нашатырь. Никакой реакции.

РИЧАРД. Может, он выдохся?

Пол протягивает пузырёк к носу Ричарда. Тот отплевывается.

ГРЕЙС (*Полу*). Ты же врач, делай что-то!

ПОЛ (*наклоняется над Хейли, проверяет пульс, смотрит ей зрачки, хлопает по щекам*). Во-первых, фармацевт, во-вторых, без лицензии, а в-третьих, она вроде дышит, но сознания нет.

РИЧАРД. Так его и раньше не было.

ГРЕЙС. Срочно врача! Куда звонить? Ой, нет звонить нельзя, её Бобби сегодня на дежурстве. Господи, да что же делать?!

ПОЛ. Куда звонить, я знаю. (*Обращаясь к Грейс*) Истерику прекрати!

Выходит с мобильным телефоном в другое помещение.

РИЧАРД. Господи, бред какой-то! Только этого мне не доставало! И дёрнул же чёрт... Шоу захотелось!

ГРЕЙС. Чёрт? Интересно, кто скрывается под этим псевдонимом...

РИЧАРД. А это твои дурацкие идеи – драматург хочет познакомиться поближе!

ГРЕЙС. Поближе познакомиться с молодым дарованием собирался ты.

РИЧАРД. Господи, и всё бы нормально, так ведь нет, угораздило! Зачем я сюда приехал? Эти двадцать тысяч я мог заработать где угодно! Нашёл место, где искать вдохновение... Старый дурак! (*Хватается за сердце*) Ох, как сердце колет.

ГРЕЙС. Успокойся, Пол что-нибудь придумает.

РИЧАРД. Что он придумает? Новую пьесу? Зачем я сюда приехал?

ГРЕЙС. Ты как Клавдий – каешься, а раскаяться не можешь.

ПОЛ (*возвращается с мобильным*). Сейчас будет.

РИЧАРД. Кто будет? Кого тут ещё не хватает?

ПОЛ. Врача.

РИЧАРД. Какого ещё врача? Он её в больницу повезёт и в полицию сообщит! Значит так: меня здесь не было, я ничего не знаю, у меня утром поезд. Я на вокзале переночую. Вы местные, сами и разбирайтесь.

ГРЕЙС. Нет-нет, какая полиция? Я уезжаю с Ричардом. Меня муж дома ждёт, а тебе (*Полу*) терять нечего, да и не впервой такие дела утрясать.

ПОЛ. Нет, ребята! Вы втроём приехали, втроём и уезжайте. Забирайте её и везите, куда хотите.

ГРЕЙС. Как забирать?

РИЧАРД. Куда забирать?!

ПОЛ. Тогда сидите и ждите. Приедет врач, определит, что с ней, тогда и решим кто, куда, с кем. Вместе будем объяснять, откуда у неё черепно-мозговая травма. А хотите ехать – езжайте, но только вместе с ней.

ГРЕЙС. Нет, нет и нет! Где моя сумка, где мои вещи? (*Осматривает себя*) О господи, я должна переодеться и уехать!

Грейс спешно уходит. В это время Ричард ищет и находит свой галстук, снимает с тренажёра пиджак и надевает его.



ПОЛ. Гуманизм в действии...

РИЧАРД. Не вижу повода для фиглярства. Вы кашу заварили, вы и расхлёбывайте. Может, вы всё специально здесь подстроили.

ПОЛ. Зачем?

РИЧАРД. А затем, что вы ненормальный.

ПОЛ. А вы?

РИЧАРД. Я занимаюсь своим делом, а вы оргии по ночам организуете и пишете ужасные сказки!

ПОЛ. Когда людям не нужна правда, надо писать сказки. А то, что они ужасные... Так жизнь не лучше...

Пол склоняется к Хейли, щупает пульс.

РИЧАРД. Не время и не место резонёрствовать. *(Смотрит на часы)* Я никого не убивал. Никто не виноват, что так вышло. Я только помогал ей. И кто дал вам право мне мораль читать?

ПОЛ. Вам показалось. Я ничего не говорил.

РИЧАРД. Постойте-постойте, я, кажется, начинаю понимать. Вы меня подставили, чтобы отомстить за вашу бесталанную пьесу? И после этого говорите, что не сумасшедший?

ПОЛ. Я вообще ничего не говорю.

РИЧАРД. После того, как сами её сюда заманили? И сколько таких на вашей совести?

Пол молча смотрит на него.

РИЧАРД. Слушайте, вы, маньяк, отпустите же меня!

ПОЛ. И справедливость восторжествует – другим будет хуже, чем вам.

РИЧАРД. Справедливость одна – всех нас черви сожрут, но это, надеюсь, не скоро.

ПОЛ. Мы все смертны по-разному. Может, в этом справедливость.

РИЧАРД. И кто её устанавливает? Шекспир? Барак Обама? А может, ты своей писаниной? Как любой графоман думаешь, что откроешь сейчас неведомое, и мир перевернётся. Ты хочешь, чтобы тебя услышали! Зачем ты хочешь, чтобы тебя услышали? Чтобы стали жить по-другому? У Шекспира всё мерзостно, а что с тех пор изменилось?

Пол снова нагибается над Хейли, щупает пульс. Молчит.

РИЧАРД *(продолжает)*. Ты мир решил спасти? Себя спасай – тебя же посадят. Ты ничего не можешь, поэтому и сдохнешь в тюрьме.

Появляется переодевшаяся Грейс.

ГРЕЙС. Где же ключи? *(Роется в сумочке)* Я отвезу тебя на вокзал.

РИЧАРД. Подожди минуту, я в туалет, меня мутит.

ГРЕЙС *(обращаясь к Полу)*. Нас здесь не было.

ПОЛ. Да? Это как я скажу.

ГРЕЙС. Тогда и я найду, что о тебе сказать. И о твоём притоне. Я мужа боюсь, а ты – полиции. Все будем молчать. Гуд бай.

ПОЛ. Если она не поправится, я молчать не буду. Грейс, не дури, дождёмся врача. Трёх свидетелям поверят скорей, чем одному обвиняемому.

ГРЕЙС. Я всегда знала, что добро наказуемо. Мне какая выгода от всего этого? Я вам хотела сделать лучше, всем помочь, и тебе, и Ричарду, и дуре этой!

ПОЛ. Ты любишь, чтоб тебе все были должны. Всем навязываешь благодарность, всех ею опутываешь. Если честно, нас тут только двое, это же была твоя идея собраться здесь.

ГРЕЙС. Надеюсь, что нас тут трое *(смотрит на лежащую Хейли)*. А почему свою пьесу ты отдал мне, а не режиссёру – это тоже была моя идея?!

Звонок мобильного телефона.

ПОЛ. Да, иду.

Идёт к пожарному выходу. Из двери, ведущей в бани, появляется Ричард.

РИЧАРД. Пошли отсюда скорее!

ГРЕЙС. Поздно, приехал врач.

РИЧАРД. Надо попробовать его уломать, чтобы никуда не сообщал. Может, обойдёмся без больницы? Ты меня на вокзал, а её к ней домой отвезёшь.

ГРЕЙС. И на руках занесу? Или предлагаешь мне её к себе домой отвезти? *(Вспоминает, говорит с интонацией Пола)* «Хейли стало плохо, ты отвезла её в больницу и там ждала, пока ей не станет хорошо». Мистика какая-то!

РИЧАРД. Что ты бормочешь?

ГРЕЙС. Уже не важно.

Возвращается Пол вместе с молодым человеком лет тридцати.

ПОЛ. Сюда. Она упала, мы ничего не трогали. Крови нет.

ВРАЧ. Добрый вечер.

ГРЕЙС. Прекрасная погода, вам не кажется?

ВРАЧ. Вечер немного прохладный. Туман...

Врач осматривает Хейли (проверяет пульс, зрачки).

ВРАЧ. Она не дышит, она жуёт воздух... Похоже на кому, боюсь, у неё перелом основания черепа... Это безнадежно... Вы не пытались её трясти?

РИЧАРД. Да... Но я, я думал, что это обморок.

ВРАЧ. Напрасно... Это её погубило.

Ричарду становится плохо, он хватается за сердце, оседает на пол.

ГРЕЙС. Пол, расстегни ему рубашку...

Все оставляют Хейли, собираются вокруг Ричарда.

ВРАЧ. Срочно принесите мокрое полотенце, помогите снять пиджак, освободите руку, мне нужно сделать укол.

Укладывают Ричарда на коврик возле кресла. Глен проверяет пульс, зрачки, дыхание.

ГРЕЙС. Сейчас, сейчас...

Приносит полотенце. Врач кладёт его на голову Ричарда. Делает ему искусственное дыхание, достаёт из саквояжа шприц и делает ему укол в вену. Приникает ухом к груди. Делает ещё укол и снова слушает сердце.

ВРАЧ. Он что, был сердечник?

ГРЕЙС. А кто сегодня не сердечник? Только почему «был»?

ВРАЧ. Похоже на разрыв сердца, трансмуральный инфаркт.

Пол и Грейс стоят в растерянности, опустив руки. В это время приподнимается Хейли, двумя руками держится за голову.

ХЕЙЛИ *(потирает затылок)*. Погуляли, голова раскалывается. Я что, упала?

ГРЕЙС. Господи, она жива!

ХЕЙЛИ. Кто жива?

ГРЕЙС. Опять Шекспир... Ромео мёртв, а Джульетта ожила. Идиотка, что ты натворила!

ХЕЙЛИ. А что я такого сделала? Хотела показать позу с задержкой дыхания, а потом не помню. А это кто? *(Показывает на врача)*

ГРЕЙС. Врач, деточка.

ХЕЙЛИ. А зачем мне врач? Вы бы ещё Бобби позвали.

ГРЕЙС. Тебе уже не нужен..., впрочем, как и Ричарду.

ХЕЙЛИ. А что с сэром Ричардом?

ПОЛ. То же, что с тобой, но навсегда.

ХЕЙЛИ. Не поняла. Он что, тоже решил нас разыграть?

ГРЕЙС. А может, он ещё оживёт? *(Врачу)* Может, вы опять ошиблись? Вы врач какой специальности?

ВРАЧ. Хирург... Холодный хирург, патологоанатом... Боюсь, это мой пациент.

ПОЛ. Какой осторожный врач, всего боится.

ХЕЙЛИ *(подходит к Ричарду, наклоняется)*. Ой, мамочки. Мне сейчас опять станет дурно...

ГРЕЙС. Допрыгалась?

ХЕЙЛИ. А я при чём?

ГРЕЙС. Ты... при нём!

ХЕЙЛИ. Откуда я знаю, что вы тут с ним делали, пока я без сознания была.



ГРЕЙС. Песни пели. Всё, хватит шума.

ВРАЧ. Надо вызвать полицию. Кто будет звонить?

ГРЕЙС. Только не мы! Отпустите нас, нам в протокол попадать нельзя. Я замужем, у неё жених!..

ПОЛ. Втроём приехали – втроём и уезжайте. Забирайте его с собой.

ХЕЙЛИ. Отпустите нас, мы вас очень просим, мы скажем, что сидели с Грейс в баре. Правда, Грейс?

ГРЕЙС. Пол, мы ничего не знаем, мы всем скажем, что в бар пошли, а ещё лучше – пошли к Хейли домой и там выпивали, а Ричард поехал в гостиницу и мы его больше не видели.

ВРАЧ. Вы из театра вместе с режиссёром уехали?

ГРЕЙС. Нет. Я его ждала в квартале от гостиницы, чтобы нас не увидели вместе.

ВРАЧ. То есть одна привезла, а другая до инфаркта довела.

ХЕЙЛИ. Ну при чём здесь мы? Отпустите нас, я никого ни до чего не доводила.

ВРАЧ. (Полу) Думаю, пусть они едут. Им есть что забыть.

ГРЕЙС. Мы уже ничего не помним. Хейли, переодеться, живо!

Быстро уходят.

ПОЛ. Глен, что будем делать? Может, его в больницу? Инфаркт – это не черепно-мозговая травма, мог случиться по дороге.

ГЛЕН. По дороге куда, и в чьей машине, папа? В твоей, которой у тебя нет? Или в моей? И как он там оказался? А уколы кто ему делал?.. Без полиции всё равно не обойдётся. Надо думать, что делать с трупом.

ПОЛ. Сюда он прийти не мог, центр закрыт.

ГЛЕН. Следствие ещё не закончено?

ПОЛ. Как видишь, нет. Может, отнесём его в машину Грейс? Скажут – ехали, стало плохо... .

ГЛЕН. Я бы с этими бабами не связывался, пьяные и глупые. Пусть уезжают.

Появляются Грейс и Хейли.

ГРЕЙС. Пол, выведи нас.

ХЕЙЛИ (врачу). Спасибо за помощь.

ГЛЕН (подходит к ним близко, внимательно смотрит сначала на одну, потом на вторую). Если вам когда-то придёт в голову поделиться воспоминаниями о сегодняшнем вечере, пожалеете, что не умерли маленькими. Прощайте.

Глен отворачивается. Женщины и Пол выходят. Глен подходит к лежащему Ричарду, нагибается над ним. Ещё раз проверяет зрачки, затем начинает пальпировать живот, печень. За этим занятием его застаёт вернувшийся Пол.

ПОЛ. Ты что делаешь?

ГЛЕН. Проверяю кое-что. (Осматривается кругом. Замечает дорожную сумку Ричарда) А это что за вещи? Его?

ПОЛ. Да. А если вывезти его отсюда? На вокзал, на скамейку?

ГЛЕН. Могут заметить. Есть другое решение.

ПОЛ (некоторое время молчит). Нет. Я не согласен.

ГЛЕН. Почему?

ПОЛ. Потому что нет.

ГЛЕН. А в прошлый раз?

ПОЛ. Откуда я знал, что эти ребята уезжают из бани на одного меньше, чем приезжают. Я испугался их больше, чем полиции. И не знал, что делать.

ГЛЕН. А сейчас знаешь? И никого не боишься? И денег тебе не нужно? Ты ведь даже квартиру снять не можешь, живёшь в этом бассейне!

ПОЛ. В прошлый раз ты мне денег не предлагал... .

ГЛЕН. А ты не спрашивал.

ПОЛ. Нет, надо придумать что-то другое.

ГЛЕН. Я всё привёз с собой. Печень этого пьяницы меня не интересует, но есть три заказа на почку. Кому-то подойдёт. Одна из них – женщина, которая только родила. Не будет почки – она умрёт. А что будет с ребёнком? Так что четверо живых против одного мёртвого.

ПОЛ. Плюс деньги... .

ГЛЕН. Это плохо?

ПОЛ. Для тебя всегда хорошо.

ГЛЕН. Да, я привык зарабатывать с детства, не сильно ты нам помогал.

ПОЛ. В тюрьме много не заработаешь. А после... . Видишь, как всё складывается.

ГЛЕН. Проповедуй то, что исповедуешь. Собаку свою ты не бросил, а нас с мамой оставил.

ПОЛ. Прости, так получилось.

ГЛЕН. Кстати, у тебя есть порядочный сын, только, когда что-то случается, ты зовёшь меня, а не Фреда!

ПОЛ. Я никогда вас не делил. Просто он зубной врач, а у неё черепно-мозговая...

ГЛЕН (*перебивает*). Зубы, между прочим, в голове растут!..

ПОЛ. А ты в самом деле решил, что она в коме? Или выдал желаемое за действительное? (*Глен молчит*) Отвечай!

ГЛЕН. К счастью, я ошибся.

ПОЛ. К чьему счастью? Режиссёра?!

ГЛЕН. Нет. Роженицы, которой нужна почка.

ПОЛ. А если ей не подойдёт?

ГЛЕН. Тогда к счастью того, кто в листе ожиданий.

ПОЛ. А что ты режиссёру вколол?

ГЛЕН. Папа, я конечно не ангел, но убийство – это не ко мне. Я не хотел тебя обидеть, прости, так получилось... Я вколол адреналин.

ПОЛ. Зачем я их позвал... Всё из-за пьесы.

ГЛЕН. А хочешь, я скажу, для кого ты её написал. Не для себя, не для Фреда, не для этого заезжего режиссёра... Для меня! Это ты со мной споришь! Это мою жизнь ты пытаешься режиссировать и морализировать... Пойми, общественную мораль мутит от того, что она видит. Её мутит и она мутит. То, что вчера было нельзя, сегодня ещё как можно. За вскрытие трупов, во времена Шекспира, отправляли на казнь. За подробное рассматривание тела супруга другого отправляли в тюрьму и дальше! Ещё тридцать лет назад секс до брака скрывали, а сегодня все репетируют семейную жизнь.

ПОЛ. Так ты хочешь морально опередить время?

ГЛЕН. Моя мораль проста: если чешется, надо почесать. И ещё. Я предпочитаю десять фунтов пята! Ты делай, а не рассуждай. Можно спасти человека, даже двух, а этому уже всё равно.

ПОЛ. Ты что, не понимаешь, что это убийство?

ГЛЕН. Я никого не убивал.

ПОЛ. Если его по-человечески не похоронят – это убийство души.

ГЛЕН. Ты или проповеди читай, или заповеди чтить. Он христианского погребения лишится? И что, от этого его по-другому черви будут жрать? А может, он сам согласен отдать почку, которая ему не нужна? Может, кричит «берите!», а мы не слышим? Может, уже не о себе думает, а о дальнем своём, тоже добро хочет сделать... Папа, мы решим несколько проблем сразу.

Пол молчит.

ГЛЕН. Поверь мне – всё перемелется, мука будет.

ПОЛ. Мука? А мы в ней кто, мучные черви?..

ГЛЕН. Черви? Похоже..., если бы не Луна.

ПОЛ. А при чём здесь Луна?

ГЛЕН. Люди на Луне были, а черви – нет. Во всяком случае, они их там не заметили.

ПОЛ. А летали, чтобы в этом убедиться?

ГЛЕН. Как там у тебя в пьесе... «нас роднит с Богом то, что Он сомневается в нас, посылая испытания, а мы – в себе»... Быть или не быть? Главное слово для тебя «или»? Но я не Гамлет, меня не гложут сомнения, мне наплевать на связь времен. Я хочу и могу спасти чью-то жизнь, а заодно дать тебе возможность пожить на свободе и выбраться из этой канавы... Помоги мне вынести его.

ПОЛ (*глубоко вздохнув*). Понесли черти грешного Ричарда... Может, ты и прав...

Берутся за края коврика, на котором лежит тело, и вытаскивают его в дверь, ведущую в сауны и бани.

Оба быстро возвращаются. Глен уходит через пожарный выход. Пол расставляет мебель, собирает в сумки остатки трапезы, ликвидируя следы застолья. Появляется Глен, который везёт за собой два больших чемодана на колёсиках, и выходит с ними в ту дверь, куда они только что вынесли тело Ричарда.

Пол берёт в руки папку с пьесой и бросает её в плетёную корзину для мусора. Один листок выпадает. Пол поднимает его, читает, рвёт на части и бросает вслед за пьесой. Гасит свет, выходит след за Гленом.

Сцена погружается в темноту. Звучит песня Beatles «All you need is Love, Love, Love».

КАРТИНА 2

На сцене темно. Луч света высвечивает на сцене плетёную корзину. Постепенно сцена наполняется светом. Тренажёры, точнее их муляжи, смещены к кулисам. Над бывшей дверью в бани снята реклама пива «Карлсберг» и слоган «Mens sana in corpore sano». Теперь это дверь в спальню датского короля Гамлета. Она открыта. Сцена превратилась в комнату перед королевскими покоями, где один за другим будут появляться персонажи пьесы «Старый Гамлет» в средневековых костюмах. Из бокового выхода вбегает Офелия.



Офелия (*её играет актриса, игравшая Хейли*)

Он там лежит! О Боже всемогущий,
Что делать мне? На платье кровь и руки
В крови. Манжеты прочь! Успею, может,
Я убежать? Куда? Да и зачем?

Гертруда (*её играет актриса, игравшая Грейс. Выходит из спальни короля*)

Лежит он там. Висок пробит, потоками
Кровавыми залит ковёр, и стены,
И пол вокруг. Офелия, ты здесь?
Уже? Тебе что делать тут, в преддверьи
Покоев королевских? Снова хочешь
У спальни королевской покрутиться,
Себя всем ненароком предлагая.

Замечает кровь на платье Офелии.

А это что?

Офелия.

Не я, не я, не я!
Боюсь я крови!

Гертруда.

Откуда ты узнала, что он мёртв?

Офелия.

А разве мёртв? Я ничего не знаю,
Я только заглянула — он лежит
И, кажется, не дышит. Я при чём здесь?
Упал виском на стол он. Может быть,
Был пьян. Он сам упал, я не была там.
Его я кровь не проливала!

Гертруда.

Как же,
Ты пролила там кровь свою девичью
Уж месяц как. Теперь настали сроки
Отмстить его величеству за это?

Офелия.

Ещё немного и они настанут.
Расплата? Может быть. Король, он кто мне?
Любовник? Нет, он лишь отец ребёнка,
Что был зачат в насильи сладострастья
И скоро явится на свет. Он будет
Мой королевский сын, притом — бастард,
Фиц-Гамлет... а таких вокруг без счёта
Он наплодил в своём распутстве, лишь бы
Супружеского долга избежать,
Постылого супружеского ложа.

Гертруда.

Тебе ль судить? Что знаешь ты о браке?
Ты думаешь, постель решает всё?
Ему я отдала свой первый трепет,
Свои мечты, дыханье, смех и слёзы,
Я так его любила, нежила,
Что ветрам неба не дала б коснуться
Его лица. О небо и земля!
Мне ль вспоминать? Я так к нему тянулась,
Как если б голод только возрастал
От насыщения. А через месяц...



Нашёл он первую, затем – вторую,
И третью, а дальше – без числа.
Так похоть, будь с ней ангел лучезарный,
Пресытится и на небесном ложе...

Офелия.

Но ты же прочила меня за сына,
Невесткою своей назвать хотела?
Кому теперь нужна я? Даже нищий
Побрезгует со мною в брак вступить,
Не то, что принц. Но я дороже стою!
Когда б не ты, принц Гамлет был бы мой,
И я была б однажды королевой!

Гертруда.

Но нет, во мне ты не ищи вины!
Вини во всём своё распутство, дерзость,
И глупость, между прочим: думать надо,
Коль престарелый фавн тебя прельщает,
Сулит тебе богатство и почёт.

Офелия.

Когда б не ты, то не был бы он фавном!
Жена, что удержать не может мужа,
Его любви не стоит.

Гертруда.

Замолчи!

Офелия.

И не подумаю! Кто в Эльсиноре
Не знает, что, не справившись с супругом,
Пошла ты ласки расточать другим?
Как только появился у нас Клавдий,
Брат короля, – о, гнусная поспешность –
Так броситься на одр кровосмешенья! –
И старый Гамлет уж мешал тебе!
Теперь он мёртв. Нетрудно отыскать
Убийцу – вот она стоит!

Гертруда.

Убила

Не я. Хотя убить его могла бы.
И не твоим поганым языком
Здесь рассуждать о верности и чести.
Я Клавдия люблю, он мне – король,
А я раба его. Красив, как бог,
Умён, талантлив, он был должен
Возглавить Данию, он, а не Гамлет –
На троне был убийца и сатир,
Кто мельче в двадцать раз одной десятой
Того, кем явится отныне Клавдий!

Из королевской спальни выходит Клавдий. Его играет актёр, игравший Ричарда.

Клавдий.

Лежит он там. Мой брат, король, соперник,
В крови, словно ничтожный жалкий пёс,
Не как убитый лев. Он мерзок в смерти,
И даже здесь величия лишён.
Он так боялся смерти! И теперь
Его убили. Ведь не мог он сам
Удачно так упасть на стол? И кто-то
Нанёс ему губительный удар,



А тело позже подтащил к столу.
Вы знаете уже, что случилось, дамы?
Или вы лучше знаете, чем я?

Гертруда.

Но почему – убили? Может, это
Несчастный случай? Голова в крови,
Упал, виском ударился, был пьян.

Входит Полоний. Его играет актёр, игравший Пола.

Полоний.

Смертей случайных не бывает. Если
Он умер – значит, сам хотел, иль кто-то
Век сократить помог ему чуть-чуть.

Клавдий.

Не ты ли это был, Полоний? Рядом
Ты неспроста ведь оказался, правда?

Полоний.

Да, неспроста. За дочерью я шёл,
Я за неё боюсь. Немало горя
Доставил нам всем замок Эльсинор,
Да и ещё доставит... Там лежит он,
Но кто бы ни был тот убийца, дело
Он доброе свершил.

Офелия.

Но кто ж убийца?

Полоний.

Нам не об этом думать нужно. Вряд ли
Нам стоит знать, как всё произошло.
А жизнь сама, без нас, напишет повесть
Бесчеловечных и кровавых дел,
Случайных кар, негладанных убийств,
Смертей, в нужде подстроенных лукавством,
И, может быть, коварных козней, павших
На головы зачинщиков.

Гертруда.

И всё же?

Полоний.

В убийстве этом всё переплелось –
Позор, любовь, поруганная верность,
Амбиции и власть, и государство.
Прочь, женщины! Сейчас совет нам нужен
Не женского короткого ума,
Отравленного ревностью и страхом,
А двух мужчин, хранящих хладнокровье.
Идите страх свой заливать слезами.

Офелия и Гертруда уходят.

Ну, Клавдий, говори.

Клавдий.

Что говорить?

Полоний.

Ведь это ты решил родного брата
Убрать с дороги? Смелое решенье.



Сказать по чести, я не ожидал,
Что хватит у тебя на то сноровки.
Что ж, молодцом!

Клавдий.

Так это был не ты?
Я думал, ты не хочешь их истерик,
Слез горьких, причитаний, потому
И не признался сразу.

Полоний.

С чего бы вдруг
Мне признаваться в том, чего не делал?

Клавдий.

Не может быть! Уж не тебе ли
Так насолил усопший наш король,
Забрав жену, богатство, дочки честь...

Полоний.

То был не я.

Клавдий.

А кто? Ужель Гертруда?

Полоний.

Могла. Ведь влюблена в тебя, как кошка.

Клавдий.

Да, влюблена, и то давно не новость.
Но ведь в приданом у неё престол!

Полоний.

Немалый куш... Гертруда?.. Но она
Мерзавца Гамлета покойного
Любила, хоть было то давно.

Клавдий.

Считаешь ты, что тут любовь причиной?

Полоний.

Того ты не поймёшь. Кто сам не любит,
Не может жертвы принести любви,
Пойти ради неё на преступленье,
Пусть это и безумство. Много
Я претерпел от крайностей любви.

Клавдий.

Тогда Офелия?

Полоний.

Нет, не она!
Она несчастна, да, но не коварна.
Я верю ей. Одна крупница зла
Всё доброе проникнет подозреньем
И обесславит. Сохрани мне веру.

Клавдий.

Не так проста твоя Офелия.
А в ревности, обиде, сладострастии
Нет ничего страшнее женщины.
Она — цветок, но с жалом скорпиона,
Офелия не чище, чем все мы.



Полоний.

Я знаю, грязь везде, однако роза
Цветёт порой и над зловонной ямой,
Мешая аромат свой с мерзким смрадом.

Клавдий.

Уж если она роза – то с духком!

Полоний.

Ты можешь отличить вонь от парфюмов?
Уродство от красоты? Добро от зла?
Благословение тебе, коль можешь!
Я не могу... Что будем теперь делать?
Ведь если чернь прознает про убийство,
Без смуты и войны не обойтись.
И Фортинбрас сейчас же тут как тут
Появится на северных границах.
А там и Гамлет-принц. Ведь Витгенберг,
К несчастью, ближе, чем Луна, и слухи
Дойдут туда быстрее, чем мёртвый к гробу.

Клавдий.

Я предложенья слушаю твои.

Полоний.

Во-первых, нужен нам король. Не может
Прожить мгновенья тело без главы.
Берёшь Гертруду в жёны и престол
Ты занимаешь на правах наследства
По линии и брата, и жены.
Тем самым, во-вторых, мы выбьем почву
У принца из-под ног, коль он захочет
Вернуть себе права на королевство.
Ты хоть не мудр, но воевать умеешь,
И, в-третьих, охладишь пыл Фортинбраса.
Ну а народу в целом всё равно,
Кто там король, лишь был бы кто-то,
Кто будет править стадом без сомнений.

Клавдий.

Всё я да я. Мне лестно, но и страшно:
Меня ведь обвинят в злодействе, ты же
Опять останешься в тени.

Полоний.

Как хочешь...

Не знаю, кто убил, но от убийства
Прямая выгода тебе. Боишься
Ты плод принять, упавший прямо в руки.

Клавдий.

Что говорил ты, кстати, о возмездьи,
Конце коварных козней, что падёт
На головы зачинщиков?

Полоний.

А вот

Приедет Гамлет, будет море крови
И горы трупов, как всегда в трагедьи.

Клавдий.

Здесь плакать иль смеяться?



Полоний.

Хочешь, смейся.
Но говорят, что Гамлет уже здесь.
Как будто бы его видали близко
От Эльсинора, будто бы тайком,
Покинув Витгенберг, вокруг он рыщет.
Подгнило что-то в Датском государстве,
Считает он, и носится с идеей:
Век расшатался – и скверней всего,
Что он рождён восстановить его.

Клавдий.

Себя он мнит пределом совершенства,
Образчиком добра и благородства.
Он, лоботряс, ничтожество, бездельник!
И Данией он хочет управлять!
А может, в целом мире справедливость,
И лад восстановить он хочет? Да,
Претензии, однако! На папашу
Он очень зол, хоть и похож, как капли
Одного дождя в апреле.
А если здесь он, может и убийство
Его рук дело? Станется с него!

Полоний.

Тем хуже. Нам тогда конец. Захочет
Он скрыть отцеубийство, и виновным
Предстанет кто-нибудь из нас иль все мы.
Поэтому и нужен нам король
Сегодня, здесь, сейчас, сию минуту,
Для блага подданных и блага государства.

Клавдий.

Чем больше дело – тем нужнее жертва.
Для Дании я в жертву приношу...

Полоний.

Себя? Иль короля покойного
Уже принёс ты в жертву? Гамлет – младший
Наверно принесёт тебя. И всех нас...
Но если зверь другого зверя жрёт,
Кто жертва здесь? Кто прав здесь, кто не прав?
И воздаянье или преступленье,
Тот суд, что мы вершим над ближним,
Не будучи достойны быть судьёй?
Люблю – и зло свершаю, милосердье
Так часто обернуться может злом,
Из жалости я должен быть жесток.
Так зло творит добро? Добро бывает
Злом? Не знаю. Молчу. А дальше – тишина.

Клавдий.

Где тишина? Офелия идёт.
Чего ей нужно здесь? Я ухожу.

Уходит. Появляется Офелия.

Офелия.

Отец, отец...

Полоний.

О чём нам говорить?



Офелия.

И ты не спросишь ни о чём? Зачем
В покоях королевских я была?

Полоний.

Нет, не спрошу. Зачем мне знать? Скажи лишь,
Приехал Гамлет или нет? Тебе ли
Не знать об этом! Или ты боишься?
Чего? Того, что вместе вы свершили
Или того, что может он свершить
Со всеми нами, в том числе – с тобой?
Нет, нет, молчи – я знаю, ты невинна,
Ты не преступница, ты жертва. Гамлет
Молодой являлся тенью, говорят,
Он словно призрак бродит в Эльсиноре,
Где спрятаться нетрудно. Был он здесь?

Офелия.

Отец, как может быть он здесь?..

Полоний.

Не надо
«Может быть» или не быть. Он был иль не был,
Я знать хочу!

Офелия.

Но я того не знаю!
Он мне писал, что Виттенберг оставит,
И в Данию намерен возвратиться.
Он мне принёс немало уверенний
В своих сердечных чувствах.

Полоний.

В сердечных чувствах! Вот слова девицы,
Неискущённой в столь опасном деле.

Офелия.

Не знаю, мой родитель, что и думать.

Полоний.

А думать ты должна, что ты глупа,
Раз уверенья приняла за деньги.
А может быть тебя в Париж отправить
С Лаэртом? Он хранитель будет твой.
Пусть далеко Париж – но лучше смерти.
Подальше нужно быть, когда гроза
Приблизилась вплотную. Гром уж грянул.
Тебя спасти я должен. Это долг мой
Перед тобой, пред матерью твоей покойной,
Пред совестью моей. Поторопиться нужно
Нам всем, коль мы уже не опоздали,
И Гамлет не пришёл по наши души.
По наши души и тела. Иль всё же
Для дочери отцовский глаз надёжней?
Здесь в Эльсиноре, в Датском королевстве
Тебе могу я быть пока защитой.
Но если Гамлет здесь – защита не тверда...
Так был он в Эльсиноре? Отвечай немедля!..

В зрительном зале раздаются одиночные хлопки. На сцену поднимается режиссёр Андрей Альбертович (тот же актёр, который играл Клавдия и Ричарда, одет в современную одежду).

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ (*хлопает в ладоши, поднимаясь на сцену*). Стоп, стоп, стоп! Спасибо, на сегодня прогон закончен. Прошу всех на сцену!

ПАВЕЛ (*актёр, игравший Пола и Полония*). Да ведь рано ещё! У нас в театре...

В это время на сцене появляются Гертруда в средневековом платье и актёр, игравший Глена, в костюме Гамлета.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. То у вас в театре. Но раз вам понадобился режиссёр из другого, то работать будем по моим правилам. Такой у меня вывих... Сегодня вечером важное мероприятие.

АЛЁНА (*актриса, игравшая Хейли и Офелию*). В вашем театре?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Нет, в соседнем. Давайте по сегодняшней репетиции... Мы что играем?

ГЛЕБ (*актёр, игравший Глена*). Пьесу в пьесе.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Вот именно! Это современная английская пьеса. Действие первой части происходит в сегодняшней Англии, второй – в средневековой Дании. Вторую якобы написал ваш герой (*смотрит на Павла*), такой себе квази-Шекспир, он же Пол, он же Полоний. Эти пьесы про то, про что, кстати, и все остальные – про добро и зло, любовь и проблему выбора.

ПАВЕЛ. Пьеса Пола «Старый Гамлет» должна дать ответы на вопросы, поставленные в первой части?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Пол хорошую пьесу написал. А в настоящей литературе мир всегда предстаёт как вопрос и никогда как ответ.

РЕГИНА (*актриса, игравшая Грейс и Гертруду*). Мне кажется, что перевод несовершенен, герои то на «ты», то на «вы», а ведь в английском это одно слово – «you».

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. И у меня есть вопросы к переводчику, но нельзя українську пїсню про рушник дословно перевести как русскую про полотенце. Возможно, какие-то детали упущены, но главные мысли доведены.

ПАВЕЛ. Так что играть? В чём сверхзадача?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Ваша задача так подать свои роли, чтобы было понятно, что это как бы один герой, но и не один. То есть один тип, но не один характер. Я понятно говорю?

РЕГИНА. Да понятно, только не просто – две роли в одном спектакле.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Ну, знаете... на то вы и мастера сцены.

АЛЁНА. Андрей Альбертович, а какой жанр у нашего спектакля? Пародия на новую драму?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Ни в коем случае. Жанр тот же, что у жизни. Всего понемножку – то смеются, то за сердце хватаются, то стыдно, то страшно... Так, разбираем каждого в отдельности. Офелия – Хейли. У вас, Леночка, всё прекрасно. Всё хорошо, свежо, чистенько. Даже неожиданно хорошо. Жаль, что вы в своё время в наш театр не поступили.

АЛЁНА. Не взяли.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Ошиблись. Вы хорошо проживаете роль.

АЛЁНА. Какую из них?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Обе. Делайте пока так, как делаете. И с руками очень хорошо. У вас замечательные руки, красивые, выразительные, вы их не прячете, они яркий рисунок дают! Теперь Гертруда – Грейс. Вы когда последний раз были в Англии?

РЕГИНА. На выходных. Люблю, знаете ли, в Лондон слетать, в субботу оперу послушать.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Ну понятно, понятно, извините. А я вот бывал в Англии. Там улыбаются по-другому. У нас не разработаны мышцы лица, отвечающие за улыбку, может, поэтому советских на западе легко отличают. Тренироваться надо. Улыбайтесь, но не вымучено, естественней! Англичане всегда улыбаются в ответ на реплику, сдержанно, но улыбаются. Поработайте над этим. Вот смотрите – Леночка, другое поколение. Они теперь всегда улыбаются, у них везде смайлики. Вот и вам надо смайл шире!

РЕГИНА. Что шире?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Смайл, смайл шире, Регина! Вы зачем приехали в этот центр здоровья и семьи? Вы приехали гулять, а не на последнее прощание с режиссёром. Вы же не знаете, что кто-то умрёт или кого-то убьют. Вы добрая, циничная, но добрая! Вы же всем добра хотите. Как Мефистофель навыворот: вы часть той силы, что хочет всем добра, а получается... с точностью до наоборот. (*Обращаясь ко всем*) Теперь о деталях: в них не только дьявол кроется, но и успех... Мне в вашей игре не хватает подробностей. Мы же Англию играем! Ну не были вы там, так фильмы английские посмотрите, в них играют ваши коллеги. Теперь конкретно. Врач Глен и администратор Пол... Глеб, ты всё время ходишь, как японский турист, задрал голову. А вы, Павел, наоборот, как следопыт, в пол смотрите и бледнолицых вычисляете.

ПАВЕЛ. А куда я смотреть должен?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Чаше друг на друга смотрите! Поменяйте позу лица. Вы же отец и сын, у вас конфликт, но вы всё равно вынуждены сделать одно дело, коль оказались на подводной лодке. Это же не просто решение: резать – не резать, это как раз главное: быть или не быть! Глеб, не задирай голову! Ну, обогнал ты нравственно время, молодец. И потом посмотри, ты же играешь врача, а уже говорил тебе про руки. У тебя должны быть врачевные руки, руки врача ты же видел и не раз. И ещё глаза... Врачи не смотрят в глаза, они смотрят на глаза. До диалога с отцом ты так и должен на всех смотреть. А вот отцу – в глаза! И потом, ты же не уверен, что он согласится, ты убеждать должен, а не



читать свою речь, как стихотворение в школе. Где твои сомнения? Прообраз врача ведь – Гамлет, он же мучится сомнениями, а тебе всё ясно, как пламенному революционеру. Тебе только дай всех расчленишь, на запчасти разобрать... А вдруг ты не прав?.. Все Гамлеты – хирурги, но не все хирурги – Гамлеты.

ГЛЕБ. А разве мой Гамлет сомневается? Это шекспировский мучится, а этот...

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Конечно, сомневается! И этот тоже! Он же гуманист, который берёт в руки оружие! И от этого сразу перестаёт быть гуманистом. Он концентрация человеческих противоречий. До шекспировского Гамлета это может быть и не доходит, а до Гамлета Пола – вполне. И это заставляет его сомневаться и страдать. Гамлет – это сомнение, а не решение.

ГЛЕБ. Извините, Андрей Альбертович, но я с вами не согласен. Он же говорит – я не Гамлет, мне наплевать на сомнения и связь времён.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Он это говорит, но при этом сом-не-ва-е-т-ся! Глеб, доверьтесь мне, артист – это инструмент, на котором режиссёр должен сыграть пьесу, написанную автором.

ГЛЕБ. Андрей Альбертович, у вас музыкальное образование по какому классу, скрипки или фортепиано?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Это вы к тому, что... «вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя»... Так у меня образование по классу флейты, поэтому на вас я сыграю не хуже, чем на ней. Так, что ещё? Какие ко мне замечания? Вы же меня со стороны видите. Ну, извините мою причуду – не ставлю я спектакли, в которых не играю. Как вам мой Клавдий сегодня?

РЕГИНА. Мне ваш Клавдий кажется слишком мрачным. Он же любит Гертруду, а вы нет. Ну когда-то он её любил. Было бы интересней, если бы у него чувство сохранилось и проявлялось в наших отношениях.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Регина, вы весь текст читали или только свою роль? Если драматург написал одно, как я буду играть другое?

РЕГИНА. Так на конфликте интересней. И там, где я Грейс, а вы Ричард, мне тоже не хватает вашей теплоты, особенно вначале.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. В Англии любые отношения – это прежде всего контракт, в отличие от нас, где любой контракт – это прежде всего отношения. Ричард и Грейс – не исключение. Но я подумаю, подогрею себя в следующий раз. У кого ещё замечания?

ГЛЕБ. А вот мне Клавдий как раз нравится. Мне в Ричарде, в режиссёре, не хватает злости. Он ведь подлец?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Да какой он подлец! Искал вдохновения, ввязался в историю, нелепо помер. А вообще он творческий человек, ищущий. Ему не столько Хейли нужна, как сам процесс ухаживания. Может, он больше боится, что она скажет «да», чем «нет»? А, с другой стороны, ему ранг не позволяет от неё «нет» услышать... Ричард – образ сложный. Миром правят не убеждения, а вожделения. Жизненный опыт необходим. Спасибо за замечание, подумаю и об этом. Вопросов нет? Завтра репетиция в одиннадцать. Нет, извините, завтра нужно будет отдохнуть, выспаться. Давайте в час. Всё.

ПАВЕЛ. Андрей Альбертович, а нельзя сейчас финальный монолог пройти? Я не знаю, что с ним делать.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Ой, сказал герой... Давайте завтра. Сейчас мы его всё равно проработать не успеем. Всем спасибо, все свободны.

Актёры расходятся.

Регина, задержитесь на минутку!

Регина возвращается.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Так на когда он нас пригласил?

РЕГИНА. На семь.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. А куда ехать?

РЕГИНА. Это за городом, но не далеко. По идее успеваем.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Давай так: я буду стоять не возле театра, а на квартал ниже.

РЕГИНА. Хорошо, я подъеду. Только ты стой за перекрёстком, а то там знак «Остановка запрещена». Через полчаса я буду.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Вы будете.

РЕГИНА. У нас что, официальная обстановка, всё ещё на «вы»?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Да нет, но мы же говорили, что ты возьмешь с собой Алёну?

РЕГИНА. А, вон в чём дело. *(Пауза. Тон Регины меняется)* Я думала, ты пошутил.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. А почему бы и нет? Давай побалуем девочку кулинарными изысками твоего приятеля? Что он нам обещал? Фуа-гра?

РЕГИНА. Гуся по-гамбургски.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Хорошо, что гусь, а не петух. Шучу.



РЕГИНА. То-то я смотрю, ты ей про руки дифирамбы поёшь! И хвост распустил.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Да ладно, перестань, при чём тут руки. Просто посидим, поговорим, в компании веселее будет.

РЕГИНА. А что ты собираешься ей рассказывать? О чём ты будешь с ней говорить? Она же молоденькая девочка.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Это моё дело, что я ей буду рассказывать. Позови её.

РЕГИНА. А если она не захочет?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Почему она не захочет? Что тут такого?

РЕГИНА. Вообще-то нас звали вдвоём.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. А придём втроём. Нам что, гуся на троих не хватит?

РЕГИНА. Ну, знаешь... А впрочем, чего не сделаешь для хорошего человека! Поделюсь. И гусем тоже. Хотя какой ты гусь! Лебедь натуральная.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Спасибо. Только не опаздывайте. Через полчаса на углу.

РЕГИНА. Ты пьесу хоть прочитал? Он же будет спрашивать, обидится.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Ну почему никто не любит театр бескорыстно... Ладно, прочитаю в машине.

РЕГИНА. Там же темно.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Ты читала? Вот и расскажешь по дороге, про что там.

РЕГИНА. Про повара.

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Ну да, он же ресторатор...

РЕГИНА. Я пошла?

АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Только спустись не на квартал, а на два, там стоять удобнее.

Расходятся в разные кулисы.

Выходит актёр Павел в костюме Полония. Выносит двумя пальцами, как в цирке штангу, один из тренажёров, садится на него, вздыхает, крутит головой, осматривает всю сцену. Встаёт с тренажёра, достаёт из-под камзола лист бумаги, читает:

Каким докучным, тусклым и ненужным
 Мне кажется всё, что ни есть на свете!
 Мы черви в суете своих сомнений
 И страхов, в жажде истину открыть,
 Нас создал Бог такими. Но сомненье
 В нас поселил, чтобы нам дать отличие
 От червяка. Так сомневайтесь, люди!
 Вы пробовали? Пробовал и я.
 Не очень сладко. Червь мучной счастливей.
 И всё-таки где истина? В сомненьи.
 В сомненьи истина, а в истине...
 Вино? Вино из истины. Смешно?
 Так смейтесь... Всяких благ вам, и прощайте.

На сцене медленно гаснет свет.

Всё громче и громче звучит песня Битлз «Can't buy me love».

ИЛЬЯ РЕЙДЕРМАН

ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
ВОСПОМИНАНИЯ

С Павлом Григорьевичем Антокольским я познакомился в 1963 году. Я учился в Перми, дважды в год ездил на каникулы домой, и маршрут мой лежал через Москву, где я непременно задерживался. К тому времени я уже печатался, обрёл некоторую наглость и мечтал о том, чтобы печатали меня и московские издания. Но тут нужен был «проводник» – какой-нибудь известный поэт, который напишет несколько добрых слов о тебе, и пожелает начинающему поэту «доброе пути». Поэтический учитель у меня уже был – Андрей Сергеев, один из ближайших московских друзей Иосифа Бродского, человек замечательный, о котором я, несмотря на всю свою нелюбовь к «мемуарам», когда-нибудь расскажу. Но он был всего лишь член секции перевода, и так называемая «сопроводилровка», написанная им, в советских изданиях не имела бы никакого веса. Зато он познакомил меня с собратьями по переводческому цеху. Среди них был Ассар Эппель, ставший впоследствии замечательным переводчиком с идиш и автором еврейских рассказов. Я был свидетелем их совершенно головоломных для меня лингвистических разговоров. Вошёл я и в дом Аркадия Акимовича Штейнберга, где и слушал «живого Тарковского» – вышел человек с палочкой, читал стихи, но я то, к счастью, уже знал, кто стоит передо мной.

Сергеев и посоветовал мне взять справочник Союза писателей с адресами и телефонами и, не мудрствуя лукаво, выбрать себе Вергилия, проводника через советский газетно-журнальный ад. Кажется, даже и Антокольского – назвал именно он. Так или иначе – дальше буквы «А» я не пошёл, написал письмо, вложил в него стихи, которых сейчас и не помню, и бросил в почтовый ящик. Стихи Антокольского я любил, особенно раннего, в них была Франция, романтизм, какая-то особая напряжённая мускулатура стиха, а, главное, громкий голос, пафос, торжественность интонаций. В этих стихах был звон бронзы (я не знал тогда о его прямом родстве со скульптором Антокольским, не знал я и того, что это Павлик Марины Цветаевой, а когда узнал, это уже ничего не меняло). Вообще с буквой «А» мне повезло – Антокольский, потом Ахматова (по «наводке» того же Сергеева), а потом к ним добавились ещё и Ахмадулина (тут сыграла роль старая сивилла Галя Маркелова, которая велела немедленно звонить в гостиницу и хоть по телефону прочесть Бэлле стихотворение, ей посвящённое). Три «А» – формат батарейки для диктофона.

Антокольский ответил. Прежде всего, меня поразил вид письма – крохотный нестандартный конвертик, в который вложены листочки тоже совершенно необычной, какой-то белоснежно-бархатистой бумаги, исписанной от руки чернилами. Я-то думал, что писатели – пишут исключительно с помощью машинки. Да, ещё одна деталь: от письма приятно пахло, оно было... надушено! «Такие письма посылают женщинам», – подумал я, пермский студент, как бы сразу окунувшийся в дали и глубины времени.

Писем – три. В двух сохранившихся конвертиках. Первое начиналось: «Уважаемый товарищ Рейдерман! (не знаю вашего имени-отчества... Илья, а дальше?)» В те времена моего отчества ещё никто из общавшихся со мной не спрашивал. Второе и третье письмо – обошлись без отчества, начинаясь: «Дорогой Илья!». Но между ними – почти три года. Что было в эти три года, что я посылал Антокольскому, отвечал ли он мне, а если отвечал, то почему не сохранились эти письма – помню смутно. Почему не было более поздних писем – объяснилось потом. Он был тяжело болен, и, вероятно, даже моих писем к нему (а они были – отчаянные зовы в пространство!) – ему в руки не давали. В промежутке – были личные встречи.

Одна из них – неудавшаяся – запомнилась особенно. Звоню в дверь, открывает Павел Григорьевич и говорит сердито (должно быть, холерик, как и я): «Почему не позвонили, не договорились о встрече? Так нельзя!» Он уже одет, даже, кажется, припудрен, надушен, и буквально выскакивает из квартиры, торопясь, должно быть, в театр.

По-видимому, на следующий день встреча состоялась – он повёл меня в редакцию еженедельника «Литературная Россия», где отделом поэзии заведовала его добрая знакомая. Стихи легли на редакционный стол. Что написал в качестве предисловия к ним Павел Григорьевич, мне неизвестно, так как в печати они так и не появились.

Теперь я, конечно, посмеиваясь, думаю: представляете, в «Литературной России» появляются стихи русского поэта за подписью Рейдерман. Илья Рудин, известный (а, впрочем, никому не известный) кишинёвский и одесский журналист – родится потом, в Кишинёве, этот псевдоним придумает мой кишинёвский друг, необыкновенно талантливый человек, драматург Вадим Рожковский. И Анастасия Ивановна Цветаева уговорит свою редакторшу из издательства «Советский писатель» принять рукопись стихов Ильи Рудина. И книга станет обрастать «внутренними рецензиями». Две – положительные. Больше и не надо. Но зачем-то дают и на третью рецензию. Гляжу на подпись: Лариса Васильева. Дочь достаточно одиозного поэта Сергея Васильева. Та самая, которая будет потом писать о «кремлёвских жёнах». Обмираю от страха: сейчас угробит! И в первой же строчке читаю: «Рукопись “Пространство” написана безусловно поэтом. В ней есть то редчайшее дыхание, которого, увы, часто лишены многие мастера рифмы: дыхание взлетающего существа». И далее – на полстраницы рецензии величиной всего в одну страницу машинописи – цитата из моего стихотворения. Но это – как бы фрагмент из другого мемуара: «Как я не стал известным русским поэтом Ильёй Рудиным». Чтобы закончить с этим, скажу: рукопись похоронила перестройка. Из издательства пришло письмо, где мне сообщали, что из книг молодых, которые были подготовлены к изданию, готовится коллективный сборник. Согласны ли вы принять в нём участие? Тут я задумался: да, я журналист Илья Рудин, но поэт я всё-таки – Илья Рейдерман. О чём и сообщил издателям. О дальнейшем – догадаться нетрудно.

Но вернёмся к содержанию писем Павла Григорьевича. Он – строгий учитель! И нужно сказать, что некоторые уроки я усвоил. Не заглядывая в письма, которые очень давно не перечитывал, помню его требование, чтобы не было «инерционности», чтобы стихи рождались из внутренней необходимости, как и другое: писать «этюды», как это делают художники. Я тогда очень грешил всякими рифмованными абстрактными рассуждениями, а он хотел, чтобы в стихах была предметность. Всё это – чуточку затянувшееся предисловие к публикации трёх писем, которые я привожу здесь дословно и, что называется, с сохранением пунктуации и орфографии. Особенно поражает – даже сейчас – неизменное обращение на Вы с прописной буквы.

Уважаемый товарищ Рейдерман!

(не знаю Вашего имени-отчества... Илья, а дальше?)

С интересом прочёл Ваши стихи. Думаю, что Вы человек способный, честно ищущий и не зря взявшийся за поиск нужного слова, которое должно выразить Вас, Вашу личность, Ваш душевный опыт.

Тем не менее – стихи мне совсем не понравились. Они – манерны. Желание быть сложным, непохожим на других, уводит Вас куда-то в сторону.

Такое желание, вообще говоря, свойственно каждому настоящему художнику, оно праведное и правильное, но надо уметь справляться с ним по-хозяйски.

Хочу посоветовать Вам нечто обратное всему, что вам сейчас нравится и чему вы отдаёте силы и время.

Попробуйте писать конкретно, как художники пишут натюр-морты. Вот стол. Вот окно. Вот женщина улыбается, чистит яблоко. У неё загорели руки. Рифмуйте эту «ползучую эмпирику» как тупица-ученик Лактионова (живописца). Для Вас это будет упражнением на гантелях, потому что Вам надо развивать мускулатуру: логики, синтаксиса, простого ритма и так далее.

Совершенно откажитесь от иррационально-сложной метафоры, она раздражающе навязчива в «разговоре с озверелой тоской», но отдельные куски такого же типа имеются во всех Ваших стихах.

Второй Ваш цикл – «Театр для себя» всё-таки лучше первого. В нём яснее замысел и, несмотря на всяческие ковыряния в области чрезмерно тонких ощущений, всё же есть выход в образы мировой культуры, в интерпретацию хотя бы Гамлета.

Вслед за сим посылаю Вас к началу этого письма. Там сказаны вещи приятные для Вас, – сказаны они энергично. К этому следует прибавить, что Вы – молоды. Как у Пушкина Дон Карлос говорит Лауре: «Ты молода и будешь молода – ещё лет пять иль шесть», – так и Вам можно подарить на поиски время до Вашего тридцатилетия. А к тридцати годам сама жизнь предъявит Вам свои счета, сделает это сурово и неотступно.

Вот Вам, милый друг, диагноз терапевта. Если бы я был хирургом, вы заплатились бы хуже. Но, слава богу, хирургия в Вашем случае не требуется.

Требуется труд и режим. Режим. Под режимом понимается очень внимательное отношение к слову, языку, всему инструментарию поэта, как словесника, сиречь филолога. Вы обязаны страстно стремиться к совершенному овладению гуманитарной культурой. Очень много, очень запойно читать. Влюбиться в несколько книг – предпочтительно в романы мирового класса («Дон Кихот», «Герой нашего времени», «Идиот», «Потерянные иллюзии», «Красное и чёрное» – это названо наобум: выбор должен быть Ваш собственный).



К сожалению, в конце августа меня не будет ни в Москве, ни под Москвой, где я обычно обретаюсь. Вернусь к середине сентября. К этому времени сообщите свой адрес и напишите о своём отношении к сказанному в этом письме.

Всего Вам доброго

*П. Антокольский
15 августа 63
Москва*

Письмо было адресовано в г. Дружковку Донецкой области, где я жил у мамы. Речь шла, по-видимому, об адресе в Перми, где я учился на филфаке университета.

Дорогой Илья!

На этот раз Вы меня обрадовали стихами, я считаю, что многое Вам удалось. Первое стихотворение о Дереве просто отличное. Второе, менее яркое и более путанное, только продолжает находки и энергию первого. «Море» тоже хорошо. Три стихотворения о Музыке возвращают Вас к прежнему Рейдерману: в них господствует недоумение, а не желание его разрешить и преодолеть. Я всё-таки считаю, что искусство, — любое, не только поэзия, — есть действие, результат усилия. Оно не инерционно, не может быть инерционным.

Это, так сказать, азы нашего дела, но эти азы постигаются не сразу, а уже после многих отчаянных и пусто-порожных попыток выразить себя, свой мир, своё душевное состояние.

Посылаю Вам свою книжку «Пути поэтов» — прежде всего в знак искренней симпатии, а кроме того с некоторой тенденцией: может быть, она (книжка) кое чему научит Вас, хотя в точности не знаю, чему научит. . .

Поздравляю Вас с Новым, шестьдесят шестым и желаю — чего же пожелать Вам! Мужества, здоровья, лёгкого и весёлого отношения ко всему, что встретится на пути, — ну конечно, и счастья, и здоровья, и много всякого добра.

Крепко Вас обнимаю. Пишите!

*Ваш П. Антокольский
январь 66*

Дорогой Илья

Скажу прямо — из всего присланного вами «избранного собрания» я могу как-то принять четвёртую часть и отдельные вещи из третьей, — и то с оговорками. Но по отношению к этому отобранному материалу у меня сложилась уверенность: овчинка стоит выделки.

Так что сосредоточимся только на этих произведениях.

Два стихотворения «Дерево» — хороши и в натурфилософии своей и в применении этой философии к автору, к искусству. Есть неуклюжие, плохо произносимые строки (напр. — «мне б в эту синь. . .», кое-что ещё); совершенно невразумительна вся последняя строфа: что это значит: «отстучать в ответ сердчибиень» . . . убей бог, не понимаю!

Стихотв. «Море» — отличное, в нём, кажется, ничего не надо трогать.

«Стихи об отце» мне тоже нравятся безусловно.

«Последний снег» — кокетливо, не по мужски, невнятно.

«Мой Дом» — отлично, вообще одно из лучших.

Насчёт бани — весьма глупо: потуга на несостоявшееся остроумие.

«Как я любил» — хорошо. Но кажется, навеяно стихотворением Цветаевой. . . Вспомните «разговор Гамлета с совестью». Говорю это на всякий случай: похвала стихам остаётся в силе.

Два следующих («Когда приезжаешь» и «Февраль безветрен») скучны своей неразберихой. Я не вижу их стержня. . .

А вот «Зима — ты ещё не одета» — маленькая, но замечательная находка.

Возвращаюсь к третьему разделу. «Год рождения 1937» — заслуживает того, чтобы быть написанным наново, прояснённым, в полной жёсткости, без всяких экивоков и недомолвок. Пусть лучшие стихи останутся в рукописи, но доделайте их!

«Реквием» — 1 — не надо упоминать Сальери! 2 — не слишком понял; 3 — интересны первая, третья и четвёртая строфа, вторая — ни к чему. 4 — совсем ни к чему. 5 — есть очень важные и необходимые вещи, без него нет цикла, — но само стихотворение не вышло. Его надо переписать наново!

Две вариации на тему осени — никуда не годятся, эта овчинка не стоит выделки.

«Пушкин в Кишинёве» мне очень нравится, и я бы продолжил, окружил бы эти мысли реалиями эпохи, живописи, подробностями биографии и т.д.

«Послание к потомкам» — безусловно «да». За исключением непродуманной и пустой последней строки: «вот суть моя, что жаждет обновленья». Неужели Вы, сударь, не чувствуете, что ничего этим не сказали, не разрешили собств. темы? Ведь это чистая «отписка»!

Вот, дорогой, всё, что Вам следует услышать от меня на этот раз.

На всякий случай ещё раз перечёл два первых Ваших раздела и снова убедился в правоте своей оценки. Это какие-то нечленораздельные поиски, наброски, блуждание «вкривь и вкось». Нет, нет, – вам пора выбираться на дорогу. Она уже мерещится – и мне, и вам самому.

Обнимаю Вас. Пишите!

Ваш П. Антокольский

11 марта 66

P.S. Перечитав всё это, осознаю, что были ещё какие-то письма, – помню, как обрадовало его стихотворение «Девочка с яблоком». Это было именно то, чего он от меня хотел. Некоторые стихи, понравившиеся ему, похоже что утрачены.

Если жизнь позволит – и мне удастся собрать и напечатать некое «Избранное» – попытаюсь найти и «Как я любил», и «Пушкина в Кишинёве», и «Послание к потомкам», в котором я шутиливо писал, что строки, написанные чернилами, смоеет дождь.

А второе и самое главное ощущение: я, нынешний, близящийся к семидесятилетию, но всё же моложе того Антокольского, который переписывался со мной – сейчас готов подписаться под каждым его словом. И речь не об оценке отдельных строк и стихотворений (тут – дело личного вкуса) – а о **направлении**. Интуитивно я абсолютно верно выбрал именно Павла Григорьевича, почувствовав, что он живёт не в стране Советов, а в пространстве мировой культуры. В этом пространстве рядом с нами, пишущими – и те, кого давно нет на белом свете, кто и письма тебе не напишет, но всё же может и похлопать по плечу, и поглядеть укоризненно. Но, разделяя сказанное Павлом Григорьевичем, ощущая себя участником эстафеты (кажется, об этом – в одном из его стихотворений) – кому передавать эстафетную палочку? Когда я однажды сказал одной не бесталанной, но совершенно дикой поэтессе, что нужно работать «в культуре», а не делать вид, что кроме тебя ничего не было и нет, её юный муж чуть меня не избил, а потом долго носился, брызжа слюной, по коридору философского факультета, где он был тогда аспирантом. Вот почему я не веду литературную студию, хотя по призванию – учитель. Ибо дело это – сегодня является просто опасным для жизни.

Я нуждался в Учителе. Но нужны ли сегодняшним – Учителя?

ЕФИМ ЯРОШЕВСКИЙ

ТУМАН И СУМЕРКИ... (из одесских записок)

памяти Игоря Павлова...

...Мы долго прощаемся с поэтом Толей Гланцем. Стоим на ветру, курим, разглядываем созвездия... Потом Толя, кутаясь в шарф, глухо читает мне стихи:

*Я уже большой как видно
Я иду пешком по крышам
Я иду на нерест ночью
Гулко кашляя в кашне.
И за мной плетётся вечер
Кровожадный провожатый
Языком глухонемецким
Заслонив родную речь... (!?)*

– Как, Фима? – Отлично, Толя! – Отлично!.. – От нуля?? – Нет, в самом деле...

...Художник Валентин Хрущ (Хрущик) потом рассказывал... «Иду я по Новорыбной, около Привоза. Уже почти часов одиннадцать вечера или ночи... Смотрю – стоят два еврея, два поэта. Два талмудиста под звёздами. Один длинный, с большим носом. Второй тоже еврей, но моложе. Смотрят в небо и, наверно, видят там Бога... Прикидываешь? И курят. Оба держат одну книгу... Книга одна на всех! Талмуд, ясный хрен. И не могут от неё оторваться. Они читают и курят в темноте. Курят, между прочим, хороший табак! Настоящий “Липтон”. А мне как раз очень курить хочется. Как никогда. (Но отрывать людей от дела, тем более, от Талмуда, вы же знаете – это не в моих правилах...) Я терпеливо ждал. И чуть не обмочился тогда. От нетерпения. Но успел им сказать: “Ребята, вы лучше заходите. Чай как раз вскипел. Вика дома, мы будем рады. Но курева уже давно нету, учтите. И до утра вряд ли будет!” Мы, конечно, немедленно его угостили... Мы ещё постояли немного, он прочёл нам под звёздами и на ходу короткую, но содержательную лекцию о Филонове и Кандинском... и сказал ещё что-то, кажется, о кроватках. Потом добавил на прощанье: «Вы будете смеяться, ребята, но этот поц, извините, с Новорыбной (который купил у меня вчера дорогие клёвые крючки с клеймами) всю ночь стоял у камней с удочками, ни хера не поймал... и в тот же вечер повесился на чердаке у Кузнецова, где снимал двухметровую хавиру на крыше. За семь рублей... Причём, не заплатил. И умер весь в долгах. Как и полагаются художнику...»

– Заходите, ребята. Я покажу вам работы Хруща... Настоящие. Без подделок.

– Спасибо, Валик, но только завтра... – сказал Толя. – После семи, ладно?

– Годится. После одиннадцати. Я заварю английский...

...пошёл серенький дождик, как серенький козлик...

А в Одессе по-прежнему туман... Из подворотен на мостовые кошки выбегают на верную гибель... Туман, туман. «Куда ты ведёшь нас, не видно ни зги!» – вспомнился почему-то забытый всеми Рылеев. И совсем уже некстати – Иван Сусанин... (?) не хватает только Ивана Грозного. Представил себе: милейшая тётя Геня с Мясоедовской, мадам Фельдман и Иван Васильевич Грозный! Ему бы не поздоровилось... Трамвайные пути, мокрая мостовая, рельсы и ночь... Но ведь не Петербург же... Наоборот, вполне юг, вполне теплынь...

Запись №...

Хорошо сидеть на солнышке, читать Горация, грезить, смотреть на облака, на птиц. Не ходить на службу, питаться, как птицы небесные, чем Бог пошлёт... Мечты слабоумного, да? Но хорошо...

А досуг отрабатывать писанием. И не обязательно Священным.

Хотя... Почему бы и нет?

Надо только собраться, собрать воедино себя и силы собратьев. По перу. По оперенью. Опираясь на посох и опору дряхлеющих лип. И лап... Меня заносит. Теперь уже снегом.

Увидеть закат, идти за ним, повинуюсь дару. Повинуясь дару пророка. Дару, который даром не даётся, который даётся *недаром*... В том-то и дело. Уже осень. Уже поспела озимь. Озимые в пустыне? Невероятно.

Осень засела в костях у великого подагрика – в костях у Тургенева. (У Тургенева, оказывается, была подагра... а я этого не знал). А вот и стихи: я у Тургенева в гостях, лечусь от гриппа и подагры... и далее.

А Иван Сергеевич в это время скрюченной ревматизмом кистью медленно пишет письмо Льву Николаевичу... Так у них уж заведено. Письма друг другу писать. (Девятнадцатый век, что вы хотите...).

Уже ноябрь. Уж роца отряхает. Последние листы... С ноги своих ветвей... (именно так читали мои школьники когда-то) Да... Ноябрь. За ним и декабрь. А там уже и до января рукой подать. Подайте, ради Христа... (Бог подаст). Подаст по достоинству. Воздаст каждому. По словам и делам его... Вот в чём сложность нашего положения. «И не избегнем...»

Воистину, декабрь – сумерки года. Сумерки богов...

«Не сумерки богов, а алый свет зари

И крик газетчиков, что началась война...»

Продолжим, однако, Чапека:

Не дай нам только Бог!.. На запад посмотри,

Но лучше на восток. Там родина видна.

И всё же... Пушкин – вот моя родина. И не надо больше об этом.

Не только моя, но и другого любимого поэта, Бориса Леонидовича... Кстати, какое, милые, у вас тысячелетие на дворе? Уже третье? Вот новость. У нас тоже. Протянешь руку – и рука тот час же пропадёт в тумане. А дальше что? Неизвестность, гибель впереди... Но это там, у Блока. У нас другое... Кстати, Блок бы нашу гибель не одобрил.

Туман пожирает кварталы, фронтоны зданий, балконы. Потом туман останавливается. Он гурман, он объелся. Ещё немного – и его стошнит.

«Туман с кровожадным лицом каннибала жевал невкусных людей...» Узнаёте? Очень похоже. Похоже на правду. (Я бы заменил: с кровожадным лицом Ганнибала. Так лучше). Потом его, естественно, рвало... А пока – он раздумывает, куда двинуться дальше.

Дальше – *«парк, налитый молоком тумана. Где детское Евангелие Марк читает людям без обмана...»* И торчат из тумана туловища карнатид, руки, головы, ноги атлантов... со дна морей. Туман колеблется, ждёт, раздумывает, потом отправляется дальше. Медленно пожирает город и идёт к морю... Дальше – некуда. Дальше – обрыв. Трава... Монастырь.

Туман не дурак. Он поворачивает и осторожно, крадучись, пробирается переулками и покинутыми дачами – назад, в город. Я оглядываюсь. Он идёт за мной. Не торопит, но и не отпускает меня из виду. Я ему нужен зачем-то... зачем? Хотел бы я знать. («У тебя не туман, а КГБ какой-то... – сказал мне один мой знакомый. – Что-то есть, что-то есть... – рассеянно соглашаюсь я). *«И девочку Доротти, лучшую в городе, он провожает домой...»* – бормочу я в ответ своё любимое стихотворение Веры Инбер.

...туман постепенно рассеивается, уходит... И оставляет, наконец, меня и город в покое.

Запись №...

Зима. Континент. Стихи... Ну вот и американская зима пришла. На не нашу с вами американскую землю. И на нашу. И Барак Обама пришёл, дай ему Бог здоровья. Я говорю от души. Жить станет лучше, жить станет веселее? – подумалось мне. Жить в мире станет как-то просторнее и воздушнее. Нет? Подумайте сами. Пришёл хороший парень. Обаятельный, ушастый, обезоруживающий... Меня, во всяком случае. Высокий, эlegantный. Хорошо танцует, неплохо говорит. Даже как-то тревожно за него. Легко могут хлопнуть. А ты думал... В таких обычно стреляют. Он похож на президента и поэта. И что-то явно хочет сказать миру и своей стране. Нет? Неужели я ошибся!

Посмотрим, однако...

Так и хочется сказать ему: веди себя хорошо, парень! Будь пай-мальчиком. Слушайся родителей. Маму, папу и конституцию страны. Они плохого не посоветуют... Блюда интересы людей, уважающих свободу. Не будь занудой. Помни о евреях. Не веди себя плохо...

Вспомнились почему-то стихи Шурика Рихтера:

Брал зимний ветер город на ура,

и каждый кустик к дому жался.

Еврейский праздник продолжался

до самого тяжёлого утра...



*Теплом дышало АГВ неровно,
Жильцы укутанные спали,
Часы тихонько время толковали,
и Ягве в Библии хозяйничал любовно...*

*Прусак сухарь грыз завалищий,
моль ела старое пальто,
под одеялом в клеточку лото,
как мёртвый, улыбался спящий...*

По-моему, прекрасно! Нет?

Но это было ещё там, ещё тогда. Ещё в России, в Совдепии. В Эдессе, в эдеме... Нынче всё не так. Всё иначе. Хотя... почему иначе? Хотел бы я знать.

...Наваливаются ветер и возраст, снег и время... Арлекины на холстах заскучали, постарели. Носы у них пообвисли. Жабо осыпалось, потускнело... Мишель уехал. Гириш тоже не звонит. Уже три дня...

...Сидит ночь. Океан за окном затаился. Вскрапнул – и ждёт отката. Дышит протяжно и мощно под панцирем луны... На Луне произошло движение.

Всадники несутся друг за другом. И не догоняют... Океанские пляжи пустынные. Черепахи и крабы зарываются в лунный песок, звёзды лихорадит на ветру... («Не зарывайтесь, Штирлиц, не зарывайтесь!») Холодно по ночам в громадных освещённых подьездах, и свищет пра-время в пустых провалах мироздания...

Телефон молчит. Остывает чай, дымит сигаретка, дремлет влага в коньячной таре... *«Пошевели хвостом, Акита, по трюму разгони тепло...»* Акита – большая, тёплая, умная собака. Идёт вереница, почти арабская вязь шуриных стихов: *«В разгар зимы, среди обуз, преобрази Георгия в Егора и позови Сёрена Кьеркегора в беседку Муз...»* Что-то похожее... Неужели я переврал? Определённо.

*...Я перебрал во сне твои стихи
и переврал. Наверняка. Прости.
Я перебрал... А мне ещё грести
против течения.
Но просить прощенья,
держа стихи в протянутой горсти?..
Побасенки свои нехитрые плести
уже без божества, без вдохновенья?
Не стану, Господи, прости.
В разгар чумы. В предчувствии сумы.
В родной стране, в преддверии зимы...*

Осень уже скоро... (голоса из книги)

*... вздыхала листва, чуя близкую осень.
Был август, звездопад, пахло далёким, неслышанным светом...
Глубоким было наше дыхание.
Мы говорили с ним распахнуто, широко, верно!
О том, что и мы, и эта ночь, и деревья, и звезда,
и все, кто понимал это – были ОДНО!
Говорили о Боге, о любви, о бессмертии...
И мы любили друг друга,
и весь мир друг в друге,
и всё, всё...*

*...Шли в то лето питательные дожди.
Дача на Дубовой росла, расширялась от ливней, горела.
Прели огороды. Пчёлы сосали загноившиеся недра цветов,
дурели от сладости, обморочно висели на стеблях...
Тлел полдень... Вздыхали брёвна во сне, жмурилась солома.
Переворачивались, не выдерживая веса, грузёные ливнем облака.*

*Листва пила дождь ненасытно, жадно, проливая мимо,
захлёбываясь, смеялась от счастья...
Шли питательные дожди, начинался июль, погромыхивали грома...
Над пригородом шло лето.*

...Ночью, под звёздами, душа одинока и незащищена. Теперь я вспомнил, когда это было. Мне было двадцать лет. Душа раскрывалась, наливалась холодным небом, чисто вымытой высью, высоким ветром, тоской, слезами, одиночеством...

И мне показалось, что у меня нет никого, кроме этого неба! О, отдаться, отдаться этому ветру, этому небу, которое одно есть правда, которое одно сродни моей душе, и душа об этом догадалась. Поэтому я плачу от безмерной печали, утолить которую может только любовь... или не может утолить ничто. И не надо, не надо!

Я мстительно плакал, глядя в это небо, потому что знал в эту минуту, что никого нет лучше меня и несчастней. Так пусть же, пусть никто не знает об этом, тем горше они раскаются потом!

...Я смотрел вверх и чувствовал, что здесь начинается истина, здесь, высоко, скрыто моё высокое предназначение, тут, со звёздами наедине, постигается нравственный закон... Луна плывала в весеннем небе, как тающая льдинка, как обломок чего-то, что было когда-то большим и ярким. Луна иссякала, таяла, умирала высоко над пустыней города, уносила меня с собой – наполняла глаза каплями слёз, делала меня свободным и зрячим, сжимала мне горло...

*... снова начиналась осень, листья созрели, как виноград,
балконы висели без опор –
воздух, пронзительно ясный, нёс дома, кварталы,
они парили в воздухе, в воде небес, как опрокинутая Венеция...
Гроздь ржавой листвы тяжело висели на крышах.
Небо синело, как на картинах старых мастеров, чуть выцветшее, –
и было бессмертным, нетленным. Высоким до слёз.
...золото было везде. Синь и золото. Лето созрело и начало падать.
Осень была на подхвате...*

Какие мы все бедняги! Убитые горем, без денег и женщин... Куда нам пойти? Вокруг нас осень и дождь. Осень и шелест. Крутом такая жёлтая погода!

Сколько лет идёт дождь и моет нашу мостовую, а в подъездах стоят и безотрадно мочатся в сумерки белые кони, пока балагулы не сгрузят уголь. Почему-то всегда уголь сгружают в дождь и в сумерки. Лошади заходят во двор сами – они уже знают дорогу. И молча сгружаются.

В такой дождь спят все площадочки города. Им недолго ещё осталось. Скоро их совсем не станет. Вот уже последний – Мендель – сгорел от водки.

...Привоз пустеет. Ветер работает подметальщиком. Он из богатых нищих. Он тот, кто собирает в свою торбу остатки фруктовых обедов. Ночью ветер пирует. Запах этого пира даёт нам счастье.

Но пока – дождь загоняет последнего прохожего под навес. Крупные слёзы роняет мясной корпус в пустое поле Привоза. В корпусе пусто, как в церкви. Дождь тихо стучит в высокие окна. В углу, над кучей городского говна, летают и воют волосатые сумасшедшие мухи.

Ветер и дождь относят в Александровский сквер старые газеты, клеят их на пустые скамейки... Вздвухаются от ливня события в Югославии, военный переворот в Дамаске, падение правительств, манёвры НАТО, выборы президента, на полях республики... На полях республики гуляет дождь. Дождь безнаказанно владеет переулками. Врывается на броню мостовых. Вталкивает в подъезды одиноких старух.

Хорошо сидеть в такую погоду где-нибудь в уборной на пятом этаже и смотреть на крыши: там гуляет парижский дождь и опускаются знаменитые одесские сумерки... В канализационные трубы прибывает вода. Из средневекового окошка свиной уборной виден кусок здания в мавританском стиле. Там дождь неприступен. Гуляет всюду, моет старинные камни. Там начинается осень.

Октябрь. Пора натягивать брюки. Пора искать работу... Осень – это нехорошо. Это когда мокрые дороги и чавкающие в грязи туфли. Пора поисков еды. Пора поисков... Пора поисков...

Сумасшедший Шая с грязными тесёмками и разбитым ртом просит у меня прикурить. У него нет спичек. А папироску ему подарили... У него был старый восьмидесятилетний папа. Папа часто ругал Шаю. Шая не любил папу. А привозная шпана, налитая пивом, мелкая и слюнявая, дразнила благородного Шаю: «Папа по-оц?» Шая ненавидел шпану, но соглашался. Тогда ему полагалась папироска. Он её честно заработал... Голыми ногами входил попрошайка в дождевую лужу Привоза...

...А потом была зима.

«ФОНОГРАФ»

ИГОРЬ ПАВЛОВ

«МНЕ БЫЛО МАЛО ГОРОДА...»

Поляны. Лето. Вальсы.
Аэродромы дрём...
И солнечные пальцы
На поясе твоём.
Оценивая пыльность
И сумеречность крыш,
Небесной сини вырез
Глядит из белых фижм.
Вот-вот ударит влага
Во все колокола.
Поймёт её, как благо,
Рассеянная мгла.
Пока ж безмолвны травы,
Аэродромы дрём,
И дальние дубравы
Готовят пыль и гром.

Игорь Иванович Павлов родился в селе Усатово Одесской области, в самом Хаджибеевском парке, 13 января 1931 года в семье Павлова Ивана Фёдоровича, начальника почтового отделения. Мать, Павлова Валентина Ивановна, была из рода известного русского композитора Сябра. В 1937 г. семья переехала на Большой Фонтан, а незадолго до оккупации, когда отец уже был на фронте, – в Одессу, на ул. Преображенскую, 78. После войны закончил 118-ю школу (Жванецкий закончил эту же школу на два года позже), учился в школе-студии киноактёра. Учился в Одесском государственном университете им. И.И. Мечникова на факультете романо-германской филологии (немецкий язык и литература), откуда был исключён. Писать всерьёз начал с тридцати лет. Работал актёром Одесского украинского театра, а также как художник-оформитель на заводах, выполнял художественные заказы в колхозах Одесской области. Был два раза женат, от первого брака была дочь Ольга, которая трагически погибла в 1995 г. В начале 2000-х гг. в результате действий аферистки лишился квартиры на ул. Преображенской, 78. С тех пор жил в квартирах и мастерских своих друзей. В последнее время жил в квартире Светланы Паршенковой на ул. Янчецкого, 3.

Поэт одесского андеграунда. Среди его друзей были такие литераторы, как: Е. Ярошевский, А. Гланц, Х. Токман, Г. Резников, Г. Маркелова, Н. Оленева, А. Стреминская, К. Британов, М. Эпштейн и т.д. Дружил также со многими одесскими художниками, такими, как: В. Хрущ, Ю. Плис, А. Лисовский, В. Басанец, Е. Рахманин, с немецкой танцовщицей Каролой фон Хердер.

К семидесятилетию поэта в начале XXI-ого века стараниями его друзей, живущих в Америке, вышли две его книжки – «Избранное» (2001) и «Ещё избранное» (2002). Были они напечатаны в типографии Геннадия Группа. Стихи Игоря Павлова публиковались во многих периодических изданиях, в т.ч., в журналах «Арион», «Октябрь», «Интерпоэзия», «22», «Крещатик», «Меченат и Мир», «Артикль», «Дерибасовская – Ришельевская», «Дон», в различных интернет-изданиях. Победитель интернет-конкурса «Сетевой Дюк – 2000» в конкурсе на лучшее произведение, посвящённое Одессе, в номинации «Поэзия». Игорь Павлов был избран почётным членом Всемирного клуба одесситов.

Умер 5 июня 2012 г. в результате обширного инсульта. Похоронен на II Христианском кладбище. 13 июня 2012 года во Всемирном клубе одесситов презентована его третья книга «Акаций белое вино», в которую вошли лучшие стихи, отобранные самим поэтом. Книга вышла в свет благодаря усилиям редактора журнала «Порты Украины» Константина Ильницкого и поэта Марка Эпштейна.



И ты идёшь по лугу,
Несёшь тело колен,
Ласкающую руку
Тебе отбросить лень.
Куда тебе глядится?
За облаком в пике
Единственная птица
Стекает вдальке...

Ночами во тьме непроглядных теней
Так звонко, так сладко поёт соловей.
Ты думаешь, я его слышу?

Соседи все спят, я никак не засну,
Сажу у окна и гляжу на луну.
Ты думаешь, я её вижу?

Ночами во тьме непроглядных теней
Так звонко, так сладко поёт соловей.

Мне было мало города,
Мне было улиц мало,
А ты, такая гордая,
Меня не целовала.
Мне было мало, мало
Бесчисленных кварталов.
Как привязной воздушный шар,
Луна над мной летала.
А я бродил по городу,
Мне было улиц мало.
А ты спала, ты гордая,
Меня не целовала.
Я к морю шёл, я к морю шёл,
И море понимало,
Как хорошо, как хорошо,
Но моря было мало.
И Ришелье сутулился,
И тишина дремала.
А я бродил по улицам,
Мне ночи было мало.

Всё хобби, милая... Всё хобби.
В миру, где каждый день – свиданье,
Где каждый углый дом – надгробье,
А каждый сквер – исповедальня,
Истерика самосожженья
И беззаботность певчей птички –
Всё только хобби, продолженье
Давно родившейся привычки.
Да, эти войны, бомбы, пушки –
Угрозы, чудища, уродцы –
Всё хобби, милая! Игрушки!
А умереть – всерьёз придётся.



Лунны очи и печальны.
В окнах – млеет страх.
Рот твой – горестный, случайный
На моих губах.

В темноте не эльфы – Лели.
Но парит сова!
Обомлели, обмелели
Губы и слова.

Дом – засада; мрак – подослан...
Ночь велит: – Солги!
Липнут лестницы к подошвам,
К пальцам льнут звонки.

– До свиданья!
И прохлады
Тает на губах.
Нет, не надо!
Нет! Не надо
Уходить – вот так...

Словно ветра дуновенье
Встрепенулась нить.
– Все уходим.
Дай мгновенье
В вечности побыть.

ЧЕЛОВЕЧЕК

Сединой увенчан,
Болью расковырен,
Плачет человек,
Слёзки восковые.

Лицо в пальцы прячет,
Пальцы в слёзках тонут...
Человечек – начат,
Человечек – тронут.

Беды все – грошovy,
Да на сердце – камень...
Над его душою
Мучается пламя.

Ах, зачем ночами,
Жалок и увечен,
Головой качая,
Плачет человек?

Двигает плечами,
Беден и всклокочен...
Человечек – начат...
Человечек – кончен.
Догорела свечка, –
Нету человечка...



ВЕЧЕРНЕЕ

Пусть эта ночь окажется милее,
 Чем прочие. Стыдящаяся дня,
 Душа, раскройся чище и смелее!
 Не покидайте в сумерках меня,
 Подобные ночным безмолвным феям,
 Мохнатые монашки темноты!
 Огонь свечи мельканием оваяв,
 Усядетесь на спящие цветы,
 На подоконник, на кашпо, на книги,
 На абажур, на вытертый ковёр...
 Вы трепетней, вы прозрачней, чем блики
 Нагих зеркал, туманящих узор
 Ночного интерьера, где святые –
 В молчании забвенном, где цветы...
 О, бабочки вечерние – седые,
 Мохнатые монашки темноты!

ПЕСНЯ КОСМОНАВТОВ

Я на Землю вернусь через тысячу лет,
 Я пощупаю пульс неизвестных планет,
 Но и там в путь земной провожаю сердца.
 Будь со мной, будь со мной, до конца, до конца.
 Я на Землю вернусь через тысячу лет,
 Я почувствую грусть, боль непрожитых лет,
 Этих лет, что Земля прожила без меня,
 Этих лет, что Земля пронесла без меня.
 Я не встречу на ней ни нужды, ни вражды,
 И слова о войне будут людям чужды,
 Я увижу детей с глубиной твоих глаз,
 Я увижу людей, что крылатее нас.
 Но вдали, как в пыли, поникают цветы.
 Это горстка земли, это, может быть, ты,
 И опять в путь земной провожают сердца.
 Будь со мной, будь со мной, до конца, до конца.

Этой горсточкой груз – твой прощальный привет.
 Я на Землю вернусь через тысячу лет.

по ночам в сырых сиренях
 дышит ломкая вода
 по губам листков последних
 пробегают холода
 по ночам по веткам нитям
 шепотки и ветерки
 ночи веки оттяните
 чтоб ложились медяки
 чтоб совсем забыть богатство
 тёплых лета лепестков
 чтоб навек спуститься в братство
 тьмы грибов и светляков
 чтобы холодом насытив
 чьи-то скользкие тела
 ничего не знать о быте
 позабыть про все дела



чтобы сумраком насытив
эти мутные тела
стать началом снов и нитей
что сплетёт слепая мгла

Ищу Вселенную вслепую,
Я утерял былую связь
И власть над миром колдовскую...
Увы! Надежда не сбылась.

Когда-то в детстве просыпался,
Преодолев полночный страх,
И чувствовал дыхание Марса,
Бродил в Венериных лесах.

И тронув дальние созвездья,
В безмерном мире колесил,
И ветра вздох о Веге вести
Мне неизменно приносил.

А нынче что? От лунных пятен
Я постарел и поседел,
И мир, как прежде, непонятен,
И звёзды – сами по себе...

Но жду. И верю. И – тоскую.
Тускнею. Гасну. Трепещу...
Ищу Вселенную вслепую,
Слепой, неслышащий – ищу!

ЗАВЕЩАНИЕ

И вот замру, весь голос искричав,
Свалюсь, как спелый колос, в пасть Несыгтой,
И сразу – прям и перед всеми прав!..
Ну что ж... Скорей на кладбище несите!
Не важно, сколько там я наскребу.
Запомнюсь так: невыбранный, ершистый.
К чему фотографировать в гробу?
Запомните, каким я был при жизни!
Пускай в траву оправят мой портрет,
Не в траур! Не нужны мне скорби знаки!
Пускай напишут: «Вот лежит поэт.
Его любили дети и собаки».

ЮРИЙ КАПЛАН**ОВЕРТАЙМ**

Бродит по свету душа неприкаянной,
 Братоубийства бессмертны вериги.
 Бог, соблазняющий ревностью Каина
 Разве не знал продолженья интриги?

Вроде непьющий и нрава не буйного
 Жил себе тихо и мирно орагай.
 Как не убивший ни овна, ни буйвола
 Руку несмелую поднял на брата?

Стражи добра удивительно бдительны.
 Все надзирают – архангелы, Бог ли.
 Изгнаны грубо из рая родители,
 Младший в могиле, а первенец проклят.

Божьи созвездья пылают, как вымпелы,
 Еве сулят материнское счастье,
 Нет ещё войн, а праматери выпало
 Двух сыновей потерять в одночасье.

Юрий Григорьевич Каплан (1937-2009) – поэт, публицист, общественный деятель и издатель, заслуженный работник культуры Украины, автор книг «Обжигающий ветер» (1969), «Общая тетрадь» (1990), «Беглый звук» (1992), «Неровный стык тысячелетий» (1996), «Апрельский снегопад» (1997), «Поля тяготения» (1998), «Вирус любви» (2001), «Створки моллюска» (2002), «Ночной сторож» (2002), «Времени рваный ритм» (2002), «Петитом птиц» (2004), «Юрковица» (2010), «Время приревновать» (2010). Основатель и руководитель литературной студии «Третьи ворота» (1990-2009). Основатель и редактор ежемесячного альманаха поэзии «Юрьев день» (2000-2007). Составитель десяти поэтических антологий, в т.ч. «Киевская Русь» (антология современной русской поэзии Украины, 2003), «Киев. Русская Поэзия. XX век» (2004), «Библейские мотивы в русской лирике XX века» (2005), «Украина. Русская поэзия. XX век» (2008).

Родился в г. Коростень Житомирской области. В студенческие годы был участником литературной студии Киевского политехнического института (руководитель Аркадий Рывлин). После окончания института, с 1959 г., начинает работать на Старо-Бешевской ГРЭС под Донецком (тогда ещё Сталино) в должности начальника высоковольтной лаборатории, посещает литературную студию под руководством поэта Евгения Летюка при газете «Комсомолец Донбасса» – каждую неделю приезжает в областной центр из посёлка Новый Свет. В 1961 г. коллега Каплана по литстудии Олег Комар (Орач) знакомит поэта с Васильём Стусом. После возвращения в Киев Юрий Каплан посещает легендарную студию «Молодь», в которой состояли Николай Винграновский, Борис Мозолевский, Владимир Забаштанский и др. В начале 1964 г. в киевскую студию приходит Васильё Стус. Прежнее знакомство двух поэтов перерастает в крепкую дружбу. Первые «неприятности» Юрия Каплана с властью начинаются с выходом его поэмы «Бабий Яр». Поэта вызывают на допрос в КГБ, задерживают. После этого – не печатают двадцать лет. . . 2 августа 1998 г. в недостроенном тогда ещё Михайловском соборе в Киеве, в присутствии 300 студентов Духовной академии Юрий Каплан получил из рук Леонида Вышеславского диплом, в котором был провозглашён преемником и Вицепредседателем земного шара (литературная игра с присуждением этого почётного титула основана в 1916 г. Велимиром Хлебниковым). После трагической гибели Вышеславского в 2002 году титул перешёл к Каплану – он стал четвёртым и последним Председателем земного шара.

Во времена независимой Украины Юрий Каплан был заместителем председателя Киевской организации НСПУ, председателем комиссии НСПУ по национальным литературам и межнациональным связям, членом приёмной комиссии НСПУ, в 2004 г. исключён из НСПУ за критику тогдашнего Председателя НСПУ Владимира Яворивского. В 2005 г. вместе с единомышленниками создаёт общественную организацию «Конгресс литераторов Украины». В 2007 г. эта творческая организация получает статус Всеукраинского творческого союза, Юрий Каплан становится Председателем Правления (2007-2009) Всеукраинского творческого союза «Конгресс литераторов Украины».

До последних своих дней Юрий Каплан путешествовал и выступал – бывал в США, Германии, Израиле, Чехии, России, печатал воспоминания и исследования о великих поэтах и писателях, цикл программ с ним выходил на всеукраинском радио. 12 июля 2009 года трагически погиб.



Косы её сединою увенчаны,
Очи погашены горьким итогом.
«Сейте разумное, доброе, вечное...» –
Лозунг для пахаря или для Бога?

Доверься необузданным ветрам,
Лишь в этом твой неповторимый стиль.
Отпущенное время
– овертайм,
Ты сам его на волю отпустил.

Всё уповал, мол, милосерден Бог.
Но время беспощадно, как тиран.
Терпи. Теперь твой каждый миг
– итог,
Горящий «миг», идущий на таран.

Терпи. Терпи. Потом поймёшь – когда
Уже уходит из-под ног земля:
Не прошлое
– сгоревшая звезда,
А будущее – пепел и зола.

Чем ближе к вечности,
 тем меньше о земном.
Хоть было всякое...
 давай, мой друг, замнём
И поглядим вдвоём
 на ранние созвездия
И помолчим. Слова
 то лживы, то пусты.
А вот молчание
 не терпит суеты.
В нём лишь любовь
 и равенство без лестии.

Не все ль равно, вместится
 жизнь в какой размер.
Хоть в шестистопный ямб
 с пезурой, например.
Не велика беда –
 когда-нибудь, сейчас ли.
Уже не надо мне
 не рыб и не хлебов.
А что останется –
 две строчки и любовь?
О, если будет так,
 я просто счастлив.

В утреннем нервном метро
Хризантемы твои
Поднимал над спрессованной плотью толпы,
Всё тянул одинокую руку,
Светильника даже касался,
Так хотелось спасти от удушья.

И
 Всё равно не сберёт,
 Растрясло и меня и цветы,
 Белый медленный снег лепестков
 Раздражает угрюмых соседей
 В утреннем нервном метро.

Но всё же
 Надежда права:
 Вдруг очнётся живая душа
 В этом месиве глины Господней
 И увидит, что есть ещё кто-то —
 Пусть даже цветок —
 Для кого этот верный маршрут,
 Именуемый жизнью,
 Вообще неприемлем.
 Лучше сразу осыпаться снегом
 И растаять на лицах угрюмых
 В утреннем нервном метро.

Память, не усердствуй.
 Время — маг и деспот.
 Одиссея сердца —
 Старая Одесса.

Сладостны, как в детстве,
 Странные надежды.
 Сказочное действо,
 Старая Одесса.

Не сказать словами,
 Ни стихотвореньем —
 Полное слиянье,
 Даже растворенье.

Буду нем, как рыбы.
 Буду щедр, как дети.
 Господи, спасибо
 За мгновенья эти.

Где он оборвётся, путь земной?..
 Стыдно за пустые разговоры.
 Господи, поговори со мной,
 Может быть, меня не станет скоро.

Ни тоске не верь, ни куражу,
 Это и не откровенье даже.
 Просто то, что я Тебе скажу,
 Может быть, Тебе никто не скажет.

Июль — это Цельсий в экстазе
 В расплавленных мыслях — сумбур.
 Довериться? — Как бы не сглазить
 Судьбу.



На улице сонно и пусто.
«Давыдову»¹ – не до любви.
Шаги совпадают, а пульсы...
Увы.

Вот наши короткие тени
Цепляются к чахлым кустам.
Дыхание? – Не совпадение...
А там...

Мы здесь, как незваные гости.
Ошиблись – душой, этажом?
Бетонный горбатенький мостик
У нас за спиной –
Сожжён.

¹ Бульвар Давыдова – центральная улица киевского района Русановка.

Вроде целюсь. Но вновь попадаю впросак.
Те, чья воля стальная и сила литая,
Пусть летят к этой цели на всех парусах
И ликуют в душе: он опять пролетает.

Пролетаю. Но не отступлю ни на пядь,
Ибо, сколько ни царствуй, не при,
Не пиратствуй.
Настоящая цель – не попасть, а обнять
Угловатое это сквозное пространство.

После смерти твоей онемел.
Слышу только аккомпанемент
Ливня, ветра, гудящего города.
Сам не в силах уже и рыдать,
В дальний ящик задвинул тетрадь.
И безжалостней нет приговора.

То замкнусь, растерявши азарт,
То взрываюсь, как пачка петард,
Загораюсь легко, как солома.
Отзовись из разлуки разлук,
Возврати мне утраченный звук,
Окаянное, грешное слово.

Чего отчаиваться? Чего там
Терять надежду? Ещё не время.
Сегодня мне оказали вотум
Доверия большие деревья.

Здесь яму другому никто не роет,
Не вешает ни ярлыки, ни мишени.
И пусть я мхом оброс и корою,
Я свой среди этих стволов замшелых.



Листва со мной поделилась счастьем.
Траве угодны мои решенья.
И даже тучи мне свет не застыят,
И даже ветер не гонит в шею.

Да, суета подбивает клинья.
Но белый свет не сошелся клином.
Не важно, путь мой короток, длинен,
А важно: стану Господней глиной.

Мне достанется. И аз воздам.
Только в сказках самобранкой скатерть.
Праотец всех изгнанных – Адам.
Ева – скромных мучениц праматерь.

Грязной нефтью растекаясь вширь,
Прорастая к тучам этажами,
Вся Земля – огромная Сибирь.
Все мы – ссыльные и каторжане.

Снова время выносит вердикт.
Взгляд, пейзаж не приемлющий, стынет.
Земснаряд неумолчно гудит,
Тихий рай превращая в пустыню.

Сердце впустит глухую тоску.
Сколько здесь перечёркнуто счастья.
Вот лягушка ползёт по песку,
Потерявшая кров в одночасье.

Циркуляр? – К циркулярке любовь.
Власть прикрыла усталые вежды,
И растут вместо верб и дубов
В уголках заповедных коттеджи.

Не стерпи это, Боже, вспыли
Гневным ливнем, как было при Ное.
Смой со скорбного лика Земли
Сатанинское всё, наносное.

МАРГОВСКИЕ ИДЫ 2000

Леониду Вышеславскому

Растаял прошлогодний снег.
Рябым дождём Бог шельму метит.
Сменилось всё: и год, и век,
Да что там век – тысячелетье.

Настал совсем другой стандарт,
За нас никто не поболует,
И каждый непутёвый март
Чреват внезапным юбилеем.

Мир в марте. Смерть и ненасыть.
Разрывов сыпь в прорехах кровель.
Облезлые худые псы
Сбегаются на запах крови.



Встаёт растерзанный рассвет
Над Терекон, над Зеравшаном
(Увы, бессилён твой запрет,
Мой загадочный Предземшара).

Цель? – куш сорвать. Любой ценой.
Ловчить. Юлить. Глотать стероид.
Да воспарит над суетой
Твой венценосный астероид.

Пока не выдохся азарт,
Пока наш бред Эвтерга терпит,
Стань стартом, каждый новый март.
Плесни нам бренди, виночерпий.

– Как дела?
– Да вроде бы ажур,
На земле ещё, не в мавзолее,
Биографии бикфордов шнур
Потихоньку тлеет...
Тлеет...
Тлеет...

В общем, предсказуемый сюжет,
Каждый сам себе и шерп, и лощман.
То, что накопилось на душе,
Всё равно когда-нибудь взорвётся.

Поднимаешь ли голову,
Замечаешь ли, глядя вверх? –
Купола облаков повторяют контуры верб.
Солнце встаёт над пространством глухонемым,
Золота купола эти способом огневым¹,
И сутулый аист бродит, как старый граф,
От камзола лугов отодрав зелёный рукав,
И над мелкой топью зелёного рукава
От болотного зелья кружится голова.
Будет тёплым день, потому что щедрa росa,
И в процеженной дымке не слышны ничьи голоса.

¹ Огнево́й способ – специальная технология покрытия куполов тончайшим слоем золота.

Путь на кладбище. Скользкая и крутая тропа.
Водяная колонка – сталагмитом обледенелым.
В углубленьях невидимых ищет опору стопа,
А душа не находит опоры в безмолвии белом.

Это зимнее кладбище кажется садом седым,
Безмянный погост снегопадом вчерашним ухожен.
Постоим. Помолчим. На нетронутый снег поглядим.
Загадаем ли что?.. Нет, скорее всего, подытожим.

Мы приучены так: после дня трудового – итог.
И живём, как кассирши. К чему нам прозренья Кассандры?..
Но сбывается срок. И приходит глубокий, как вдох,
Белый медленный снег, несговорчивый наш инкассатор.



А по снегу такому смешон суетливый разбег.
Одолеем и так, одолеем и так, слава Богу.
С детских лет всё тянуло смотреть на нетронутый снег,
Видно, знал: он когда-нибудь ляжет безмолвным итогом.

Закрой глаза,
чтоб в этой темноте
мерцали
только губы.
Давай доверим
Богу
чудеса,
а нам с тобой –
обыденную жизнь,
которая
одна
есть чудо.

МАРИНА ХЛЕБНИКОВА

ДЕВОЧКА НА ШАРЕ

САПФО

Ах, как легко в то утро пелось!
Смеялись мраморы живые,
И ветер трогал лёгкий пеплос,
Как мальчик девочку впервые,
И корабли спешили в Делос,
На Кипр, в Афины или Спарту...
И так легко в то утро пелось,
Как будто брошена на карту
Не вся судьба, а так – предсудьбе
Богини гордой и греховной...
Вершили суд земные судьи,
А ей был ведом путь верховный!..
Ах, как ей пелось, слава Фебу!
Когда, в словах не чуя муки,
Корабль летел туда, где к небу
Волна протягивала руки...

На уровне моря, где берег шекочет волна,
где стайки мальчишек бычка подсекают на донку,
из пены морской, не спеша, выходила *она*,
куриного бога неся на раскрытой ладони.

Прижмурив ресницы, смотрела в неровный овал,
и видела мир, отшумевший ещё до потопа, –
там, бросив друзей, подждал черепаху финвал
и без парусов – на быке – уплывала Европа...

– Останься, Европа! – просила девчонка. – Быка
нельзя в океан! Он не кит!.. Он фарватер не знает!
– Смотри, обалдела, – рыбак подтолкнул рыбака,
а тот пробурчал: «Перегрелась. В июле бывает».

К ВОРОНЦОВОЙ

По Итальянской, по Итальянской
Бьются копыта, мчится коляска
Солнце сквозь листья – в бешеной пляске,
По Итальянской мчится коляска.

Марина Хлебникова (Дёмна) (1958 – 1998) – поэт, прозаик, драматург. Родилась в Одессе. В 1981 г. окончила Одесский политехнический институт, работала инженером-электронщиком, писала стихи, публиковалась в московской и одесской периодической печати, в сборниках. В 1992 году окончила Литературный институт им. Горького, была принята в Союз писателей России. Продолжала писать стихи, прозу, пьесы, сценарии. В 1998 г. была подготовлена к печати первая самостоятельная книга стихов «Проверка слуха», предисловие к которой было написано Кириллом Ковальджи. Но сборник опубликован не был – 6 декабря 1998 г. жизнь автора трагически оборвалась. Уже в XXI-м веке в Одессе вышел трёхтомник её произведений – «Стихи» (2004), «Пьесы» (2005), «Рассказы» (2008).

К белой ротонде, кованым стрелам,
 К пальцам, дрожащим в кружеве белом, –
 Вихрем сминая светские маски,
 По Итальянской мчится коляска!

Елизавета, Элис, Элиза –
 Имя в дыханьи южного бриза,
 В спутанных кудрях, солнечной краске –
 По Итальянской мчится коляска,

Мчится предтечей звукам ромansa,
 Мчится к загадке VOBULIMANS¹...
 Что будет завтра – нынче не ясно.
 По Итальянской мчится коляска...

¹ VOBULIMANS – анаграмма из письма Е.К. Воронцовой к А.С. Пушкину (СНАМИЛЮБОВЬ).

... А потом мы ослепли,
 но как-то не сразу дошло –
 если полная тьма,
 ни к чему это хрупкое зренье.
 Долго жили надеждой,
 варили траву и коренья,
 приставали к всевидящим:
 может, уже рассвело?..
 А потом стало сниться,
 что выросли дети и зрят
 контур синего моря
 и мягкую зелень травы...
 Приставали к всевидящим,
 те говорили – зарницы
 наблюдают в районе Находки,
 а в дебрях Москвы
 просветления ждут через две
 или три перестройки,
 только если всем миром,
 и если прищучит разинь...
 ...О, куда ты летишь,
 ненормальная дикая тройка,
 дарвалдайскую медь
 рассыпая в дорожной грязи?..
 ...А потом мы оглохли...

Когда навстречу двинется перрон –
 сначала шагом, а потом бегом,
 и первый стык, колёса цапапнув,
 сольётся в монотонный перестук,
 отрезав неприкаянность минут,
 когда ещё не там – уже не тут,
 пристрою чемодан, упрячу свёртки
 и вдруг увижу беглый перевёртыш
 на пыльном нацарапанном окне:
 «Не уезжай!» – и вздрогну – может, мне?..



«В начале было Слово»...
Словно винт,
оно взрезало мёртвое пространство,
и Время, отделяясь от Постоянства,
текло в его резьбе...
Но ветхий бинт,
стянувший Пустоту и мрак Пролога,
рассыпался на звёздное пшено,
и лёгким звёздам стало всё равно –
от Бога Слово

или же до Бога...

...А мы с тобой сидим, как два грача
над червяком,
и молча делим, делим...
Да было ль Слово?
Бог с ним! – вот и съели!..
Полярная качается свеча,
а мы молчим,
наш винт сошёл с резьбы
и потихоньку втягивает годы,
и до немого тёмного исхода
подать рукой...
Так что вначале бы?..

Лететь вдоль параллельных без затей
куда-то в безвоздушное пространство,
где Лобачевский нам за постоянство
воздаст пересечением путей?
Скреститься в бесконечности, когда
нам только и останется – креститься?..
Любимый! Посмотри, какие лица
на этой фреске Страшного Суда!..
Век под судом – смешное ремесло!
Мы нагрешим – и будем неподсудны!..
Любимый, поцелуемся прилюдно,
коль нас с тобою к людям занесло!
И не услышим: «Дать бы им раза,
бесстыжим, – да и вытурить из рая!» –
поскольку старый Бог закрыл глаза,
как мы их в поцелуе закрываем...

Тонкорунные овцы укрыли луга,
и не считано стадо бычачье.
Не нужда дует в парус походный – нудьга –
от пиров, бабских сплетен и плача.

Лишь в проливах, смиряя течение веслом,
взрезав темень Эвксинского Понта,
можно мельком подумать: «На кой понесло?..
За Руном? Или просто – для понта?..»

И не поздно – недельку всего покорпев –
воротиться по норам, по сотам...
Но уже у поэта сложился запев,
и его подводить неохота...

Сочится кровь из треснувшей губы,
такое время, что не до улыбок.
И лозунги по-прежнему грубы
для золотых и просто мелких рыбок.

Лелеять этих, нежных, что за прок?
Чуть дунешь – оперение погасло...
В говядине – питательный белок.
В подсолнухах – растительное масло.

... Зачем кормить пугливых ярких дур,
приобретённых оптом за пол-литра,
останками земных литератур
и радостью шемякинской палитры?

Уж как-нибудь – не каюсь, но греша, –
Протянет ножки век под «тыры-пыры»...
... В созвездье Рыб уносится душа
быстрее, чем в озоновые дыры...

Ещё не знаю – по какому списку,
по тайной канцелярии какой
мне проходить,
но чувствую, как низко
судьба огонь пронесит над рукой...
Палёным пахнет волосом, но кожа
пока ещё ознобно холодна...
О, Господи! Как призрачно похожи
на этой части суши времена!
Как будто, угомясь от вечных бдений,
не дожидаясь Страшного Суда,
Бог создал заповедные владенья
и перестал заглядывать туда...

«Девочка на шаре» Пикассо:
девочка – арена – шарик между...
До падения – только волосок,
но на непаденье есть надежда...

Мы стоим, как девочка на шаре,
равновесье – тоненькая нить...
Охватить бы Землю тёплой шалью
и узлом надёжно закрепить.

Люди – их безумье – шар наш между –
Вечной ночи ядерная пасть...
Но на непаденье есть надежда.
Удержаться б только. Не упасть.

«ЛИТМУЗЕЙ»

От редакции: подборка материалов о М.А. Волошине печатается к 135-летию со дня рождения великого русского поэта и художника.

ИВАН БУНИН

ВОЛОШИН

... Зимой девятнадцатого года он приехал в Одессу из Крыма, по приглашению своих друзей Цетлиных, у которых и остановился¹. По приезде тотчас же проявил свою обычную деятельность, — выступал с чтением своих стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели читали за некоторую плату свои произведения среди пивших и евших в зале перед ними «недорезанных буржуев»... Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевистской. Я даже дивился на него — так далеко шагнул он вперёд и в писании стихов, и в чтении их, так силён и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, «великолепное», самоупоённое и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение! — и, как всегда, всё спрашивал себя: на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле всё как-то поднято, надуто, концы густых волос, разделённых на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно. Кряжистый мужик русских крепостных времен? Приап? Кашалот? — Потом мы встретились на вечере у Цетлиных, и опять это был «милейший и добрейший Максимилиан Александрович». Присмотревшись к нему, увидел, что наружность его с годами уже несколько огрубела, отяжелела, но движения по-прежнему легки, живы; когда перебегает через комнату, то перебегает каким-то быстрым и мелким аллюром, говорит с величайшей охотой и много, весь так и сияет общительностью, благорасположением ко всему и ко всем, удовольствием от всех и от всего — не только от того, что окружает его в этой светлой, тёплой и людной столовой, но даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в тёмной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно — так уж истёрта его коричневая бархатная блуза, так блестят чёрные штаны и разбиты башмаки... Нужду он терпел в ту пору очень большую.

Дальше беру (в сжатом виде) кое-что из моих тогдашних заметок:

— Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остаётся в Одессе, в их квартире. Очень возбуждён, как-то особенно бодр, лёгок. Вечером встретил его на улице: «Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию!»

— Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлён, весел. «Бог с ней, с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои «Портреты». В портрете Савинкова отличная черта — сравнение его профиля с профилем лося.

Как всегда, говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, которого переводит.

Он антропософ, уверяет, будто «люди суть ангелы десятого круга», которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел...

Спасаем от реквизиции особняк нашего друга, тот, в котором живем, — Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участие. Выдумал, что у нас будет «Художественная неореалистическая школа». Бегаёт за разрешением на открытие этой школы, в пять минут написал для неё замысловатую вывеску. Сыплет сентенциями: «В архитектуре признаю только готику и греческий стиль. Только в них нет ничего, что укрощает».

— Одесские художники, тоже всячески стараясь спастись, организуются в профессиональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом: «Надо возвратиться к средневековым цехам!»

— Заседание (в Художественном кружке) журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже «по организации профессионального союза». Оченьлюдно, много публики и всяких пишущих, «старых» и молодых. Волошин бегаёт, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой, — её шнур прицеплен к крючку накидки, — быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно начинается скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К чёрту старых, обветшалых писак! Клянёмся умереть за Советскую власть!» Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава «в знак протеста» покидает зал. Волошин бежит за ними — «они нас не понимают, надо объясниться!»

— <...> После девяти запрещено показываться на улице. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта, он ест жадно и с наслаждением и всё говорит, говорит и всё на самые высокие и трагические темы. <...>

— Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшении города к первому мая. Некоторые с радостью хватаются за это приглашение: от жизни, видите ли, уклоняться нельзя, кроме того, «в жизни самое главное — искусство, и оно вне политики». Волошин тоже загорается рвением украшать город; фантазирует, как надо это сделать: хорошо, например, натянуть над улицами и по фасадам домов полотнища, расписанные ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов... Я напоминаю ему, что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут непрерывные облавы, обыски, аресты, расстрелы, по ночам — непроглядная тьма, разбой, ужас... Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине сокрыт страждущий Серафим, что есть 9 серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы принять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокалённые и просветленные лики...

— Я его не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были ещё вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и художник». — «В украшении чего? Собственной виселицы?» — «Всё-таки победил. А на другой день в «Известиях»: «К нам лезет Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам». Волошин хочет писать письмо в редакцию, полное благородного негодования...

— Письмо, конечно, не напечатали. Я и это ему предсказывал. Не хотел и слушать: «Не могут не напечатать, обещали, я был уже в редакциях!» Но напечатали только одно: «Волошин устранён из первомайской художественной комиссии». Пришёл к нам и горько жаловался: «Это мне напоминает тот случай, когда ни одна из газет, травивших меня за то, что я публично развенчал Репина, не дала мне места ответить на эту травлю!»

— Волошин хлопочет, как бы ему выбраться из Одессы домой, в Крым. Вчера прибежал к нам и радостно рассказал, что дело устраивается, и как это часто бывает, через хорошенькую женщину. «У неё реkvизировал себе помещение председатель Чека Северный. Геккер познакомила меня с ней, а она — с Северным». Восхищался и им: «У Северного кристалльная душа, он многих спасает!» — «Приблизительно одного из ста убиваемых?» — «Всё же это очень чистый человек...» И не удовольствовавшись этим, имел жестокою наивностью рассказать мне ещё то, что Северный простить себе не может, что выпустил из своих рук Колчака, который будто бы попался ему однажды в руки крепко...

— Помогают Волошину пробраться в Крым ещё и через «морского комиссара и командующего черноморским флотом» Немитца, который, по словам Волошина, тоже поэт, «особенно хорошо пишет рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную большевистскую миссию в Севастополь. Беда только в том, что её не на чем послать: весь флот Немитца состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы (на том самом дубке) в начале мая 15. Уехал со спутницей, которую называл Татидой². Вместе с нею провёл у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было всё-таки грустно. Да и всё было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике, — электричества не позволяли зажигать, — угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному — матроска, берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевистского обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, — до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах, и в добровольческих. Всё же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: бог знает, как-то сойдёт это плавание на дубке до Крыма... Беседовали долго и на этот раз почти во всём согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на рассвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, волновались, обнялись. Но тут Волошин почему-то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но всё больше и больше — и притом с самыми серьёзными, почти зверскими лицами, — надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание и как вокруг них начала собираться удивлённая, не понимающая, в чём дело, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка...



С пути он прислал нам открытку, написанную 16 мая в Евпатории:

«Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждём поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской Косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французским миноносцем, болтались ночь без ветра, во время мёртвой зыби, были обстреляны пулемётным огнём под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озёрам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Всё идёт не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов... Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведённый, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период».

В ноябре того же года пришло ещё одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:

«Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни всё почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли.

Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевистские знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до “командарма”, который меня привёз в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым.

Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнём: первый десант добровольцев был произведён в Коктебеле, и делал его “Кагул”³, со всею командой которого я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.

Через три дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвинённого в большевизме, которому грозил расстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился-таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь феодосийцы, и я сейчас здесь живу с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят как на большевистские.

Кстати: первое издание “Демонов глухонемых” распространялось в Харькове большевистским “Центрагом”, а теперь ростовский (добровольческий) “Осваг”⁴ взял у меня несколько стихотворений из той же книги для распространения на летучках. Только в июле месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу...

Работаю исключительно над стихами. Все написанные летом я переслал Гроссману⁵ для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его, а я посылаю вам пока для “Южного слова” два прошлогодних, лирических, ещё нигде не появлявшихся, и две небольшие статьи: “Пути России” и “Самогон крови”. Сейчас уже два месяца работаю над большой поэмой о св. Серафиме, весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему. Он должен составить диптих с “Аввакумом”.

Зимовать буду в Коктебеле: этого требует и работа личная, и сумасшедшие цены, за которыми никакие гонорары угнаться не могут. Кстати, о гонораре: теперь я получаю за стихи десять рублей за строку, а статьи по три за строку. Это минимум, поэтому, если “Южное слово” за стихи заплатит больше, я не откажусь.

Мне бы очень хотелось, И. А., чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гроссмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле “Личины”, стих. “Матрос”, “Красногвардеец”, “Спекулянт” и т. д.), и мне бы очень хотелось знать ваше мнение.

Я ещё до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех её партиях, и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники... Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке...»

Это письмо было для меня последней вестью о нём. <...>

¹ На ул. Нежинской, 36.

² Татьяна Давыдовна Цемах – поэтесса, бактериолог.

³ «Кагул» – крейсер, высадивший белый десант под Феодосией в середине июня 1919 г.

⁴ Осваг – осведомительное агентство, пропагандистский орган белогвардейцев.

⁵ Леонид Петрович Гроссман – поэт, литературовед.

АЛЕКСАНДР БИСК

Одна из наших «Сред» была посвящена поэзии. Тут Максимилиан Волошин впервые читал свои замечательные стихи «Святая Русь» и другие. Это был подлинный героический пафос. Стихи эти были ни за революцию, ни против неё, но они вскрывали чисто русский дух событий. Как в «Двенадцати» Блока, и сильнее, чем в блоковской поэме, здесь передан весь сумбур русского бунта, в котором главным ядром являются не события, а личность, не дело, а мечты, наш град Китеж, наш «неосуществимый сон». Я называл Волошина поэтом Сенатской площади, потому что, на мой взгляд, от февраля до октября вся Россия представляла собой гигантскую Сенатскую Площадь, на которой мы, подобно нашим предкам, беспомощно толпились, не зная, что нам делать.

О Волошине стоит говорить, потому что ему не повезло в русской литературе. Имя его недостаточно известно широкой публике. А ведь он был первым парижанином нашей эпохи, по его стихам мы научились любить Париж. Кто не почувствует всего аромата Парижа только по этим двум строчкам:

*В дождь Париж расцветает,
Точно серая роза.*

Тем более нестерпимой была совершенно неприличная статья Бунина после смерти Волошина (в «Последних Новостях»). Правда, Волошин был в жизни смешной человек. Толстый, с большой копной волос, с густой бородой, начинавшейся у самых глаз, он любил говорить о своих успехах у женщин. У себя в Крыму, в имении Коктебель он ходил босиком, в длинной греческой хламиде, чуть ли не с венком на голове, и в таком же виде разъезжал на велосипеде. К сожалению, Бунин писал только об этом, и почти ничего об его произведениях. Конечно, Бунин есть Бунин, и одна фраза в его статье была прехвосходной: он говорил, что Волошина с одинаковым правом могли бы расстрелять и белые, и красные.

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

ДЕЛО Н.А. МАРКСА

...Большевики докатились до Одессы только в декабре. До декабря весь 1917 год Маркс вёл в Одессе очень мудрую и осторожную политику: виделся с лидерами всех партий и поддерживал порядок. В декабре он передал власть в руки коммунистов и уехал в Отузы, где мирно и тихо провёл 1918 год, обрабатывая свои виноградники и занимаясь виноделием. В 1918 году я был у него несколько раз в Отузах с Т[ати]дой и снова или, вернее, по-новому подружился с ним.

На следующую осень, в 1918 году, я надумал поехать в Одессу читать лекции, надеясь заработать.

Ко мне присоединилась Татида, которая ехала в Одессу искать место бактериолога. У меня были в Одессе Цетлины, которые меня звали к себе. Я заехал в Ялту, а оттуда в Севастополь и Симферополь.

Это меня задержало, и в Одессу я попал только в 1919 году. Одесса и её поэты: кружок Зелёной Лампы, Олеша, Багрицкий, Гроссман¹, Вен. Бабаджян. Я читал лекции и выступал на литературных чтениях, иногда с бурным успехом (Устная газета, Тэффи).

Одесса была переполнена добровольцами. Потом пришли григорьевцы. Эвакуация. Передача Одессы большевиками. Вечер вступления григорьевцев.

С момента отъезда из Одессы начинается моя романтическая авантюра по Крыму. Я выехал на рыбацкой шаланде с тремя матросами, которым меня поручил Немитц. Прежде всего не им мне, а мне им пришлось оказать важную услугу: море сторожил французский флот, и против Тендровой Косы стоял сторожевой крейсер, и все суда, идущие из Одессы, останавливались миноносцами. Мы были остановлены: к нам на борт сошёл французский офицер и спросил переводчика. Я выступил в качестве такового и рекомендовался «буржуем», бегущим из Одессы от большевиков. Очень быстро мы столковались. Общие знакомые в Париже и т. д. Нас пропустили.

«А здорово вы, т[овари]ш Волошин, буржуя представляете, — сказали мне после обрадованные матросы, которые вовсе не ждали, что всё сойдёт так быстро и легко. Их отношение ко мне сразу переменялось.

Через два дня мы подошли к крымским берегам. Мы должны были высадиться в гавани Ак-Мечеть в [...] и очень удобный заливчик в степном нагорно-плоском берегу, где можно было оставить судно до возвращения.

Плавая по морю, мы совершенно не знали, что за нами и что делается на берегу. Слышался грохот орудий, скакала кавалерия, но кто с кем и против кого были эти действия, мы не знали. Не знали и фр[анцузы], которых я расспрашивал. В Ак-Мечети оказался отряд тарановцев, партизанский отряд бывших каторжников, пользовавшихся в Крыму грозной славой. Не зная, как и что на берегу, мы подошли без флага. Нас встретили пулемётами. Я сидел, сложив ноги крестом, и переводил Анри де Ренье. Это была завлекательная работа, которую я не оставлял во время пути. Мои матросы, перепуганные слишком частым и неприятным огнём пулемётов, пули которых скакали по палубе, по волнам кругом и дырявили парус, ответили малым загипом Петра Великого. Я мог воочию убедиться, насколько живое слово может быть сильнее машины: пулемёт сразу поперхнулся и остановился. Это факт не единичный: сколько я слышал рассказов о том, как людям, которых вели на расстрел, удавалось «отругаться» от матросов и спасти себе этим жизнь. Нас перестали обстреливать, дали поднять красн[ый] флаг и, узнав, что мы из Одессы, приняли с распростёртыми объятиями. На берегу моря стоял дом Воронцовых с выбитыми рамами, развороченными комнатами, сорванными гардинами.

Нас прежде всего покормили, а потом в сумерках подали нам великолепную коляску (до Евпатории было 120 верст) и помчали нас через евпаторийский плоский п[олуостр]ов по белым дорогам,



мимо разграбленных и опустелых мест. Иногда останавливались менять лошадей – и тогда мы попадали в обстановку деревенского хозяйства на несколько минут. И снова начинался ровный и однообразный бег крепких лошадей по лунным степям.

На рассвете показались крыши, купола и минареты Евпатории, а на рейде мачты кораблей, не могущих выйти в открытое море. Мы въехали в город. Сперва явились в прифронттовую Чрез[вычайную] Комиссию, где нам дали ордена на комнаты в хан³. Это был типичный крымский постоялый двор – четырёхугольник, окружённый круговым балконом, по которому шли номера. В одном номере поместились три наших матроса, а в соседнем мы с Татидой.

У матросов, как только мы приехали, началось капуанское «растление нравов». На столе появилось вино, хлеб, сало, гитара, гармоника, две барышни. «Товарищ Волошин, пожалуйста к нам». Было ясно, что они решили отпраздновать «благополучное завершение» опасного перехода. Ночью всё успокоилось. И среди тишины раздался громкий, резкий, начальственный стук в дверь. Ответило невнятное мычание. «Отворите, товарищи. Стучит Прифронттовая Чрезвычайная Комиссия. Разве вы, товарищи, не знаете последнего приказа: в Крыму по случаю осадного положения запрещено спать с бабами». В ответ послышалось дикое и непокорное рычание:

– Мы сами служащие одесского ЧК, и никакого такого приказа мы в Одессе не знаем.

Тем не менее три барышни были из номеров матросов извлечены и переведены в комнату ЧК, что и требовалось доказать. Снова всё успокоилось.

На следующий день я отправился в город. Город не имел никаких сношений с остальным Крымом: морем нельзя было выйти из порта – на рейде сторожил франц[узский] флот. Железная дорога бездействовала: паровозов не было. Мне захотелось есть, и я зашёл в один из ещё не закрытых ресторанов. Там рядом с нами за соседним столиком сидела семья. Её глава, толстый господин в усах и в каскетке, так пристально приглядывался ко мне, что я обратил на них внимание. Дама, пожилая, полная, была прилично одета. Дети – мальчик и девочка – были вполне «дети хорошей семьи», с ними сидела сухопарая девица, имевшая вид гувернантки. Его самого я определил по виду как «недорезанного буржуа». Он подозвал мальчика, что-то прошептал ему, и мальчик направился ко мне и спросил: «Скажите, вы не Максимилиан Волошин? Папа послал узнать».

Я подошёл к соседнему столику. «Вы меня знаете? Где мы встречались?» – «А я был у Вас в Коктебеле несколько лет назад. Я к Вам заезжал из Судака по рекомендации Герцык. Мы с Вами полночи просидели, беседуя в вашей мастерской. Вы мне показывали ваши рисунки. Я был тогда ещё в почтовой форме». Мы с ним дружески побеседовали, но я так и не вспомнил его. Он попросил меня зайти к нему. На следующий день, бродя по городу, я встретил барышню, которая имела вид гувернантки. Я спросил её о вчерашних знакомцах. «Они сейчас у себя». – «А где они живут?» – «Их вагон стоит на путях, возле вокзала». – «Почему же он живёт в вагоне?» – «Он всегда в собственном вагоне». – «А, в собственном вагоне? Почему же он в собственном вагоне? Разве он сейчас какая-нибудь важная птица?» – «Как же, они командующий 13-й армией». – «А как же его фамилия?» – «NN⁴». Я сейчас же отправился на вокзал. Спросил вагон NN и полчаса спустя снова сидел у NN. Он меня сперва расспросил о моей судьбе. Я ему рассказал подробно об Одессе, о нашем путешествии, о матросах, о нашем затруднении выехать дальше. ... Он сказал тотчас же: «Я сию минуту телеграфирую Дыбенке, чтобы от них прислали нам паровоз. И завтра сам отвезу Вас до Симферополя. Будьте здесь на вокзале с матросами завтра в 4 часа».

Вернувшись в хан, я сказал матросам, как нам повезло и что завтра в 4 часа я их повезу дальше. Таким образом, роли наши переменялись. Раньше они меня везли, а теперь я их. Уважению их и преданности не было конца. Это сказало в отношении к моему багажу. До сих пор я сам, с трудом и напряжением, тащил мои чемоданы, – теперь матросы сами наперебой хватили их и даже подрались из-за того, кто понесёт.

Я всегда с недоверием читал рассказ Светония о Цезаре в плену у тевтонов. Теперь я убедился, что Светоний несколько не преувеличил. <...>

¹ Л.П. Гроссман.

² Пропуск в тексте рукописи.

³ Хан (*турк.*) – постоялый двор.

⁴ Иннокентий Серафимович Кожевников, командующий группой войск Донецкого направления весной 1919 г.

НАТАЛЬЯ ДЗУЦЕВА

г. Иваново

М.А. ВОЛОШИН-КРИТИК О ФЕНОМЕНЕ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕАТРА

статья

Ореол «русского парижанина», с которым М. Волошин вошёл в круг российской художественной элиты¹, сопровождал его долгое время, и не будет преувеличением сказать, что сама творческая личность Волошина впитала в себя утончённый строй культуры Франции, её атмосферу, её особые, неповторимые формы. «Эта страна, – пишет один из самых глубоких и аналитичных исследователей творчества Волошина А.В. Лавров, – ощущалась им как подлинная родина и при осознании критериев, которыми определялась культуросозидательная деятельность»².

Обращение к французской культуре – живописи, литературе, драматургии – в сборнике критико-эссеистских работ М.А. Волошина «Лики творчества» (1914), представлено ярко и широко. Один из разделов книги под названием «Лица и маски» целиком посвящён проблеме французского театра в его разнообразных аспектах: сюда входят статьи «Организм театра», «Французский и русский театр», «Современный французский театр». Последняя из них является наиболее объёмной и, в свою очередь, содержит несколько разделов: «Основные течения», «Драматурги и толпа», «Театральные трафареты», «Новые течения». Уже сами эти названия дают представление о том, насколько живо и глубоко Волошин погружён в атмосферу французской театральной жизни, в проблемы французского театра, его эстетики и художественной практики. В основе критико-эссеистских размышлений Волошина – его театральные впечатления от парижской сцены, которыми он делился с читателями на страницах «Ежегодника императорских театров» 1910 года. В «Лики творчества» они вошли в исправленном виде, но основное содержание оставалось неизменным, и оно позволяет утверждать, что Волошин выступает здесь как истинный знаток французского театра и разборчивый ценитель парижской сцены. Но главное, в этих статьях Волошин обнаруживает глубокое и тонкое понимание особенностей французской драматургии как социокультурного феномена, что позволяет ему выйти за пределы локального анализа к пониманию универсальных законов сцены, с одной стороны, и к осмыслению зависимости театра и от запросов зрительской аудитории, и от эстетических потребностей эпохи, с другой.

Картина современной театральной жизни Франции, представленная серией статей «Лица и маски», является концептуально выстроенной и фактологически насыщенной, что вызвано, в первую очередь, стремлением автора создать объективно-целостный фон для своих размышлений о современной французской театральной культуре. Естественно, он не мог не обращаться здесь непосредственно к материалу театральных постановок – классической и современной французской драматургии, – с тем, чтобы понять и определить её основные тенденции в связи с историей и спецификой французского театра и театра вообще. То, что А.В. Лавров констатирует как смыслопорождающий фактор волошинского письма, вполне справедливо отнести и к заметкам о французском театре: «Определённо французский генотип прослеживается и в таких особенностях творческого мышления и стиля Волошина, как стремление к объективированной прояснённости и красочной выразительности, свобода фантазии (но в союзе с логикой!), любовь к парадоксам, позволяющим увидеть в новом ракурсе то или иное устоявшееся явление или проблему»³.

Говоря о французском театре, Волошин широко привлекает материал французской театральной критики, что у комментаторов цикла статей «Лики и маски» создаёт впечатление «реферативности» этих текстов. Можно согласиться с тем, что именно объективности взгляда и мысли пытается добиться Волошин, избегая «пренебрежительно-иронического тона и каких бы то ни было “качественных” оценок»⁴. Однако нельзя не заметить, что не только непосредственная реакция на жизнь парижской сцены владеет автором этих статей. Волошина-критика интересуют многие факторы французской театральной культуры – темы и персонажи драматургических произведений, способы изображения жизни, отношения с традицией и многое другое, так что его собственное видение предмета, конечно, не могло не влиять на характеристику отдельных реалий и освещение картины в целом. Более того, именно в цикле статей «Лица и маски» Волошин, на наш взгляд, выходит за пределы собственно критических оценок. Он затрагивает темы общэстетического характера, решая на материале своих впечатлений от парижских театральных постановок эпохальную проблематику современной культуры, – ведь именно драматургия и театр рубежа веков, как показывают современные исследования, «стали ярчайшим показателем, лакмусовой бумажкой, высвечивающей эстетические параметры эпохи»⁵.

Проблемы, которые высвечивают «Лики и маски», обращены к выяснению специфики французского театра, обусловленной его историческими корнями. Опираясь на свидетельства французской театральной критики полувекового периода, Волошин констатирует «положительное и неуклонное процветание французского театра», при этом подчёркивая, однако, чрезвычайно существенную мысль

о том, что «речь идёт не о вершинах искусства, не о цветении творчества, а о массовой совокупности художественного производства, т.е. о ремесленных основах мастерства»⁶. Заметим, что, по мысли Волошина, это отнюдь не негативный фактор: «мы имеем дело с питательной подпочвой искусства, благоприятной для самых великих произведений» (127).

В «Лицах и масках» ещё не раз можно встретить подобные парадоксальные суждения Волошина, и это не случайно. Как считает С.Н. Бунина, он «должен был вырабатывать оригинальное мнение по всем вопросам, чтобы не затеряться между литературными течениями Франции и России»⁷. Но важно понять и другие, глубоко внутренние, творческие интенции концептуальных суждений Волошина: «заострённые до парадокса параллели и аргументы помогали поэту и критику сохранять свежесть и непосредственность восприятия и в то же время <...> выходить за пределы житейской рациональной описательности, ощущать скрытые биения бытия и сознания и претворять их в новый образ действительности»⁸.

Именно в этом контексте в критико-эстетическом сознании Волошина формируется концепция «среднего искусства», располагающегося между «высоким» и «низким». «Средняя литература есть тот канонический фундамент, на котором может укрепиться и стать твёрдой ногой индивидуальность», — считает он (128). Это, по мысли Волошина, и даёт возможность для «ясного понимания и справедливой оценки той органической основы французского театра, беспристрастное отношение к которой мало доступно самим французам», и поэтому «именно средний французский театр <...> может быть особенно поучителен и интересен для нас», — считает он (131).

В чём же заключается этот поучительный интерес?

Попытаемся воспроизвести логику мысли Волошина. Воссоздавая картину истории французской драматургии, М. Волошин выделяет в ней основные течения. В первую очередь это театр «романтический и сентиментальный», начавшийся драмами В. Гюго, затем сделавший «шаг к реализму» в творчестве Дюма-отца и нашедший свой конец в драматургии Дюма-сына. Далее на сцену выступает драма, психологическая по преимуществу, строящаяся «на остром анализе современной души».

Однако констатация эволюционного движения «pièces à thèse» («проблемной пьесы») не является для Волошина самоцелью: на этом материале он выводит основную, принципиальную особенность именно французского театра. «Французский театр, — пишет он, — явление крайне сложное и основанное на встрече и равновесии стремлений актёра, поэта и зрителя» (135). Поэтому все обозначенные пьесы, «построенные с мастерской логикой католической проповеди и адвокатской речи, превращённой в диалог действующих лиц, сами по себе не могли бы иметь художественного значения, если бы они не были связаны с законченным и совершенным организмом французской сцены, с творческим исканием французского актёра и с насущными потребностями зрительной залы» (135).

Отсюда парадоксальный вывод Волошина о том, что «пьесы, отмеченные наиболее полным и глубоким успехом, сами по себе могут не иметь литературного значения» (136). В связи с этим он использует проскальзывающее во французской театральной критике сравнение современной пьесы с «ловко сшитым платьем»: исходя из коренной специфики французской сцены, считает Волошин, в этом нет «ничего оскорбительного, ничего противоестественного для искусства» (136). Более того, в разделе «Драматургия и толпа» он пишет: «Французский театр с этой точки зрения имеет вид дешёвого базара общедоступных идеалов. В этом сравнении нет ничего унижительного, если подходить к театру не с требованиями вечного искусства, а рассматривая его как характеристику морально-эстетических потребностей общества» (141).

Таким образом, в отношении Волошина-критика к французской драматургии на первый план выходит критерий, совершенно не мыслимый по канонам классической эстетики: «В распоряжении любого драматурга находятся сотни готовых масок, уже засвидетельствованных и одобренных публикой. Их нужно уметь подобрать и скомбинировать. <...> Эти маски многочисленны и милы большой публике» (148). Одним из самых устойчивых «театральных трафаретов» Волошин называет резонёра, который «царил в театре Дюма-сына», но, по словам цитируемого Волошиным французского критика, «тип резонёра не имеет больше прав на существование в литературе нашей эпохи» (151). Зато «ходким трафаретом современного театра» Волошин называет «национальные маски» — типы англичанина, американца, еврея, за которыми закреплены определённые устойчивые характеристики. Наряду с ними возникает маска «честного человека» («старый друг», «домашний доктор», кюре), впрочем, ко времени волошинских впечатлений достаточно скомпрометированная в силу своей очевидной условности. В качестве «честного человека» в современной французской пьесе сообразно духу времени появляется «добродетельный инженер», «символ нового класса общества», настолько любимый «наивной, невежественной и очень ослеплённой чудесами текущих открытий» новой буржуазной публикой, что «театр его окончательно присвоил себе и дал ему, естественно, лучшую роль — первого любовника». «В настоящее время, — иронически замечает Волошин, — ему делает конкуренцию путешественник и исследователь новых стран. Это тоже один из идеалов национальной энергии и героев воли». Кроме «мужских» масок на французской сцене появляются и «женские»: так балаганные стереотипы «роковой женщины», «тёщи», «женщины с темпераментом» потеснила «единственная женская специализация, созданная театром последних лет, которой предстоит ещё будущее, это «мятежница», которая протестует против косности родителей или узости мужа».

Просматривая реквизит средств, «приятных публике и удобных для драматургов», Волошин пытается истолковать, каковы их внутренний смысл и оправдание. Понимание им этого «зрелища для

большой публики» как современного ярмарочного театра типологически близко комедии dell' arte⁹. Именно здесь кроется то смысловое содержание проблемы «среднего искусства», которое автор «Ликов творчества» обозначает в серии своих статей, посвящённых современной французской драматургии. Можно предположить, что феномен «среднего искусства», по мысли М. Волошина, являет собой своего рода аналог той исторической формы существования театра, истоки которой уходят в глубь веков и которая связана с общедоступностью провозглашаемых театром истин, выступающих в качестве некоего объединительного начала для широкой зрительской аудитории. Как показывают специальные исследования, ещё в XVI веке во Франции «выступления итальянских «масок» <...> стали единственным родом развлечений, в любви к которым «верхи» объединялись с «чернью»¹⁰.

В культурной ситуации начала XX века эта исконная тенденция сценического действия перерастала в проблему, связанную с формированием феномена массовой культуры, ставшей доминирующим началом в искусстве в течение всего столетия. Во Франции эта тенденция совпала, как показывают размышления Волошина, с национальной спецификой театрального искусства, с глубинной исторической традицией французской сцены. Не случайно он ссылается на «дивный и опасный анекдот» о Мольере, читающем свои пьесы служанке, избрав её в качестве «неумолимого критика» (145).

Наблюдения Волошина над жизнью парижских театров, переходящие в критико-эстетические суждения о феномене «среднего искусства», предвосхищают чрезвычайно важный комплекс проблем, которые позже станут предметом научного анализа в историко-литературных и теоретико-эстетических изысканиях. Ю.М. Лотман в своей работе «Массовая литература как историко-культурная проблема» связывает заострение интереса к массовой литературе с работами советских литературоведов 1920-х гг., в первую очередь В.Б. Шкловского, Б.М. Эйхенбаума и Ю.Н. Тынянова. «С одной стороны, массовая литература интересовала этих исследователей, поскольку именно в ней с наибольшей полнотой выявляются средние литературные нормы эпохи. С другой стороны, — и на этом настаивал Ю.Н. Тынянов — в неканонизированных, находящихся за пределами узаконенной литературными нормами эпохи произведениях литература черпает резервные средства для новаторских решений будущих эпох»¹¹, — пишет он. Драматургический материал французской сцены, о котором говорит Волошин, действительно, с наибольшей полнотой выявлял «средние литературные нормы эпохи», но, в то же время, французская драматургия не выходила за рамки общепринятого литературного канона, а тиражировала его, снижая до запросов широкой зрительской аудитории, которая «узнавала» в «графаретах» и «масках», используемых «ловкими драматургами», общепринятые вкусы и нормы. Таким образом, именно «среднее искусство», по Волошину, лежит в основе непрекращающегося «цветения» французского театра, его бодрой активности.

На этом фоне Волошин констатирует неуспех тех театральных новаций, которые разрушали традиционный консерватизм французской сцены. Говоря о новых течениях в современной французской драматургии, Волошин отделяет их от сочинений тех драматургов, которые «творят театр не из жизни, а из предрассудков своей публики» (156), и, в связи с этим, пытается объяснить трудную судьбу театральных новшеств во Франции. «Французская сцена, основанная на вековых традициях, с большим трудом допускает изменения в своём строе и оказывает глубокое, страстное, органическое сопротивление каждому новшеству», — пишет он, добавляя, что «это сопротивление свидетельствует не о косности театра, а только о предшествующей эволюции и о серьёзных исторических традициях» (156). Несмотря на это, — констатирует Волошин, — в современном французском театре произошла большая перемена: «Поворот в сторону реализма сопровождался со стороны драматургов большим обострением анализа жизни, а со стороны режиссёров — введением новых приёмов и отчасти изменением общих тенденций сцены» (157).

Однако это направление, представленное Свободным театром, возглавляемым Андрэ Антуаном¹², в целом не находит поддержки у Волошина. «Это была подлинная революция и как таковая отличалась силой, грубостью и крайностями», — пишет он. Становясь на сторону защитников «здорового консерватизма» французской сцены, Волошин выступает «против натуралистических принципов, апостолом которых во Франции был Антуан».

В связи с этим интересно заметить, что, говоря о «среднем драматургическом вкусе современной Франции», Волошин указывает на «другой полюс» театрального искусства — современный российский театр, который, по его словам, «находится в периоде полной революции: всё разрушается, всё перестраивается, всё находится в движении и всё под сомнением, как у публики, так и у драматургов»¹³. В противовес этому, — пишет Волошин, — «французская сцена — диаметрально противоположность нашей. Она не колыбель, а прокрустово ложе, которое заставляет авторов подчиняться своей мерке и своим законам» (130).

Действительно, русская сцена начала XX века демонстрировала полную непригодность для неё французского театрального опыта. Ю.В. Бабичева в своём исследовании, посвящённом «новой драме», приводит характерные свидетельства проявившихся в это время попыток освободить русскую сцену от «засилья» литературы: «чем меньше литературных достоинств будет у такой «драмы», тем лучше»¹⁴. Однако эти голоса остались неслышанными в культурном пространстве эпохи: «канон «хорошо сделанной», репертуарной, но литературно незначительной драмы» на русской почве не прижился. Новые тенденции русского театра обнаруживали стремление «проникнуть в глубину человеческого сознания, освоить конфликты, происходящие «в кулисах души человеческой»¹⁵.

Как тонко и точно это почувствовал Волошин! В статье «Французский и русский театр» он говорит о природном национальном свойстве французов: «Французы не стыдятся обнажать своё тело, но в них заложен непреодолимый стыд обнажения духа, который мы никогда до конца даже и понять не сможем» (122). Настаивая на национальной специфике французского театра, выражающего черты «галльского» менталитета («свобода нравов и несвобода нравственности»), Волошин пишет: «Так нужно принять французский театр: он не сходит ни в какие тайники человеческого духа в поисках за жуткими тайнами, он отражает и творит только новые одежды для жизни и новые маски для духа» (124).

«Французские модные пьесы, с такой беспримерной ловкостью создаваемые французскими драматургами, являются изысканными и прихотливыми цветами, которые могут цвести только в данной, а не иной точке земного шара» (120). Эти слова Волошина лишены всякой иронии. В них апофеоз идеи «среднего искусства», столь ярко выраженной в феномене французского театра, обращённого прежде всего к *своему* зрителю. Вообще в драматическом искусстве зрителю Волошин отводит определяющую роль: «театр осуществляется не на сцене, а в душе зрителя», и «главным художником и творцом в театре является зритель» (113). Именно поэтому, считает Волошин, не следует смешивать драматическую литературу и собственно театр, который осуществляется в зрительском сознании: «Читая тексты Шекспира и Эсхила, мы имеем дело с чистой литературой и совершенно не можем ещё судить, сколько в этой литературе было “театра”» (с. 116).

Как видим, Волошин в серии своих статей, объединённых в цикл «Лики и маски», далеко выходит за жанровые рамки корреспонденции о состоянии французского театра: чрезвычайно важная и глубокая мысль о расхождении/сближении литературного материала и собственно театрального организма имеет дальнюю перспективу и заслуживает специального разговора.

Подводя итоги своего аналитического обзора, М. Волошин оценивает современный французский театр как живое, подвижное в своих контактах с широкой публикой явление, в чём, собственно, и состоит «поучительность» этого феномена. Волошина не страшат такие его проявления как «трафареты» и «маски», затребованные «толпой» и используемые ловкими драматургами: «зоркость и едкость драматической критики, обличающей их, <...> гарантирует их недолгое существование», – считает он. Именно живая востребованность театра как неотменимое условие насущности культурного творчества убеждает читателя «Ликов творчества» в том, что современный французский театр, «несмотря на все вековые условности, которыми обставлен, связан живыми корнями наблюдения и анализа с текущей общественной жизнью Франции и в каждый момент воссоздаёт на сцене правдивое преобразование действительности» (163).

Вряд ли будет преувеличением сказать, что Волошин одним из первых вышел к осознанию проблемы «среднего искусства» как специфического выражения нового статуса культуры XX века. Его взгляд на драматургию современной Франции подтверждает мысль Ю.М. Лотмана о том, что «массовая литература возникает в обществе, имеющем уже традицию сложной “высокой” культуры нового времени, и на основе этой традиции», что это «гот средний, упрощённый образ культуры, который создаётся в результате отражения её норм в сознании массового потребителя». Надо заметить, что учёный считает необходимым различать «массовую литературу» как историко-литературное понятие и феномен «массовой культуры» как явление социокультурного порядка. Однако в свете рассматриваемой нами проблемы становится очевидной близость этих понятий: французская драматургия, о которой ведёт речь Волошин, несёт на себе определённые черты «массовой литературы», тогда как французский театр, благодаря своей укоренившейся национальной специфике, обращённой на массового зрителя, являл собой начальные формы «массовой культуры», не подвергшейся ещё тогда тотальной идеологизации. Конечно, эти категории присутствуют в размышлениях Волошина не в чистом виде, однако та модель массового творчества, которую выстраивает Ю.М. Лотман, вполне соотносится с идеей «среднего искусства», развиваемой Волошиным. Как показывает Ю.М. Лотман, искусство такого рода заслуживает пристального интереса и изучения, т.к. здесь «мы получаем ту упрощённую, сведённую к средним нормам картину литературы эпохи, на основании которой легче всего строить средние исследовательские модели вкуса, читательских представлений и литературных норм», а «знание этих представлений и норм жизненно необходимо для понимания “высоких” достижений искусства»¹⁶.

¹ См. об этом в мемуарах Андрея Белого «Начало века», где дан выразительный портрет М. Волошина как «русского парижанина» // Белый Андрей. Начало века. М., 1990. С. 250-252.

² Лавров А.В. Русские символисты: этюды и разыскания. М., 2007. С. 251.

³ Лавров А.В. Указ. соч. С. 251-252.

⁴ Купченко В., Мануйлов В., Рыкова Н. М.А. Волошин – литературный критик и его книга «Лики творчества». // Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 582.

⁵ Страшкова О. Новая драма как артефакт Серебряного века. Ставрополь, 2006. С. 114.

⁶ Волошин Максимилиан. Лики творчества. Изд. подготовили В.А. Мануйлов, В.П. Купченко, А.В. Лавров. Л., 1988. С. 126. Здесь и далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках.

⁷ Буннина С.Н. Поэты маргинального сознания в русской литературе начала XX века (М. Волошин, Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева). М., 2005. С.32.



⁸ Лавров А.В. Указ. соч. С. 252.

⁹ Купченко В., Мануйлов В., Рыкова Н. М.А. Указ. соч. С. 582.

¹⁰ Хамаза Е. Французский театр: от Средневековья к Новому времени. Образ мира и человека во французском драматическом театре XVI – первой трети XVII века. СПб., 2003. С. 21.

¹¹ Лотман Ю.М. Массовая литература как историко-культурная проблема? // Лотман Ю.М. О русской литературе: Статьи и исследования. СПб., 1997. С. 818.

¹² О новациях А. Ангуана см.: Бачелис Т. И. Эволюция сценического пространства (от Ангуана до Крэга) / Западное искусство. XX век. М., «Наука», 1978. С. 148-213.

¹³ О. Страшкова отмечает, что «каждый драматург, как и каждый художник слова этой грандиозной эпохи эстетических преобразований, считал себя создателем некоей новой формы, разрушающей прежнюю – аристотелевскую. . . . Каждый считал себя творцом “новой драмы”, основанной на воплощении новых творческих тенденций эпохи» // Страшкова О.К. Указ соч. С. 174-175.

¹⁴ Бабичева Ю. Эволюция жанров русской драмы XIX – начала XX века. Вологда, 1982. С. 42.

¹⁵ Там же. С. 44.

¹⁶ Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 820.

«ШКАФ»

ВЯЧЕСЛАВ ОКЕАНСКИЙ

ЖАННА ОКЕАНСКАЯ

г. Иваново

Печатается к 145-летию со дня рождения К.Д. Бальмонта

ЗЫБЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ БАЛЬМОНТА

Зыбь – состояние, противоположное основе, без-основность, бездна. В зыби шаткость нивелирует всякую опору, закреплённость и крепость. В ней поднимаются силы ночи и непроглядной тьмы, объемлющие контуры дня и вкрадывающиеся тенями в его освещённые галереи. И зыбко само существование света во тьме... Зыбь отдаёт утренней ранью существования, когда последнее ещё не вошло в стадию кристаллизации, ещё не успело окаменеть и не встало в полный рост – но эта рань становления, его перво-родный трепет незримо обволакивает и всё ставшее, а потому зыбь не менее мук рождения сопровождает и боль ухода, его непонятность и невосполнимость. Можно говорить о радикальной антисофийности зыби, подразумевая под этим чудовищное прорастание космизированного низа – процесс, метафизически обратный сверхкосмической теофании.

Сложилось так, что поэтов Нового времени с их лёгкого пера («Поэта – с Небом разговор», IV, 33¹) почитают вестниками неба. По этому поводу Нестор Котляревский в начале XX века отмечал, что в текущую эпоху «строительства вавилонских башен... поэт был о себе очень высокого мнения» и «приравнял себя к ясновидящему»: «Он посредник между людьми и Божеством. Цельный ряд литературных направлений в XIX веке окрашен такой гордой самооценкой поэта»². Не вызывает сомнения и тот факт, что подобная ураническая автодиагностика была инерционным романтическим заполнением опустошающегося архетипа предшествовавшей традиционной культуры: философско-элегическая лирика занимала место молитвенно-гимнической поэзии, подчас срастаясь с ней. Однако же, если место последней, как показывают стихиры святителей Василия Великого и Иоанна Златоустого – в круге церков-

но-литургических богослужений, в плаче обращённых к молитвенному взысканию небесного града, то поэтический топос Нового времени не просто уверенно поконит на земле, но, говоря словами А. Блока – «вырос... на почве болотной и зыбкой», и представляет собою «за городом... пустынный квартал», «обитатели» которого «встречают друг друга надменной улыбкой»³.

Здесь роль Бальмонта – совершенно особая, ибо он принадлежал к тем одиноким натурам, кто понял умом и в глубине сердца пережил всю тщету социализированной современности и, подобно Шопенгауэру и Ницше, воспел метафизическое «проклятие человекам дней последних». Поэт – на крыльях Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета – исходно устремился к стихиям хаосмоса... Наша гипотеза состоит в том объяснении бальмонтовской «всемирности», что она при характерной «всеотзывчивости», стоит на стыке двух культурно-цивилизационных миров – умирающего Запада и ещё не родившегося Неовостока, восходящего над пропастью умерших культурно-исторических востоков; иными словами – агонизирующего мира западноевропейского (включая российско-петровский) и мира «метаславянского», «русско-сибирского», «евразийского», «акваториально-пацифического», «неомагического», однозначно не названного ещё...

Освальд Шпенглер в небольшой статье 1923 года «Философия лирики» проникновенно отмечал, что «в начале и в конце определённой культуры возникают великая лирика, песнь человеческой весны и осени, взлёт из тёмной древности и погружение в пустую цивилизацию, взгляд в многообещающее будущее и другой взгляд назад, в безвозвратно утерянное. Ещё раз погружается эта поздняя, измученная, изломанная душа в магию бесконечного пространства, но нет невин-

ности тех ранних дней. Нет больше ничего произвольного, само собой понятного, нет общей вибрации всего народа: посреди бесформенной и бездушной массы появляется ещё лишь одинокий поэт, одинокий ценитель...»⁴. Пожалуй, мы имеем здесь ещё один герменевтический ключ к восприятию феномена Бальмонта: причём, что особенно интересно – не только в рисуемом эсхатологическом варианте экзистенциального одиночества, но и в чаемой самим же Шпенглером во втором томе его «Заката Европы» космогонической возможности «прароссии», будущее которого – во мгле третьего тысячелетия...

Бальмонт оказывается как бы в космическом разломе двух эпох – назовём их в шпенглеровском стиле: фаустовской и неомагической – и здесь он собирает свой мир большей частью из осколочных и плазменных состояний. Идеациональное «Новое Средневековье», о котором писали Н.А. Бердяев и отец Сергей Булгаков, отец Павел Флоренский и П.А. Сорокин – в далёком будущем, в мглистой глубине третьего тысячелетия; реальность же культурно-исторического времени, определившего судьбу, биографию и сам поэтический мир Бальмонта, предстала цепью глобальных катастроф, причём, не просто внешнего (экономического, социального, политического) характера, но – проходящих прежде всего на антропологическом уровне.

Частые образы непроходимой всемирной зыби оказываются акцентно доминирующими в поэтическом мировидении Бальмонта, определяемом его аксиоматической солиаристикой, лишь на первый стереотипный и поверхностный взгляд – на самом же деле это символически насыщенные феномены нижнего мира, интегрированные в некий тоталитет *фундаментально повреждённого мироздания*: «болота» (I, 28, 57), «духи чумы» (I, 46), «тьма» и «бездна вод» (I, 47), «дрожащие ступени», «уходящие тени потускневшего дня» (I, 56), «трепетание звёзд», «догорающие тучки немой печали» (I, 58), «быстротечный миг» и «полуугасший день», который «обнялся с Океаном» (I, 59), «болотная глушь», «блуждающий свет», «запах тины», «ползущая сырость», «трясина», которая «заманит, сожмёт, засосёт», «погибшая душа», «тоскливо, бесшумно, шуршащие камыши» (I, 59), «безмолвие угрюмой темноты», «ни проблеска, ни звука, ни привета», «зыбь морей», «трупы и обломки кораблей» (I, 60), «спящее болото» (I, 61), «Океан туманный» и «угрюмый», в котором «надежды нет» (I, 64 – 65), «ненаходимость Страны Обетованной», «мертвенно-бледная Луна» (I, 65), «пучина морская», «пещера угрюмая» (I, 67), «жизнь смутная», «скорби гнёт», «тоска», «мертвенный покой», «море отчаянья», «тёмная бездна мученья» (I, 69), «призраки», «ровный бледный блеск Луны» (I, 70), «дух ветров» (I, 72), «глухой сердитый шум взволнованного моря», «угрюмый свод Небес», «разрушение грани Земли», «жадная бездна», покушающаяся «возвратиться в мир надзвездный» (I, 74), «безжизненно-тёмного морского дна безмолвные упрёки», «мертвенно-глубокие пучины Моря» (I, 75), «дрожащие

туманы на мёртвую травой» (I, 78), «корабли, тонущие во мгле немого Океана» (I, 84), лирический герой признаётся: «Я схвачен, унесён, лежу на дне морском. / Я в Море утонул. Теперь моя стихия – Холодная вода, безмолвие, и мгла. Вокруг меня кишат чудовища морские. / Постелью служит мне подводная скала, / Подводные цветы цветут без аромата. И к звёздам нет пути, и к Солнцу нет возврата» (I, 91), это и – «недра тёмной бездны», «крик бессильный в мир надзвездный», «Богохуленья ропот бесполезный», «Слова упрёка, от детей к отцу», «закон железный вечных мук» (I, 111), «воздух мёртвый, над мёртвым царством распростёртый» (I, 117), гностический «бездонный колодец» как путь созерцания «звёзд в Лазури» (I, 120 – 121), «влажная крутящаяся пыль», «клубление густых туманов», «кружение зловещих птиц под sklepом пустынных Небес» (I, 131), «пустыня полусонная умирающих морей» (I, 139), лирический герой начинает свою «Морскую песню» словами: «Всё, что мы любим, всё мы кинем, / Каждый миг для нас другой...» (I, 146) – а заканчивает: «Мы потонем в Красоте, / Мы сольёмся с синим Морем / И на дне, / В полусне, / Будем грезить о волне» (I, 147), это и – «лазурь непонятная, немая, безбрежная» (I, 161), «зарница неверная», «цветы нерасцветшие», «волнение безвольное», «Море бессонное, как сон – беспредельное» (I, 162), лирический герой говорит о себе: «Я брат холодной равнины морской» (I, 185), «О, волны морские, родная стихия моя» (I, 186), это и – «зыбкий полусон» (I, 214), «зыбкие и странные проблески огня» (I, 220), «тучи зыбкие на небе голубом» (I, 238), «зыбкие отсветы бледных лампад» (I, 250), «бездна жутко-незнакомая» (I, 265), «жизнь – трепетание Моря под властью Луны» (I, 299), «вкрадчивая зыбкая волна» (I, 337), «зыбкий взор» (I, 385), «зыбь глубоких глаз твоих» (I, 386), «дрожащая зыбь вод» (I, 405), «Время зыбко. Берегись!» (I, 431), «куда ни глянешь – зыбкая вода» (I, 479).

Это и – «песчаные зыби» (II, 11), «зыби зрачков», «многозыблемость слов», «неверная зыбь глубины», «зыбкие мерцания снов» (II, 19), «зыбкий намёк» (II, 24), «так светло и зыбко», «сказка зыбью дойдёт с глубины» (II, 38), «зыбь волны» (II, 82), «нить зыбкоцветных жемчужин» (II, 118), «строки с напевностью зыбкой» (II, 127), «светлая зыбь дней» (II, 128), «танец зыбкий» (II, 131), «пенная зыбь» (II, 140), «зыблещиеся намёки» (II, 141), «зыблемый звон» (II, 142), лирический герой говорит о себе, подразумевая движение к Раю: «зыбко я иду» (II, 152), «зыбкие огоньки» (II, 172), «зыбкая волна» (II, 188), «безмерные зыби», «мечтанье на зыбях различных качает», «зыбится вал» (II, 194), «зыбкий дух» (II, 196), «зыби Океана» (II, 203), «нежно-зыбкое воздушное руно» (II, 204), «непрочность, зыбкость, мгновенность» (II, 206), «сон мгновенно зыбок» (II, 214), «зыбится вечно игра» (II, 219), «зыблется вниз паутинки» (II, 258), «зыби глубинные» (II, 349).

Это и – очень странные образы непроходимости: «Мир далёкий пылен весь» (III, 18); с одной стороны, открываются «силы живые небес-



ных зыбей» (Ш, 91), но, с другой, обнажается и морок «угомления солнцем» – антисолярность движения «Через столетия столетий»:

*Камень. Бронза. Железо. Холодная сталь.
Утро. Полдень звенящий. Закатность. Печаль.*

*Солнце. Пьяные Солнцем. Их спутанный
фронт.*

Камнем первый повержен был ниц мастодонт.

*Солнце. Воины Солнца и дети Луны.
Бронза в бронзу. И смерть. И восторг тишины.*

*Солнце. Ржавчина солнца. Убить и убить.
Воду ржавую пьют, и ещё будут пить.*

*Солнце тонет в крови. Мглой окована даль.
Камень был. Бронзы нет. Есть железо и сталь.*

*Сталь поёт. Ум, узнав, неспособен забыть.
Воду мёртвую пьют, и ещё будут пить.
(Ш, 204 – 205)*

Это и – «непобедимое отчаянье покоя», «неустранимое виденье мёртвых скал», «Всемирность, собой же уstraшённая», «в беспредельности, в лазурности бездонной, неумолимая жестокая Луна» (Ш, 213), «Весь мир – печаль застывшей бледной сказки» (Ш, 214), «небесные пустыни» (Ш, 221), «дымящихся светильников небесные огни» (Ш, 222), образ мира-пустыни: «безбрежна пустынная даль... под тройственным светом Небес» (Ш, 227-228), где «океаном – Беда» (Ш, 247), «под Небом бездным» (Ш, 273), «Всецельность превратилась в Топь» (Ш, 289), «Зыбь течения в Океане мировом» (Ш, 294), «и взрывность рухнет на Солнце» (Ш, 308), «Пустынности дрожит звуковое свечение», «вечно, пока человек, я только оборванный стих» (Ш, 343), «Живут создания так из облачного дыма, / Так в ветре млеет зыбь весеннего листа, / Так Млечный Путь для нас горит неисследимо» (Ш, 357), автор признаётся: «я верю солнцеликому обману» (Ш, 372), «зыбкие созвездия мгновенья» (Ш, 382), «трепет жизни огневой» (Ш, 384), «в Океане всешумящем бьют валы» (Ш, 390), «в океане, где пляшет волна» (Ш, 392), «скользят вампиры, роняя тень» (Ш, 400), «имя – облик, имя – жало» (Ш, 403), «водная зыбь» (Ш, 430) «перекатная зыбь перезвона» (Ш, 469), «зыбкий сон» (Ш, 472), «огневой водоворот» (Ш, 492), «Млечный Путь течёт» (Ш, 500), «скреплённая размеченность орбит» в космосе «будет некогда расплавлена», «как двинет Бог все звёзды в путь» (Ш, 507 – 508).

Признавая «Над зыбью Незыблемое» (IV, 26), автор более акцентирует именно зыбь: «с выси солнечных зыбей нисходит тайна без названий» (IV, 27), «в прямом цвете болотные травы» (IV, 42), «стонет в болотах пляшущая выпь» (IV, 42), «миг предельный... пляшет в пустоте» (IV), «верховна осень» (IV, 67), «сверкающая бездна» (IV, 68), «не высота, а глубь и бездна – небо, в нём свиток неисчисленной печали» (IV, 70), «в

Небе мощное есть Море», «никогда мне не изменит Море, ведя меня в мирах стезей мгновенья» (IV, 71), «Океан» как «Хаос» (IV, 114 – 116), угрожающая водная стихия: «Бездна, Волна без конца, потопление неосторожному» (IV, 176), «зыбь лица» (IV, 388), зыбь ночного неба: «Голос молитвы восходит к дрожанию затепленных звёзд» (IV, 414), «земля позабыла о Боге» (IV, 416), «земля сошла с ума» (IV, 422), «раскрылась глубже дьявольская хлябь» (IV, 424), «Ангел Бездн дохнул в свою трубу» (IV, 425), «пятирогая кровавая звезда» как «Бездна» (IV, 443), «выкован ошейник всем, распаян волей вечной Бездны» (IV, 454).

Это и – очевидный у Бальмонта *катастрофизм бытия*: «все планеты рушатся в жерло» (V, 12), но и – «зыбь грёзы молодой» (V, 21), «радость зыбится в неясных письменах» (V, 23), «дневное – в зыбях, в дали многогудной» (V, 30), «зыбь живёт века» (V, 32), «я вижу зыбкий стбель» (V, 44), «зеленовато-зыбкое свечение» (V, 56), «в нас живёт душа живая и зыбим солнечный мы смех» (V).

Бальмонт – поэт с размахом крупного философа, но реалии, которые ему открываются в этом предельном размахе, не оставляют философскому разуму подходящей нивы... Шопенгауэр, конечно, отдыхает.

В наиболее позитивном ключе по отношению ко всепоглощающей зыби существования у Бальмонта предстаёт, пожалуй, лишь *неославянофильская тема*, почерпнутая в начале XX века (когда, по мысли В. Ф. Эрна, «славянофильствовало само «время») из предыдущего столетия и воскресившая в русской религиозной философии замечательные труды А. С. Хомякова и Н. Я. Данилевского; она была связана с чаянием проявления в истории, говоря словами Ю. В. Мамлеева, «России Вечной» – в неопределённом пока ещё грядущем русского мира:

*О, Русский колокол и вече,
Сквозь бронзу серебра полёт.
В пустыне я – лишь вскрик Предтечи,
Но Божий Сын к тебе идёт.* (IV, 33)

С этим связан в поэтическом мире Бальмонта поворот от нижнего хаоса к некоей вертикальной оси символических смыслоформ, проступающей в мировых водах как бы сквозь туман:

*И вот чужой мне Океан,
Хоть мною Океан любимый,
Ведёт меня от южных стран
В родные северные дымы.
И я, смотря на пенный вал,
Молюсь, да вспрянет же Россия,
Чтоб конь Георгия заржал,
Топча поверженного Змия!* (IV, 27)

Однако же, такая метафизическая Русь – подобна платоновской идее, которая в предвкушении вечного Пира не находит пока отчётливого культурно-исторического воплощения и остаётся в хаосмосе первобытных космогоний:

*Русь – русло реки всемирной,
Что дробится вновь, – и вновь
Единится в возглас пирный: –
«Миг вселенский приготовь!»*

*Русь – русло реки свободной,
Что, встречая много стран,
Тихо грезит зыбью водной: –
«Где окружный Океан?» (Ш, 430)*

Таким образом, мы можем сказать, что и грозящая гибелью зыбь, безжалостно пожирающая всё, что становится её достоянием, в метафизической структуре Целого оказывается глубоко плодотворна. Во всяком случае, с учётом парадоксов соляристики Бальмонта, о которых мы также писали в сборнике по одной из последних Бальмон-

товских конференций – не солнце, а именно зыбь как первичный признак бездонности оказывается фактическим ключом к пониманию его поэтического мира.

¹ Бальмонт К. Д. Собр. соч.: В 7 т. М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. Тексты поэта здесь и далее цитируются с указанием в скобках тома и страницы по этому изданию.

² Котляревский Н. Деятельный век: Отражение его основных мыслей и настроений в словесном художественном творчестве на Западе. Пб., 1921. С. 11-12, 16.

³ Блок А. Поэты // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3: Стихотворения и поэмы 1907 – 1921. М.; Л.: ГИХЛ, 1960. С. 127.

⁴ Шпенглер О. Философия лирики // Шпенглер О. Пессимизм? М.: «Крафт+», 2003. С. 121-122.

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

Печатается к 120-летию со дня рождения М.И. Цветаевой

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА, ЕЁ «ВОСПОМИНАНИЯ» И СУДЬБА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Анастасия Цветаева, писатель-импрессионист, чья проза по природе своей поэтична. В ней оживлённость сердечности... Прочно увиденное, прочно запомненное удивительно музыкально передано во всей высоте лиризма и необыкновенности. Вот что роднит её прозу с прозой сестры Марины, делает её с большой буквы Цветаевской. Перо писательницы совершенно свободно в лучшем, самом светлом смысле слова. Это та высокая свобода самовыражения, которая несёт полноту пережитых мыслей и оттенков чувства – огромное богатство необозримой вчувствованности в природу, в душу характера, в образы времени.

Знаменитая книга «Воспоминаний» Анастасии Ивановны создалась не сразу, у неё были своего рода «предшественники». Сначала детский (с двенадцати лет), потом юношеский её дневник. О нём спустя годы Анастасия Ивановна писала: «Дневник этот всё более занимал места в моей жизни, как в Мариной – стихи. Привычка отображать пережитое, отдавать себе отчёт в мыслях и чувствах вырастала в подобие тайного спутника, уже становящегося поддержкой в моих днях»; «Он занимал столько места в моей юности, в каждом дне, каждой ночи... был неиссякаем в своих утешениях, возвращая мне с избытком силы, отданные на его создание...». Именно он, несохранившийся дневник, может полноправно считаться пратекстом, первой литературной основой «Воспоминаний» как и, ещё раньше, дневник

был основой двух первых книг писательницы, которая пишет: «В нём в свою очередь рождались будущие “Королевские размышления”, “Дым...”, лишь две всего в печать попавшие злополучные книжки». В дневнике были исключительно интимные, исповедальные страницы. Исповедальность, безоглядная искренность. Жизнь с юношеским головокружением – как на краю бездны...

На чердаке дома Лебедевых, квартирных хозяев А.Цветаевой в Александрове, сотрудником Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых был найден среди прочих бумаг и подлинный отрывок одной из дневниковых записных книжек А. Цветаевой, две странички, вырезанные из небольшой тетрадки. Вот этот, чудом дошедший до нас, несколько патетический фрагмент: «О скажи, мама! Это твое напутствие? А Марусе ты написала длинное стихотворение, которое оканчивается этими 4-мя строками: “Вы живёте во мраке, в оковах, в аду... / Я вас к свету, к свободе вперёд поведу! / Верьте – некуда больше идти – / Нет иного пути!” ... Ты ей указала дорогу, тоже смелую, гордую. Ту единственную дорогу, по какой могут идти такие, как она. – “Нет иного пути!” Да, это было напутствие. Я стала верить снам и гаданиям. Любовь сильнее смерти. Если верить, верить в невозможное, оно станет возможным. Надо сильно желать, сильно верить, сильно любить, – и преграды разрушатся. Часто, читая какую-нибудь книгу, или гуляя по тем самым местам,



которые ты так любила, я думаю о тебе, представляю себе тебя и мне чудится твой смех, голос, смелые песни и ты вспоминаешься мне. Какою ты была когда-то давным-давно, в солнечной, яркой Италии среди цветов моря и земли. Часто я хожу на ту лесную поляну, которую ты звала “пеньки” и которую так любила, и глядя на грустные молодые берёзки и осины, вспоминаю тебя. Поздно... поздно... 31 мая... Осенью этого года мне исполнится 14 лет. После лета 1906 года настала тёплая осень. Все уехали в Москву, Маруся в гимназию живущей, Андрей тоже в гимназию, папа уехал с ними, а я до 22 октября жила у Добролюбовских. Ты помнишь, я и в Ялте и здесь, в противоположность Марусе, была “реакционерка”. Мало-помалу взгляды мои стали...» Заметим, что в этом фрагменте приведена заключительная часть стихотворения «Я оторван от жизни родимых полей» Скитальца (Степана Гавриловича Петрова, 1869-1941). Его поэзию любила мать, Мария Александровна.

Мария Александровна Цветаева, о которой так тосковали обе её дочери, видела удивительные сны, например о том, как будто бы в их с отцом доме умирает у них на глазах Гёте. В свой дневник она вписывала восхищённые строки о поэзии С. Надсона. В наиболее полный вариант «Воспоминаний» включены таинственные случаи, говорящие о её неизвестных ранее, необыкновенных качествах... Благодаря «Воспоминаниям» Анастасии Ивановны в Российском государственном архиве литературы и искусства была атрибутирована, «опознана» единственная из сохранившихся рукописных книжек материнских дневников. Анастасия Ивановна сама говорила, что её дар слова, как и музыкальность, унаследованы от матери, чьи дневники сёстры, получив от отца, разделили между собой. Однако она имела в виду не столько письменный стиль, сколько устный, — блестящую вдохновенную речь, полную сложных, прихотливых периодов...

Романтизм, склонность дорожить прошлым, стремление оглядываться назад со словами «А помнишь?..», — всё это действительно от матери. Её страстность, её музыкальность, её стать, её чувство долга... Считается, что работоспособность, выносливость пришли генетически по отцовской линии, от деда, протоиерея Владимира Васильевича Цветаева, простого владимирского пастыря, нравственно сильного и патриархально-задушевного, оставившего по себе самую добрую память у прихожан. Эти качества взял от своего отца отец сестёр, Иван Владимирович, профессор классической филологии, искусствознания, который основал и подарил России грандиозный Музей изящных искусств в Москве, на Волхонке.

Тем не менее, нельзя утверждать, что литературная одарённость Марины, Анастасии, (да и хороший слог старшей их сестры Валерии и брата Андрея) — вовсе не от отца. Сохранилось немало писем И.В. Цветаева, написанных лёгким, образным, эмоциональным и, подчас, остроумным пером. Сохранился и его дневник, к сожалению, до сих пор не опубликованный. Вот пишет он в свой день рождения 4 мая 1899 г. письмо к профессору

И.В. Помяловскому: «Раннее утро. День солнечный, на небе ни облачка, в воздухе тепло и соседних с моим окном тополей благоуханье, а в высях слышится птиц легкорылых щебетанье»... И ниже: «Подождал, походил по двору, обозревая молодые топольки, и почтительно и радостно мне кивавшие своими зелёными листочками. Такие милые». Чувство Природы, не с него ли начинается в душе взволнованность вдохновения?.. Не от этого ли истока сама *смысла* творчества?..

Дневник Анастасии Цветаевой, как мы сказали, был первым пратекстом «Воспоминаний». Но существовал и своего рода второй после дневника пратекст, пропавший при аресте А. Цветаевой в 1937 году. Это был её неоконченный двухтомный роман «Нюрнбергская хроника». Там действие было перенесено в Германию. Отец был немецкий профессор. М.А. Мейн-Цветаева звалась фрау Мария. Марина и Анастасия — старшая Беата и младшая Эрика. Когда уже после тюрем, лагерей, ссылки и потом реабилитации Анастасия Ивановна стала писать «Воспоминания», то ей приходили на память не только картины прошлого, но и отдельные, списанные с реальности, сцены из того утерянного довоенного романа. Однако всё же неоконченная «Нюрнбергская хроника» преимущественно художественное произведение, включавшее автобиографические эпизоды. Анастасия Ивановна рассказывала: «... старшая из нас будто бы была невестой англичанина, когда разразилась мировая война 1914 года — и разлучила их. Тогда Беата поступает на курсы сестёр милосердия, перебарывая нелюбовь к медицине и идёт на фронт в фантастической надежде где-то в боях встретить своего жениха. И погибает. Младшая, Эрика, остаётся жить»...

«Воспоминания» Анастасии Ивановны — тоже явление художественное, однако основной их художественный крен — в искренность. Они, прежде всего, передают атмосферу эпохи, среды, в них — портреты замечательных личностей, целый «прошлолетний круг» её современников. Образы явлены в обрамлении чувств столь тонких, что удивляешься чутью писательницы, сумевшей вспомнить и описать их. Что касается стили, то явь «Воспоминаний» импрессионистическая живописна, прошлое приближено чутким отражением оттенков движений души, лиц, красок. Недаром любимым писателем её был Марсель Пруст.

Недалеки от истины и те, кто говорил, что она отдавала дань отражению «потока сознания», но в её прозе есть и черты, свойственные литературе времён символизма. Во времена молодости, среди друзей сестёр Цветаевых, — у Эллина, М. Волошина, — доминировала концепция символизма как жизнестроительного течения. Жизнь для сестёр была «первичней» литературы. «Днём я жила, а ночами писала, сжигая себя», — говорила Анастасия Ивановна. В сущности, сёстры в юности вольно и невольно искали друга, *человека* и находили его... на какое-то время, потом жизнь менялась, человек менялся или погибал, наступали войны, сломы эпох, революции, а душа всё ждала новых надмирных встреч, новой любви. Особенно это было свойственно Марине Иванов-

не, которая писала 25 янв. 1925 г. О. Колбасиной-Черновой: «Кроме того, не умею на людях, мне нужны не люди, а человек – один – упор – хотя бы одного вечера» (МЦС т. 6, с. 712). Вспоминая В.В. Розанова, Анастасия Ивановна говорила, что он был не оратором, как Бердяев, а человеком «интимного собеседования». . . И тоже, как и она, был жаден до сердечного контакта. Когда читаешь наиболее полный вариант «Воспоминаний», понимаешь, что А. Цветаева как никто воплотила эту жажду – жажду любви, столь печально и высоко свойственную человечеству. Она отразила трагическую утверждённую любовного чувства. Так было у неё с Б. Трухачёвым, Н. Мироновым, с М. Минцем, много раньше – с В. Нилендером. «Я обманываю и Серёжу, и Толю, и всех, кто придёт, тем, что не могу остановить своё очарование к ним идущее и не могу не чувствовать их так, как если бы каждый из них был мне единственен. Каждому я хочу добра и каждому несусь страданье. Вот в чём моя вина. . .», – писала она.

В юные годы Анастасию Цветаеву, как и её сестру Марину, не покидало чувство одиночества, несмотря на все привязанности и дружбы. Жизнь представлялась трагичной нелепостью, от которой нужно устраниваться. . . Ей тогда были свойственны волевая самостоятельность и. . . усталость от мысли, что – нас бросили в мир и забыли. Отсюда теоретическая готовность – по выражению её старшей сестры – «Творцу вернуть билет». Анастасия Ивановна жила в юности в стихии трагического. Таков был дух времени, в ней воплотившийся. Таково было искусство, и таковы были литература, таким было кинематограф. . .

Страдающая искренне восхищала друга Анастасию Ивановну, философа-эссеиста Василия Васильевича Розанова. Лирико-философская открытость роднила молодые дневниковые страницы с его собственными книгами – с «Уединённым», с «Опавшими листьями». . . Не сохранилась книга А. Цветаевой о Розанове, о которой он сам говорил, что запечатлён в ней «как в синемафотографе», не сохранилась их обширная переписка. . . И вот – прошли годы – позади революция, унёсшая дым тоски, утопившая многие тонкие печали в лишениях, в тяготах, в ужасающей нищете и её преодолении. Тоска о несовершенстве мира сменялась верою, помогавшей жить, писать и не идти на компромиссы, которые предлагало время. В самые трудные для Анастасии Ивановны годы – в тюрьме, в лагерях, потом в ссылке – она выдержала испытания, и основой твёрдости её было *христианство*, которое она прочно несла в душе с двадцати семи лет. Человек – это убеждения. Убеждения – это свобода и необходимость поступать по-своему, в соответствии со светом истины, которая светит тебе. . .

Кроме письменных «пратекстов» существовала и первоначальная устная версия, Анастасия Ивановна рассказывала о детстве старшей внучке, Рите Трухачёвой, об этом сказано в повести «Моя Сибирь» (1976): «Когда я начала рассказывать Рите мое детство? Лет с пяти? Трудно вспомнить. Но рассказ родился и рос органично, обратный тому, когда я выдумывала сказки. Тут всё было “доку-

ментально”, правдиво, я воскрешала бывшее с почти документальной точностью, это был труд. Он всегда происходил на ходу, по пути из села или назад в село, я умолкала на полупhrазе. . . В следующий раз кто-нибудь из нас спрашивал: “Где мы остановились?” Это был пароль. И моё детство продолжало развёртываться, повторяться – год за годом, зима за осенью и весна после зимы, все дома, все города, все страны, все подруги, все друзья. Узнавала ли всё это Рита, когда, более десятилетия спустя, она получила в подарок мою книгу “Воспоминания” (1971)» (с. 144).

«Воспоминания» писались и в Москве и в Павлодаре, где жила семья сына Андрея Борисовича Трухачёва. Там, в Павлодаре, Ольгой Григорьевой создана книга-очерк «Зовут её Ася. . .» (2006) с подзаголовком «Фрагменты жизни Анастасии Цветаевой». Её можно прочесть в Интернете. Приведём опубликованные там свидетельства о том, как писала Анастасия Ивановна: «О напряжённом писательском труде А.И. Цветаевой вспоминают и павлодарские одноклассники Риты – Лидия Сотник и Татьяна Кокорева: “Когда бы мы ни пришли к Рите, бабушка всегда работала – писала, писала, писала. . . Везде лежали рукописи. Иногда она устраивала себе перерыв на 15 минут и говорила, чтобы в доме была тишина. Мы ходили на цыпочках. . . Отдыхала она ровно 15 минут, а потом снова работала”».

Когда первоначальный текст был написан и перепечатан на машинке, профессиональный редактор, некогда работавший в издательстве «Земля и Фабрика», Иосиф Филиппович Кунин дружески стал помогать в 1966-67 годах его править. Об этом свидетельствует сохранившаяся благодарная дарственная надпись на машинописи, адресованная Иосифу Филипповичу и Розе Марковне, его жене.

Фрагменты, посвящённые детству, юности и поездке к М. Горькому под названием «Из прошлого» опубликовал «Новый мир» в 1966 году (№ 1, 2). Принёс их в журнал известный литературовед, специалист по литературе серебряного века, Е.Б. Тагер, добрый знакомый Марины, а потом и Анастасии Цветаевых. «Новый мир» в те годы по праву считался ведущим толстым журналом страны, и на фоне обширного мелкотравья тогдашней советской литературы даже фрагменты столь живой, искренней, тёплой и, одновременно, тонко импрессионистической прозы вызвали множество восторженных откликов.

В издательстве «Советский писатель» на «Воспоминания» были заказаны «внутренние» рецензии. Наиболее показательна для того времени рецензия советского критика Николая Семёновича Гуса, который выделил три основных подхода А. Цветаевой к прозаическому отражению прошлого: по первому подходу «Автор переносится в прошлое и мы видим его глазами *тогдашних* Аси и Марины». Соответственно второму подходу, «. . . автор воспоминаний показывает нам то, что было, но с точки зрения сегодняшней своей, ретроспективно». И далее критик заподозрил мемуариста в желании – влить новое вино в старые меха. «Однако, наряду с этими двумя метода-

ми воспоминания, — пишет Н. Гус, — широко использован — чаще, чем два упомянутых способа — третий, так сказать, смешанный приём. Рассказ как будто ведётся непосредственно, как сколок с того, что было, как оно было тогда, но в то же время мыслит, чувствует, говорит мемуаристка (подросток, девушка) так, как она не могла тогда, так, как подсказывает теперь весь опыт её жизни». «Неужто же именно так чувствовали и думали эти девочки тогда?!» — недоумевает в 1967 году Н. Гус. Ему было непонятно, что сёстры могли иметь столь раннее развитие души. Анастасия Ивановна со своей стороны убеждённо настаивала на том, что она именно так тогда чувствовала. . . Ей была присуща «вневозрастная зрелость».

Пусть мемуаристкой не выдержан, не проведён «последовательно» какой-либо один метод. Зато достигнута зримость, текст увлекателен и уводит за собой читателя, которому не хочется оторваться от взятой в руки книги. Но это только в том случае, если человек сердечен по своей собственной природе, ибо эта книга по природе своей сердечна. В искусстве, в литературе, человек, как правило, ищет того, что ему уже дорого, что составляет память его собственного сердца, что ложится на кантилену ассоциаций его пережитого опыта. . .

«Оправдана ли такая детализация мемуаров?» — риторически вопрошает Гус. Ответом ему видится давнее мнение поэта Владислава Ходасевича, старого знакомого А. Цветаевой по Коктебелю, — «Из мемуаристов наилучший тот, который, не мудрствуя лукаво, даёт *наибольшие сведения о наибольшем количестве фактов*. Общеизвестно, что иногда *незначительная подробность или случайно упомянутая дата* оказываются при исторической обработке наиболее ценными и важными из всего мемуарного состава» — Ходасевич, сказал это, рецензируя книгу воспоминаний З. Гиппиус «Живые лица» («Современные записки», 1925, кн. XXV, с. 537). Это ещё более верно в отношении семьи Цветаевых, о которой создана целая библиотека книг и статей. А сколько действующих и посещаемых музеев хранят память об этой семье! Любая подробность не только ценна сама по себе — она открывает возможность новых линий исследования для цветаведения. Научные конференции, посвящённые «быту и бытию» семьи Цветаевой проводятся ежегодно и в музеях и в высших учебных заведениях не только нашей страны.

Анастасия Ивановна годы спустя рассказывала, что у неё имя этого советского критика, Михаила Семёновича Гуса ассоциировалось с сокращённым названием Государственного Ученого Совета. Она понимала, что её книга не настолько советская, чтобы иметь положительные отзывы. Однако, когда она всё-таки в 1971 году вышла, Гус, (тот самый, что громил в «Правде» Войновича), с надеждой, жалобно спрашивал своих коллег по издательству — как вы думаете, она мне надпишет свою книгу? Он не мог, как опытный литератор, не чувствовать обаяния и силы цветавского текста, но «бдительность», хорошо усвоенная за советские годы, не позволяла открыто

такие книги поощрять. . . Второй рецензент, ещё более известный литературовед, А. Западов всё же заключил свой отзыв словами: «Но выпустить эту работу следует», однако и он говорил лишь о неполном издании книги.

«Моя книга “Воспоминаний” была передана в “Советский писатель” и на прочтении и рецензии лежала там более трёх лет, и были две отрицательные рецензии Гуса и Западова, когда на вечере 80-летия Мариэтты Сергеевны Шагинян оба мои друга Фейнберги приступили к директору Н.В. Лесючевскому с настойчивой рекомендацией её напечатать.

— А вы возьмётесь её редактировать? — спросил Лесючевский.

— Возьмусь! — отвечала Мазль Исаевна.

И работа началась. Я проводила у них день за днём всю ту зиму, за которую мы с Мазль Исаевной по плану нашей работы должны были окончить пересмотр и переработку всего материала первого тома моих “Воспоминаний”, — так писала Анастасия Ивановна в очерке «В те счастливые дни», который вошёл позже в её книгу «Неисчерпаемое» (1992).

«. . . Мой прелестный редактор, без которого моя книга не вышла бы, — она все бои встречала грудью, она эту книгу родила; я её только выносила. . .», — говорила о Мазли Исаевне Фейнберг-Самойловой Анастасия Ивановна. Однако обе они сетовали на вынужденный, и частью цензурный характер сокращений, на которые приходилось идти. И вот, позже, от издания к изданию в «Воспоминания» Мазль Исаевна по возможности добавляла главы, ранее неизвестные.

Воскрешать к жизни преданных забвению, давать им возможность пожить ещё миг — один из глубинных лейтмотивов последней Цветаевой. В ком так ярко была жива память, кто имел магическую способность возвращаться в былое? — В том, в ком ясность прошлого, в том больше сил для настоящего, и в том больше будущего. Интенсивность самосознания, интенсивность личности. Вот что необходимо сказать о писательнице, и о том, что её сделало писательницей. Именно так нам видится А. Цветаева, человек глубоко посвоему чувствующий и знающий мир. Беллетризация у неё совершенно не перевешивает достоверность, как это происходит, например, у Г. Иванова в его «Петербургских зимах», или у Э. Миндлина в его «Необыкновенных собеседниках». А.И. Цветаева дала себе в двадцать семь лет религиозный обет — «не лгать», и следовала по большому счёту этому обету всю жизнь. О чём-то недолжном могла умолчать, ведь правда для неё не была самоцелью, она не «конструировала», не направляла политически «своевременный» взгляд в прошлое и никак не обеляла это прошлое, как её безуспешно пыталась в этом обвинить в 1980 г. литературовед из США, В. Швейцер, опубликовавшая в 1980 г. в журнале «Синтаксис» (№ 40) «открытое письмо» к А. Цветаевой. Понимала ли она, что ответ на такое письмо из Советской России тогда был просто опасен и для Анастасии Ивановны и для её близких?..

Другое дело, что в любых мемуарах есть неточности, есть ошибки – память человеческая изменчива и несовершенна. Необходимо иметь в виду, что ошибки возникают особенно там, где память задним числом создаёт иные картины, чем те, что были в действительности. Бывают в любых мемуарах и невольный домысел и вымысел, которыми, по словам Анастасии Ивановны, была полна автобиографическая проза её сестры Марины Ивановны. Наблюдательный свидетель, писатель, поэт – очень индивидуальный очевидец, как все свидетели.

Так, описывая открытие Музея, обе сестры видят всё каждая по-своему. Анастасия Ивановна пишет, что «древнего сановитого старичка в золотом мундире», описанного у сестры в её «Лавровом венке», не помнит. И теперь понятно – почему. Да потому, что видела его не юная Марина Цветаева, а Сергей Эфрон, её не менее юный муж, описавший того старичка в письме к сестре. Это его впечатления переданы Мариной Цветаевой и поданы художественно, гротескно. Да, старик тот, поставленный на ноги С. Эфроном, присутствовал не при открытии Музея, а несколько ранее, в тот же день при молебне на открытии памятника императору Александру III. Доказательством служит упомянутое письмо от С. Эфрона к В.Я. Эфрон от 7.06. 1912: «В Москве я был и на открытии Музея и на открытии памятника Александру III. В продолжении всего молебна, а он длится около часа, я стоял в двух шагах от Государя и его матери. . . На открытии были все высшие сановники. Если бы ты знала, что это за разваливающиеся старики! Во время пения вечной памяти Александру III вся зала опустилась на колени. Половина после этого не могла встать. Мне самому пришлось поднимать одного старца-сенатора, который оглашал залу своими стонами» (М. Цветаева «Неизданное. Семья: история в письмах», М., «Элисс Лак», 1999, с. 133-134).

Однако, продолжая эту тему в полном, неокрашенном варианте статьи «Корни и плоды», Анастасия Ивановна пишет: «Но старик Иловайский, тесть отца по первому браку, пришедший будто бы в нестерпимой жары день, когда дамы задыхались под высокими стеклянными потолками в шёлковых белых (по приказу церемониймейстера *закрытых*) платьях, Иловайский, пришедший, как пишет Марина, в **бобровой шубе**. Жена его, чопорная дама, по своеволию не подчинившаяся приказу церемониймейстера (её бы не допустил он – или слетел бы с должности), надевшая белую кофточку и **клетчатую** юбку, в присутствии царских особ – для чего так захотело перо? Оно веселилось!.. Никому не отдавая отчёта». Вот почему Анастасия Ивановна сравнивала творчество сестры с горным потоком, а свою прозу – с равнинной рекою. . .

Нельзя не сказать, что А.И. Цветаева – психолог детства. . . И типизация речи героев у неё изумительна. Мастерство автора «Воспоминаний» вполне сравнимо с мастерством создателя другой семейной хроники – «Детство Тёмы. Гимназисты» Н.Г. Гарина-Михайловского, также классика русской автобиографической прозы. Прав-

да, хроника Михайловского – произведение более жёсткое, в нём больше сказано о том, как наказывали детей в то время. . .

«Воспоминания» охватом переросли поставленную первоначально цель. От Анастасии Ивановны ждали книги о сестре. Получилась семейная хроника. Конечно, хроника не может касаться только личности Марины Цветаевой, классика поэзии Серебряного века, хотя первоначально было желание создать такой прозаический памятник. Как памятник Леонардо да Винчи в Милане окружён статуями учеников, а в Петербурге статуя Екатерины Великой окружена фигурами её фаворитов, так не осталась одинока и Марина Ивановна, впрочем изображённая в окружении живых людей, а не немых статуй. Ариадна Эфрон, дочь М.И. Цветаевой, хотела, чтобы портрет был, как раз «побронзовее», без живых человеческих недостатков.

Об этом и написала Ариадна Сергеевна в письме к Анастасии Ивановне 8 апреля 1959 года, ещё до всех осуществлённых и неосуществлённых публикаций: «. . . Относительно Ваших воспоминаний: только из Вашего последнего письма я узнала о том, что это вовсе не воспоминания о маме, а мемуары – тогда, конечно, мои “претензии” отпадают – о чём же тогда, действительно, спорить?

Вы пишете, что разослали свои мемуары разным людям, чтобы сравнить их впечатления (относительно образа мамы) с моими. Милая Асенка, в этом деле моё мнение остаётся неподвластным впечатлениям каких бы то ни было читателей – пусть даже почитателей. Я считаю, что одних слов Вашей матери о том, что Муса с 4-х лет подбирает рифмы, мало, чтобы показать поэтическое своеобразие в ребёнке, в этом ребёнке. “Поэтическое”, конечно, не то слово. Своеобразие потом вылилось в поэзию, но своеобразие должно было быть. Если мамино детское своеобразие заключалось только в драках с Андреем и притеснении Вас, и в постоянном прибежании к протекции Валерии против матери, – то откуда же впоследствии взялась поэзия? Только из этого? Тогда все советские дети были бы поэтами! Вы были слишком малы сами в тот период, чтобы многое понимать и анализировать? Согласна – но ведь воспоминания Вы пишете в 64 года, понимая и анализируя, скажем, родителей? Почему же тогда в описании Марины писать иным способом – с точки зрения 5-7-летнего ребенка? Тогда и родителей надо давать так, как их воспринимал детский взгляд и ум. Вот в письме Вы говорите, что Маринина дерзость и грубость скрывали большую душевную ранимость, но в воспоминаниях этого нет, есть только факты грубости необъяснимые и необъяснимые. Впрочем, всё это относится опять-таки к “воспоминаниям о Марине”, а не к “мемуарам” более объёмным вообще и менее пристальным к ней в частности.

Вы говорите о том, что Пастернак плакал над “матерями и девочками”? Но не забудьте, что он никогда не переслал мне отрывок, над которым плакал – и не для того, чтобы, скажем, сохранить себе на память, а просто, как всё на свете, мамы



касающееся, как-то упустил из рук. В этом — вся его “любовь” к маме! Масса эмоций, и никакого, пусть минимального, действия.

Ещё и ещё раз повторю: оно написано прекрасно, Вашей памяти и зоркости, их конкретности только позавидовать можно. Очень вероятно, что “упрёки” мои неправильны, я к маме пристрастна всегда и во всём, для неё мне и большего было бы мало, Бог дал, человек не обузь! (...)

Моя память хранит её великий дар, её великое благородство, гордыню, гордое одиночество, её великую любовь к нам, детям, и к нашему отцу, героическую борьбу с бытом и бедность, широту и глубину её страстей — увлечений людьми, природой, явлениями, и при всём многообразии — отсутствие хаотичности, расплётсканности — стройность душевного строя! Мужскую организованность в работе! вплоть до порядка в дне, в рукописях, на рабочем столе! Да разве всё перечислишь... Мне ли копаться — да и вам ли? в промахах, в расхождении с моралью сгубившего её с позволения сказать “общества”? И я убеждена, что права именно моя память, забывшая плохое, ибо оно так мало, так мелко, что, как труха, развеялось на ветру времён и событий. “Всякое лыко в строку” по отношению к ней — я так не могу.

Вот так дочери М. Цветаевой казалось, что правдивые, но не касающиеся «становления поэта» подробности жизни ранних лет поэта просто не нужны...

В своих текстах о матери А. Эфрон так и поступила — создавала очень живой, но одновременно «правильный» с её точки зрения и, конечно, цензурно «проходимый» образ матери. К счастью, сохранились в РГАЛИ детские дневники А. Эфрон, где она подробно пишет о матери, и далеко не всегда «возвышенно» о её самом близком окружении. С этими дневниками она сверялась, когда писала. Анализу, пристальности ко всему сущему, конечно, бессознательно училась у матери, как и её брат Георгий Эфрон, чей юношеский дневник имеет немалое значение для характеристики своего времени, так как он написан без страха, непринуждённо, хотя и не без мальчишеского самолюбования и самоуверенности. В нём отпечатлелись и тяжкие испытания, выпавшие на его долю после смерти матери.

Однако скажем справедливости ради, что несколько ранее, 11 сентября 1958 года А.С. Эфрон высказывала в письме своё первое, весьма положительное впечатление: «Дорогая Асенька, получила ещё воспоминания, начинается с родителей, отчасти с предыстории маминной и Вашей. Как это должно идти — так, как Вы мне посылаете, подряд, или то, что Вы прислали теперь является началом, а то, что посылали раньше — продолжением? Страницы с Поленовым, о которых спрашиваю, получила. Спасибо Вам, Вы делаете то, что Вам одной дано, делаете за всех ушедших, возвращаете им голос, зрение, жизнь. А без Вас это всё — эти все — канули бы в бездонное, безвозвратное. Вы делаете великое, чудесное дело — в таких тяжёлых условиях, в такой враждебности дней! Да и в людской враждебности. Всё так называемое “новое” так органически враждебно так называемому

“старому” — пока само не превратится в “старое”. А в наши дни это зачастую принимает такие уродливо — и угодливо — варварские формы! Т.е. это постоянное, научно обоснованное поправление корней и истоков сегодняшних и завтрашних дней...»

Есть и ещё письмо А.С. Эфрон, касающееся «Воспоминаний» Анастасии Ивановны, 5 октября (1958 г.). Вот извлечение из него: «Милая Асенька, ещё добавление: переписываю, каждый день понемногу, Ваши воспоминания. Они очень хороши, талантливы, своеобразны. Их своеобразие, как говорят знатоки и ценители, которым я даю их почитать — сродни маминому и пастернаковскому. Для меня это — клад, воскрешение маминных, а через неё и моих собственных — истоков. Много помню с маминных слов — и записанного Вами, и ещё другого. У меня только одно желание — может быть эгоистичное, так как пытаюсь собрать о маме, что возможно — это чтобы в воспоминаниях Ваших Вы о ней не забывали. В последнее время она, именно она, из написанного Вами исчезает, постепенно заменяясь Валерией Ивановной. Мама сочла бы эту замену — изменой, я же думаю, что сейчас Вы пишете с оглядкой именно на В.И., а с оглядкой на то, что прочтёт это именно она, последний вместе с Вами живой свидетель тех лет. Это естественно.

То, что я пытаюсь записывать о маме, я пишу не для себя, не для Вас, не для родных и знакомых. А «для тех, через сто лет», чтобы им помочь узнать правду. Впрочем, моя правда субъективна, так как я давно забыла об обидах и шероховатостях наших с мамой отношений, и, забыв о них, легко отошла на задний план, выпустив вперед её, о которой, которую пишу.

Крепко целую Вас, желаю сил и здоровья. Как только получу какую-нибудь денежку — пришлю. Подошло ли, понравилось ли присланное мною всем вам? Жду от Андриуши весточки. Ваша Аля».

Это ещё одна грань мнения Ариадны Сергеевны. Прав Марк Слоним, говорящий об Ариадне Сергеевне: «Она собрала архив рукописей М.И., много поработала... над опубликованием её произведений и делает это со страстью и ревнивым обожанием, как бы покупая прежние грехи и утверждая в то же время своё исключительное право распоряжаться литературным наследием матери» («Воспоминания о Марине Цветаевой», М., 1993, с. 342).

Тем не менее, надо ясно понимать, что Анастасия Ивановна создавала не биографический панегирик великому поэту, а живые воспоминания о своей жизни, неотъемлемой частью которой была сестра Марина. Её стремление отразить правду, не приукрашивая оную, сегодня нам особенно ценно. В предисловии к сборнику «Серебряный век. Мемуары» (М., «Известия», 1990) Н.Н. Богомолов справедливо писал: «Однако людям, ищущим в сборнике воспоминаний исторической истины, хотя бы относительной, следует помнить, что в любых мемуарах первенствует личность автора, вольно или невольно выдвигающего себя если не на первый план, то, во всяком случае, постоянно присутствующего в повествовании и меняющего его направленность и степень объективности» (с. 9).

Личность Анастасии Ивановны, живая, ёмкая, глубоко воспринимающая жизнь, не могла полностью устраниваться из мемуарного повествования, ведь вся её проза, за редким исключением, автобиографична.

Считается, что в русской классической литературе лучше всех процесс появления на свет человека, процесс родов описал Лев Толстой. Однако данное в полном «кодексе» «Воспоминаний» описание своего собственного, а не воспринятого созерцательно, со стороны, опыта Анастасии Цветаевой, кажется нам по образности и представимости совершенно уникальным и не менее убедительным.

При этом Анастасия Ивановна могла памятью ярко и тонко вернуться в детство. Ей подвластно было возродить в себе мироощущение ребёнка. Реконструкция психологического состояния начальных дней прямо целебна — ведь ясновидящий В.И. Сафонов, находивший потерянных детей, никогда дотоле их не видя, говорил, что для того, чтобы обрести здоровье, надо воскресить в памяти картины и чувства детства и организм начинает, как под гипнозом, вновь работать и дышать так, как будто он возвратился к заре своей жизни. Подобное литературное возвращение А. Цветаева продемонстрировала не только в корпусе «Воспоминаний», но и в мемуарном очерке «О брате моём Андрее Ивановиче Цветаеве», опубликованном в «Науке и жизни», в № 3, 1986 г. В том же популярном журнале выходили и её стихи и рассказы о животных, позже собранные в книгу «Непостижимые» (1992). Сёстры Цветаевы обе были сердечно проникновенны к собакам, кошкам — братьям меньшим... Книга напечатана через год после написанной по совету архимандрита Виктора Мамонтова книги рассказов «О чудесах и чудесном» (1991). К моменту выхода этих книг автору было уже под сто лет и она продолжала работать...

Первые, ранние книги Анастасии Цветаевой «Королевские размышления» (1914), «Дым, дым и дым» (1916) имели неперенной художественной чертой намеренную фрагментарность. Это была философская эссеистика и лирико-трагический дневник. Многие другие рукописи дореволюционного периода, а там были, кроме тетрадей дневников, рассказы, стихотворения в прозе, не уцелели до наших дней. Личному архиву Анастасии Цветаевой, арестованному в 1937 году вместе с ней суждено было исчезнуть. Может быть в «недрах» архивов НКВД, которые, как говорят, огромны и не разобраны, где-то таятся рукописи Анастасии Ивановны — и её неоконченный фантастико-мистический роман «Музей», и её переписка (в том числе с сестрой) и большой фотоархив. Мы можем лишь кратко рассказать о том, что, по словам писательницы в нём было. Помним две модернистские книжки, созданные в соавторстве с Георгием Цапок в 1919 г. в Судаче. Это были рукописные книги, назывались: «Начало и конец» и «L'eau» («Вода» — *фр.*). Было большое количество мистико-символических сказок, всего три из их числа сохранившиеся вышли отдельной брошюрой в 1994 году посмертно. Была неокончен-

ная рукопись «Звонарь» (1927-30), посвящённая яснослышащему и ясновидящему звонарю Константину Сараджеву. К этой рукописи в 1927 году с большим интересом отнёсся Горький. Только в 1977 году вышла восстановленная по памяти версия в журнальном варианте, потом — книга «Мастер волшебного звона» в соавторстве с братом звонаря, Нилом Сараджевым. Была и книга о самом Горьком, часть из которой в 1930 г. опубликовал «Новый мир». Взяв за образец хроникально-документальную книгу А.Федорченко «Народ о войне», А.И. Цветаева написала книгу, где собирала высказывания народа о голоде — «Голодная эпопея». Однако Горький сказал — «Опоздали вы с этой книгой, Анастасия Ивановна!» На страну после насильственной коллективизации надвигался голод и цензура «голодную» тематику пропустить не могла. В архиве была двухтомная машинопись романа «SOS или созвездие Скорпиона», не пошедшая в печать потому, что автор не согласилась «выпрямить» под «нужную», оптимистическую линию судьбы героев. Были совершенно теперь забытые рукописи книг «Сансибор», (о санатории «Серебряный бор» и о людях там отдохавших), которую создавала ряд лет. Была и сходная по жанру повесть «Санузия», тоже написанная «с натуры» под Москвой, в санатории «Узкое», бывшем имени Трубецких. Ещё более забыт роман А. Цветаевой «Четвёртый Рим», который тоже исчез. Канула и лирико-философская книга «Флейтист». И.Г. Эренбург обещал опубликовать эту рукопись ещё в 1920-е годы, но издание осуществлено не было. Были и рассказы на английском языке, один назывался «Dogs and Masters», переводы, в том числе с английского «Герои и героическое» Томаса Карлейля; и поэтические переводы на английский стихотворений М. Лермонтова. Были и её русские и английские собственные, тогда ещё немногочисленные стихотворения, сочинённые до 1937 года.

Читателю остались — её роман «Амор», написанный в сталинском лагере; повесть «История одного путешествия», повесть «Старость и молодость», первоначальное название её было «Кокчетав»; эссеистические повести «Моя Сибирь», «Моя Эстония», «Мой зимний старческий Коктебель», «Моя Голландия». В Сибири А.И. Цветаева жила, когда была осуждена на ссылку «навечно». В Эстонию много лет ездила летом отдыхать и окуналась в холодный святой источник в Пюхтицком женском монастыре. Две последние повести — это описание путешествий с другом-писателем Ю.И. Гурфинкелем зимой в Коктебель, в Дом-музей М. Волошина; и на самолёте в Голландию в июне 1992 года. Поездка в Амстердам на Международную женскую книжную ярмарку стала последним из больших путешествий её долгой жизни.

Анастасия Ивановна однажды написала свою краткую автобиографию, ещё не зная, что за годы впереди она её существенно творчески дополнит. Жизнь, неполно изложенная в двух больших томах «Воспоминаний», тут размещена на небольшом листке. Мы решили опубликовать и это свидетельство её жизни.

Автобиография Анастасии Ивановны Цветаевой

Родилась в Москве в 1894 году.

Отец заслуженный профессор Московского Университета, основатель Московского Музея Изобразительных искусств (ныне имени Пушкина.)

Языкам (французским и немецким) училась с 1902-1905 года за границей в школе в Лозанне и во Фрейбурге.

В 1915 году издала мою первую книгу.

С 1921 года по 24 год работала в ЦУПВОСО в СЦСУ, в Главкустпроме.

С 1924 по 1932 год – библиотекарем в Музее Изобразительных Искусств и в Сельскохозяйственной Академии им. Тимирязева (преподавала языки). Занималась переводами (один из них вышел отдельной книгой в Госиздате в 1924 г. «От рабочего астроному» Бруно Бюртеля).

В 1927 г. ездила в Сорренто к Горькому по его приглашению. Училась английскому языку. С 1928 по 1937 г. повышала квалификацию по англ. яз. в Комбинате иностранных языков и в Институте повышения квалификации преподавателей при МИИЯ (Московский институт новых языков). Окончила его весной 1937 г.

Осенью 1937 г. была арестована. Репрессирована до 1956 г. (10 лет ИТЛ в ДВК, и ссылка в Сибирь).

В 1959 г. реабилитирована.

С 1966 г. живу в Москве.

В 1966 г. в «Новом Мире» (№№1 и 2) вышла часть моих мемуаров «Из прошлого» и статьи в журналах.

В 1968 г. к столетию Горького в «Литературной Грузии» и в 1969 г. статья о моём отце «Рождение Музея» в «Науке и Жизни».

В 1971 году первое издание моей книги «Воспоминания» («Сов. Писатель»). В 1974 году второе дополнительное издание моих «Воспоминаний». В ближайших №№ журнала «Москва» выйдет моя повесть (4 печатных листа) «Сказ о Московском звонаре».

В 1978 году выйдет по-немецки перевод моей книги «Воспоминания» в ГДР.

В 1975 году в эстонском журнале вышли переводы моих рассказов. В данное время мне 82 года. Член Литфонда и член Профкома писателей при издательстве «Советский Писатель».

Анастасия Цветаева

7. 01. 1977 г.

Москва

В «Воспоминаниях» Анастасии Ивановны Цветаевой есть две последние части, которые выглядят как приложения к основному тексту мемуаров. Это «Поездка к Горькому. Встреча с Мариной» и «Последнее о Марине». В самой конечной части повествуется о поездке в Татарнию, в Елабугу, где были сделаны усилия – узнать как можно больше о смерти сестры, об обстоятельствах её ухода из жизни. Было намерение – найти затерянную на елабужском кладбище могилу Поэта.

Анастасия Ивановна, не найдя могилу, установила крест в той стороне кладбища, где были захоронения 1941 года. Она возвратилась в Москву и по сделанным в пути заметкам записала услышанное и увиденное, дополнив сведениями, собранными от разных людей. Теперь, когда открыты архивы, в том числе и фонд М. Цветаевой в РГАЛИ, можно сказать, что многие «сенсационные» версии гибели поэта не подтвердились. Мнение Анастасии Ивановны наоборот, не опровергнуто, оно равноправно с другими, и во многом получило подтверждение, когда были опубликованы дневники Г.С. Эфрона. Но об этом позже.

Анастасия Ивановна узнала, что в пылу ссоры сын крикнул матери – «Ну кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами!» и почувствовала, что эта фраза могла стать побудительным мотивом к действию. Значит, решила она, Мари-

на ушла из жизни, чтобы не ушёл сын. И самоубийство её было жертвенным. Могло быть и так, что, идя на самоубийство, сама не в силах ни содержать сына, ни найти с ним общего языка, она решилась уйти из жизни, чтобы сироту пожалели, не оставили помощью и участием. Возможно, в старой России и не оставили бы, поддержали. Но те, к кому были обращены её прощальные письма, в судьбе сына приняли минимальное участие. Само существование этих писем говорит о многом. Во всех трёх оставленных ею посмертных записках речь идёт прежде всего о сыне. Письмо с обращением «Дорогие товарищи!» – мольба, обращённая к писателям – отвезти сына к Н. Асееву в Чистополь. Она беспокоится – как доедет, ведь – «Проходы страшные!». Говорит, что хочет, чтобы сын жил и учился. И добавляет «Со мною он пропадёт». А чтобы не пропал, надо освободить сына от себя и от своего отчаяния. И в письме к самому Асееву и сёстрам Синяковым, снова о Муре, – она отдаёт им самое дорогое, свой творческий архив и сына. «Завешая» его в семью Асеевых, она говорит: «Я больше для него ничего не могу и только его гублю». Можно себе представить, сколько раз сын говорил матери о том, что его она губит – теми или другими словами. Весьма знаменательны свидетельства из книги Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами» (М., 1991), автор был хорошо знаком ещё по Па-

рижу с семьёй Цветаевых-Эфронов, он пишет: «...Наша последняя встреча. Москва. Начало июня 1941 года, канун войны. Где-то около Чистых прудов. Не вернуться в странной треугольной комнатёнке — окна без занавесок, слепящий солнечный свет, страшный цветаевский беспорядок...»

Самого разговора не помню. Но хорошо помню его тональность. Непонятные мне взрывы раздражения у сына Мура. Не только на мать, но и на уже исчезнувшего, расстрелянного (хотя этого ещё не знали) отца, на арестованную Алю. Невысказанный упрёк. Я тогда решил: злорада на тех, кто привёз его в эту проклятую страну. Так оно, вообще говоря, и было... Мур не мог простить, что... погубили его жизнь. Хотя шпионаж (*С.Я. Эфрона — Ст. А.*) был, возможно, следствием, вторичным явлением. Средством вернуть Марину в Россию.

В полном прощальной нежности письме к сыну, Марина Ивановна пишет: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я дальше не могла жить». — Если и была больна Марина Ивановна, то только тем, что окончательно потеряла волю к жизни. «М.И. была абсолютно здорова к моменту самоубийства», — сообщает сын в своем дневнике (31.08.41), видимо, говоря о здоровье физическом. Душа же её давно была больна отчаянием. В повести «Старость и молодость» Анастасия Ивановна, в частности, замечает: «Демоническое начало в Марине, отчаяние было сильнее, чем во мне. От него она — глохла? к миру? (отъединение)» (254).

Не забудем, что первую попытку самоубийства Марина Цветаева совершила в Германии, — в двенадцать лет пошла топить в реку, потому что маленькая Ася её «не понимала». Об этом Анастасия Ивановна написала еще в 1916 году в книге «Дым, дым и дым», вышедшей с посвящением сестре. Автор этих строк слышал от Анастасии Ивановны и устный рассказ об этом. Следующая попытка относится к 1908 г., тогда было написано ныне утерянное прощальное письмо. Она многие годы, не только последние два по её выражению, так или иначе «примеряла крюк». Самоубийство, по глубокому наблюдению П.Д. Успенского, автора книги «У последней черты» (1913) не бывает внезапным поступком. Нет, это процесс. Человек отвращает себя постепенно мыслью о самовольном уходе из жизни. Лелеет эту мысль, пока случившиеся жизненные обстоятельства не крикнут ему в лицо — «пора!» И тогда следует неизбежное.

Марину Ивановну держали собственно на земле две вещи — чувство долга и творчество. Творчество к моменту самоубийства для неё закончилось, стихов она больше не писала.

Ещё во Франции она говорила своему другу, Марку Слониму: «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура. Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна». Муж, бывший белый офицер, потом евразиец, и дочь серьёзно увлеклись Советской Россией. Увлечение их переросло в

деятельность в «Союзе возвращения на родину», под «крышей» этой организации работала советская разведка. Об этом статья М. Фейнберг и Ю. Клюкина «По вновь открывшимся обстоятельствам...» («Горизонт», 1992, № 1, с. 53). Там приводится письмо А. С. Эфрон к подполковнику юстиции Камышникову от 25 июня 1955 г. по поводу посмертной реабилитации отца, где она дважды говорит об участии «в нашей заграничной работе». Кроме того, сын Анастасии Ивановны, А.Б. Трухачёв рассказывал, что в 1937 году он, зная о прибытии Ариадны, отправился на вокзал, увидел, что её встречали люди из НКВД. Она передала им чемоданчик и на машине того же ведомства отбыла. На вокзале Андрей Борисович только со стороны наблюдал за происходящим, подойти не решился, встретились они позже.

Когда обвинённый в причастности к политическому убийству невозвращенца Игнатия Рейсса Сергей Эфрон бежал в Советскую Россию, М. Цветаева осталась без средств к существованию. Эмигрантские литературные круги и так не жаловали Цветаеву за независимый характер и за сложный, далеко не всем понятный стиль стихов и поэм, а тут муж оказался советским агентом! Её не только не печатали, её стали открыто игнорировать, устроили настоящий бойкот... Иного пути, кроме возвращения в Россию, то есть в СССР, у неё уже не было. Тем более, там уже был Сергей Яковлевич, жила и работала дочь Ариадна. И туда усиленно рвался, тоже уверовав в «светлое будущее», сын Георгий, Мур.

И вот она в России, в Советской России. Сначала арестовали дочь. Потом, выбив из неё показания на Сергея Яковлевича, взяли и его. Она оказалась с сыном снова одна — мыкалась по чужим углам, снимая на последние деньги жильё. Потом война, ужас перед которой её обуревал ещё во Франции. Всеобщая нарастающая тревога, переходящая в панику во время авианалётов. Взрывы бомб, прожектора, направленные в небо. Вот что говорила очевидец того времени И.Б. Шукст, рассказывая о том, как видела Марину Ивановну в бомбоубежище: «Кто охал всё время, кто спал. А Марина Ивановна, как села напряжённо, как извание — прямая, как стрела, вперив вперёд стеклянные глаза, руки вцепив в колени, будто дамклов меч над ней, всю бомбежку так и просидела. Вид её был ужасный. Мур был спокоен, может быть, даже спал... Напряжение, которое в Марине было и раньше, с войной резко усилилось, может быть она ждала ареста, может быть боялась, что Мура убьют...» (Журнал «Россияне», № 11-12, с. 37).

Жена осуждённого «врага народа», французского шпиона с белогвардейским прошлым; сестра Анастасии Ивановны, осуждённой как контрреволюционерка; мать Ариадны, также осуждённой как иностранная шпионка... Что было ждать Марине Цветаевой при таком её «семейном положении»? Кстати, пока близкие были на воле, а Марина Ивановна собиралась в Советский союз, муж и дочь, бывшие тогда уже в СССР, арест и заключение Анастасии от неё скрыли, не написа-



ли. Когда Марина Ивановна у встречающих спросила: «А где же Ася?» — тогда и выяснилось, что сестра за свой «идеализм» отбывает срок. Они ещё не ведали, что совсем скоро последуют за нею в тюремный ад. Арестованного соседа Цветаевой по даче в Болшево, тоже «возвращенца», Н.А. Клепинина следователь настойчиво спрашивал о М. Цветаевой, о её взглядах, настроениях. В деле сохранились показания Клепинина 7 янв. 1940 г.: «Она говорила, что приехала из Франции только оттого, что здесь находятся её дочь и муж, что СССР ей враждебен, что она никогда не сумеет войти в советскую жизнь. Подобные разговоры она вела очень часто... В связи с арестом сначала сестры, а потом и дочери и мужа её недовольство приняло более конкретный характер. Она говорила, что аресты несправедливы». В книге И. Кудровой «Гибель М. Цветаевой», где эти показания приведены (с. 133), высказывается версия о том, что С.Я. Эфрон лично не участвовал в убийстве Рейса. Он был «групповод и наводчик-вербовщик», который по заданию зам. начальника иностранного отдела НКВД С.М. Шпигельгласа «организовал группу, выследившую Рейса и осуществившую убийство» (с. 142). Однако арестован С.Я. Эфрон был не в связи со своей неудачной «работой» во Франции, о которой следователь ничего не хотел даже слушать, а оттого, что просто нужно было подготовить ещё один громкий политический судебный процесс.

В Голицине Марина Ивановна встречалась в Доме творчества писателей с Ноем Лурье и горько сетовала: «Неужели я здесь оказалась тоже чужой, как там?». — Он пытался её успокоить, говорил, что со временем, надо надеяться, трудности пройдут. Она была безутешна. — Боюсь, что мне не справиться с этим... — повторяла она. 10 июня 1941 г. Марина Ивановна подписывает письмо советскому поэту и переводчику А. Кочеткову — «Очень растерянная и несчастная МЦ».

Тучи стужались, началась война, войска вермахта подходили к Москве. Марина металась, воля к жизни, цветаевская чёткость этой воли постепенно покидали её. Творчество кончилось. Остался только на глазах взрослеющий, грубеющий, рвущийся из-под её крыла сын. Дальше эвакуация — Чистополь, Елабуга. Всеобщая тревога и безысходность, попытки устроиться на работу. Житьё за занавеской у хозяев, которые с трудом терпели небогатую жилищку с сыном. С сыном она ссорилась постоянно — доходило до крика на непонятном им, французском языке. И слух о ней шёл — белогвардейка, эмигрантка. Известно, страх был. Восьмидесятилетний елабужский житель А.И. Сизов уже во времена перестройки рассказал, что познакомился с эвакуированной, пытался помочь... А хозяйка её квартирная, Анастасия Бродельщикова, на вопрос «Ты чего с жилищей не поладила?», ему ответила: «Да вот, пайка у ней нет». — И ещё приходят эти, с Набережной, рассматривают её бумаги, когда её нет, да меня расспрашивают о ней — что говорит, кто к ней приходит. Одно беспокойство...». Так что в её

отсутствие приходили «с Набережной», так в Елабуге называли здание НКВД. Вот ещё одно звено в лежащейся кругами, стягивающейся цепи, ускользнувшей последний шаг... Благодаря К. Хенкину мы располагаем сведениями о тех слухах, которые ходили в недрах спецслужб: «В воскресенье 31 августа, спустя десять дней после приезда её из Москвы, хозяйка дома, Анастасия Ивановна Бродельщикова, нашла Марину Ивановну Цветаеву висящей на толстом гвозде в сенях с левой стороны входа. Она так и не сняла перед смертью фартука с большим карманом, в котором хлопотала по хозяйству в это утро, отправляя Мура на расчистку площадки под аэродром. После смерти Марины Цветаевой оставались привезённые ею из Москвы продукты и 400 рублей. Хозяйка дома говорила: «Могла бы ещё продержаться... Успела бы, когда всё съели...» Могла, конечно. Сколько людей в России выдержали, потому что ждали пайку или банного дня. Узнав, что перед самоубийством Марина Цветаева ездила в Чистополь к поэту Асееву и писателю Фадееву, Пастернак позже ворчал: «Почему они ей не дали денег? Ведь я бы им потом вернул». Но я ещё тогда узнал, что не за деньгами ездила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и помощью. Историю эту я слышал от Маклярского. Мне её глухо подтвердила через несколько лет Аля. Но быстро перестала об этом говорить. Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу, зазвал её к себе местный уполномоченный НКВД и предложил «помогать». Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так: женщина приехала из Парижа — значит в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут лнуть недовольные, начнутся разговоры, которые позволят всегда «выявить врагов», то есть состряпать дело. А может быть пришло в Елабугу «дело» семьи Эфрон с указанием на увязанность её с «органами». Не знаю. Рассказывая мне об этом, Миша Маклярский честил хама чекиста из Елабуги, не сумевшего деликатно подойти, изящно завербовать, и следил зорко за моей реакцией...»

Все эти слухи никак не опровергают мнения Анастасии Ивановны. Они лишь дополняют представление о той ужасающей атмосфере, в которую попала Марина Ивановна.

В дневниках сына Георгия, которые ныне опубликованы, к матери, пока она была жива и даже после наблюдается отношение очень отстранённое. Недаром цветаевским чутьём Анастасия Ивановна, в лагере получив письмо от племянника, почувствовала этот холод к матери и её памяти. По большому счету возможно, что потеря душевного контакта с последним по-настоящему близким человеком, с сыном, его душевная глухота, характерная подросткам этого возраста, стали настоящей последней каплей во Грааль земных страданий поэта...

Г. Эфрон, «Дневники», запись: «31 августа мать покончила с собой — повесилась. Узнал я это, приходя с работы на аэродроме, куда меня мобилизовали. Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося её «освободить». И покончила с

собой» (31.08.41-5.09.41 II, с. 7). Мало кто обращает внимание на эту предсмертную просьбу. А зря. Освободить – от чего? Да от чувства долга перед несовершеннолетним сыном! Вот что её мучило, вот что держало на земле. Ни Сергею Яковлевичу, ни Ариадне Сергеевне она уже ничем помочь не могла. Когда же почувствовала, что её силы иссякли, дух сопротивления жизни сломлен, воля сникла – тогда свершила давно задуманное.

Известный исследователь-цветаевед Ирма Кудрова в статье «Третья версия. Ещё раз о последних днях Марины Цветаевой» пишет: «Известно, что дня за два-три до прибытия Марины Ивановны вопрос о возможности её переезда из Елабуги уже обсуждался на заседании совета эвакуированных. Наверняка это произошло по инициативе той самой Флоры Лейтес, телеграммы от которой Цветаева так ждала. Флора побывала у Николая Николаевича Асеева и, стараясь уговорить его, обещала, что поселит Цветаеву с сыном у себя, так что не придётся даже искать жильё. И Асеев согласился вынести вопрос на заседание. Однако там резко недоброжелательную позицию занял драматург Константин Андреевич Тренёв. Год назад он передал для Цветаевой то ли 50, то ли 100 рублей, по случаю, вместе с Маршаком, и теперь запальчиво говорил об “иждивенческих настроениях” недавней белоэмигрантки. А Асеев не стал защищать интересы Цветаевой. Может быть, просто побоялся возразить на тренёвскую аргументацию: муж – белогвардеец, сама – белоэмигрантка, а Чистополь и без того переполнен...». И всё же заболевший Н. Асеев на следующий день прислал от себя письмо в поддержку просьбы Цветаевой о прописке... Мнение К. Тренёва не стало решающим. И всё же...

Мало кому известно, что ненависть к М. Цветаевой у Тренёва была продолжением его нелюбви к её сестре Анастасии, с которой познакомился в 1936 г. в Доме творчества писателей в Эртелевке (бывшем имении родственников писателя А.И. Эртеля), в Воронежской губернии. Тренёв внешне напоминал Горького, это расположило к нему Анастасию Ивановну. Он рассказывал ей, что при знакомстве с Горьким и он и Горький хором сказали: «Так вот Вы какой!». Дружба была тёплой, с его стороны на грани увлечения. Когда её срок отдыха кончился и она уезжала, он простирали ей вслед руки... Далее в августе 1936 г. было опубликовано обращение, поддерживающее репрессивный процесс по делу о «троцкистско-зиновьевском “Объединённом центре”, в том числе и против Л.Б. Каменева, с которым Анастасия Ивановна познакомилась у Горького. Она рассказывала автору этих строк: «В Первом МХАТе я актёрам преподавала осенью 1936 года английский язык два раза в неделю. Входит Тренёв, он ставил свою “Любовь Яровую” – ко мне бросился как к другу. Я уже прочла в газетах, что писатели одобрили это “мероприятие”. Там была его подпись. – С этими людьми, Константин Андреевич, Вы подписали то, что было в газетах. Вы это зря подписали! Он отвечал: “Вы же знаете, как это

делается, приезжают к Вам на дом...” Я в ответ молчала. Он преследовал потом Марину. Дал ей в долг и требовал с нее, кажется, 1000 рублей. И ратовал, чтобы её не прописывали». Так что не только «классовая бдительность коммуниста» заставляла Тренёва выступать против прописки эвакуированной М. Цветаевой в Чистополе, но и личный мотив...

Предконечные дни были днями метаний, нерешительных попыток зацепиться – за работу, за жильё, за прописку. Сын же намеренно устранялся от каких бы то ни было решений. 30.08.41 он записывает: «Мать как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня “решающего слова”, но я отказываюсь это “решающее слово” произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня» (Г. Эфрон, Дневники в 2-х тт. М., «Вагриус», 2004, т I, с. 539).

Вскоре после самоубийства Марины Ивановны, – именно так в дневнике он величает мать, – Георгий ледовито записывает 19.09.41: «Льёт дождь. Думаю купить сапоги. Грязь страшная. Страшно всё надоело. Что сейчас бы делал с мамой? Au fond (по существу – фр.) она совершенно правильно поступила – дальше было бы позорное существование» (Г. Эфрон, Дневники в 2-х тт. М., «Вагриус», 2004, т. 2, с.27).

И только много спустя, 08.01.43 он напишет гражданскому мужу своей сестры Ариадны, Самуилу Гуревичу: «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, её предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал её и злился на неё за такое внезапное превращение... Но как я её понимаю теперь!» (Г. Эфрон. Письма, Королев, Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве, 2002, с. 108). Это написал уже человек одинокий, немало перестрадавший, воровавший с голоду, которому осталось недолго жить до своей безвременной гибели на фронте.

Если вчитаться внимательно в текст Анастасии Ивановны, она лишь отражает известные события, и никого не обвиняет. Просто показывает возможную причину и следствие. И ей, как человеку православно религиозному, хотелось доискаться до возможного оправдания сестры перед Богом – жертвенное самоубийство можно хоть как-то оправдать? Анастасия добилась своего – её сестру отпели и теперь, бывает, поминают во храмах вся Русь. Племянника она тоже старалась понять. Понять его юношеское отвержение. Она пишет: «То, что было её жизнью с ним, **забота**, для него было **насилие**. Он задыхался». «Меньше всего я возлагаю вину за смерть Марины на Мура... я слишком хорошо понимала жгучий узел, связавший их двух»...

И вот печальный итог тяжёлого рока обоженных пожаром истории двух ветвей этой трагической семьи – М.И. Цветаева покончила собой. Могила её на елабужском кладбище условна.



Сергей Яковлевич Эфрон расстрелян в тюрьме; могилы нет. Его мать, Елизавета Эфрон в 1910 г. покончила с собой, вслед за повесившимся братом Сергея Яковлевича, Константином. Их могилы потеряны. Сын Георгий погиб в 1944 году. Могила братская, условная. Младшая дочь Ирина умерла в 1920-ом, ей было два года. Могила неизвестна. Однако все они, ушедшие и растаявшие в про-

шлом, оживают в памяти тех, кто душою принадлежит к наследию Марины Цветаевой, кто читает «Воспоминания» её сестры Анастасии, мемуарную прозу дочери Ариадны, и всю огромную мировую библиотеку исследований, посвящённую талантливым представителям семьи, создавшей столько культурных ценностей для их родины, России.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

На 3 стр. обложки:

фото № 1 – М.А. Волошин в Одессе (1919 г.);
фото № 2 – Дом по ул. Нежинской 36,
в котором останавливался М.А. Волошин;
фото № 3 – Здание Одесской консерватории по ул. Новосельского 63,
в котором с 1918 г. проходили заседания
литературного кружка «Зелёная лампа»*;
фото № 4 – Дворец князя Гагарина
(ныне – Одесский государственный литературный музей) по ул. Ланжероновской 2,
в котором проходили заседания Одесского литературно-художественного общества*.

* фото 80-хх гг. XX-ого века,
архив Управления охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации

Підписано до друку 14.11.2012 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,59.
Зам. 3189. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17